

## Карл Густав Юнг

# Воспоминания, сновидения, размышления

### Оглавление

Предисловие. ....	1
Введение. ....	6
Мое детство. ....	8
Школа. ....	18
I. ....	18
II. ....	28
III. ....	35
IV. ....	44
Студенческие годы. ....	50
Психиатрическая практика. ....	68
Зигмунд Фрейд. ....	85
Знакомство с бессознательным. ....	98
Происхождение моих сочинений. ....	115
Башня. ....	126
Путешествия. ....	135
Северная Африка. ....	135
Америка: индейцы пуэбло. ....	140
Кения и Уганда. ....	144
Индия. ....	156
Равенна и Рим. ....	162
Видения. ....	164
Жизнь после смерти. ....	169
Поздние мысли. ....	185
I. ....	185
II. ....	193
III. ....	200
Прошлое и настоящее. ....	200

### Предисловие.

*He looked at his own Soul with a Telescope. What seemed all irregular he saw and shewed to be beautiful Constellations*

*and he added to the Consciousness hidden worlds within worlds.*

Coleridge. Note book.

*Он взглянул на свою душу в телескоп. То, что раньше представлялось совершенно беспорядочным, оказалось прекрасными созвездиями, ему открылись скрытые миры внутри миров.*

Колридж. Записная книжка.

Летом 1956 года на конференции «Эраноса» в Асконе издатель Курт Вольф сообщил, что хотел бы опубликовать в нью-йоркском издательстве «Pantheon books» биографию Карла Густава Юнга. Доктор Иоланда Якоби, долгое время сотрудничавшая с Юнгом, предложила взять на себя работу биографа.

Все понимали, что сделать это будет непросто, поскольку Юнг не желал выставлять напоказ свою личную жизнь. И действительно, только после долгих сомнений и колебаний он нашел для меня время. Мы встречались раз в неделю после обеда. И если учесть, что работал Юнг ежедневно и напряженно, а утомлялся быстро (ему было уже за восемьдесят), на это уходила значительная часть его рабочего времени.

Работать мы начали весной 1957 года. По замыслу Курта Вольфа книга должна была выглядеть не как «биография», а как «автобиография», т. е. быть написанной от лица самого Юнга. Моя задача состояла лишь в том, чтобы задавать вопросы и записывать ответы. Первое время Юнг был довольно скрытен, но вскоре работа ему понравилась и он стал относиться к ней с большим интересом. Он начал рассказывать о себе, своем становлении, своих сновидениях и размышлениях, и его это захватило.

К концу года отношение Юнга к нашим совместным усилиям совершенно переменялось. Мы затронули скрытые глубоко в подсознании образы его детства, и он ощутил их связь с идеями работ, которые писал в конце жизни, не вполне осознавая, на мой взгляд, характер этой связи. Однажды утром он сообщил мне, что хочет сам записать воспоминания детства. К этому времени он рассказал уже многое, но в моих записях все еще оставались большие пробелы.

Его решение явилось приятной неожиданностью — я знала, с каким напряжением Юнг писал. В последние годы он ничего подобного не предпринимал, если только не чувствовал некоторого «внутреннего обязательства». Теперь ему казалось, что работа над «автобиографией» внутренне оправданна.

Вот одно из замечаний, относящихся к тому периоду, которое я записала: «Книга для меня — всегда вопрос судьбы. В процессе писания есть что-то непредсказуемое, и я не в состоянии задать себе какое-либо направление. Так, эта «автобиография» принимает теперь направленность, совершенно отличную от той, что представлялась мне вначале. Я чувствую необходимость записать ранние воспоминания, и, если не занимаюсь этим хотя бы день, у меня немедленно возникают неприятные физические симптомы. Стоит же мне сесть за работу, они исчезают, и я ощущаю в голове полную ясность».

В апреле 1958 года были написаны главы о детстве, школьных годах и университетском периоде. Сначала Юнг дал им общее название — «О ранних событиях в моей жизни». Эти главы заканчивались 1900-м годом, когда он завершил медицинское образование.

В январе 1959 года Юнг жил в своем загородном доме в Боллингене. Каждое утро он посвящал чтению избранных глав нашей книги, к этому времени ее форма уже стала вырисовываться. Возвращая мне главу «О жизни после смерти», он сказал: «Во мне что-то сдвинулось, и я чувствую потребность писать». Так появились «Поздние мысли», где были отражены самые глубокие и последовательные его убеждения.

Тогда же, летом 1959 года, Юнг написал главу о Кении и Уганде. Раздел об индейцах пуэбло мы взяли из его неоконченной рукописи, посвященной психологии примитивных народов.

Чтобы завершить главы «Зигмунд Фрейд» и «Встреча с бессознательным», я заимствовала кое-какие фрагменты из семинара 1925 года, на котором Юнг впервые заговорил о внутреннем развитии.

Глава «Психиатрическая деятельность» основана на беседе Юнга с молодыми ассистентами цюрихской психиатрической клиники Бургхольцли в 1956 году, где один из его внуков работал психиатром. Беседа происходила в доме Юнга в Кюснахте.

Прочитав рукопись, Юнг остался ею доволен. Где-то он исправил целые абзацы или добавил новый материал. Я в свою очередь воспользовалась записями наших бесед, чтобы дополнить главы, которые он написал сам, подробнее изложила факты, убрала повторения. Но в дальнейшем провести грань между моим участием в работе над книгой и его собственным вкладом было уже почти невозможно.

Генезис книги в какой-то степени определил ее содержание. Беседе или спонтанному повествованию всегда свойственна определенная непоследовательность. И этот тон распространился на всю «автобиографию». Главы — это стремительно распространяющиеся лучи света, которые лишь на мгновение выхватывают внешние события жизни Юнга и его деятельность. Но недостаточное освещение внешних событий компенсировалось погружением в атмосферу его внутренней жизни, в переживания человека, для которого душа была совершенно реальной сущностью. Я часто просила Юнга поподробнее рассказать о внешних событиях, но мои просьбы оставались без ответа. Только духовное содержание жизненного опыта осталось в его памяти, и только оно казалось ему достойным повествования.

Эти изначальные препятствия личного характера оказались существеннее, чем трудности формальной организации текста, и Юнг так объясняет это в письме к другу студенческих лет. Во второй половине 1957 года, отвечая на просьбу записать воспоминания молодости, он пишет:

«...Вы безусловно правы. Когда мы стареем, к нам возвращаются воспоминания нашей молодости, и причины этого кроются не только в нас. Когда-то, около тридцати лет назад, мои ученики просили меня рассказать, как я пришел к понятию бессознательного. Я исполнил их просьбу, организовав семинар. За последние годы в различной форме мне были высказаны предложения сделать нечто подобное и в отношении автобиографии. Не могу представить себя в этой роли. Я знаком со слишком многими автобиографиями, с их самообманом и прямой ложью, и слишком хорошо осознаю невозможность описать себя, чтобы у меня возникло желание предпринять такую попытку.

В последнее время меня просят дать сведения для моей автобиографии, и, отвечая на вопросы, я обнаружил скрытые в моих воспоминаниях объективные проблемы, которые, похоже, заслуживают более пристального внимания. Пораздумав, я решил на какое-то время отложить остальные дела, чтобы обратиться к истокам своей жизни и объективно их исследовать. Поставленная цель оказалась крайне трудной и необычной, для ее достижения мне пришлось пообещать себе, что результаты не будут опубликованы при моей жизни. Эта мера, на мой взгляд, обеспечит необходимые

спокойствие и отстраненность. Как выяснилось, все воспоминания, сохранившие яркость, были связаны с эмоциональными переживаниями, причинявшими мне беспокойство и вызывавшими сильные чувства, — едва ли это достаточное условие для беспристрастного повествования! Ваше письмо «естественно» пришло в тот самый момент, когда я фактически решился на подобную попытку.

Судьба распорядилась таким образом — как, собственно, всегда и бывало, — что все внешнее в моей жизни всегда оказывалось случайным, и лишь внутреннее имело смысл и значение. В результате все воспоминания о внешних событиях поблекли, а, возможно, эти «внешние» опыты жизни вообще никогда не были особенно важны или были важны лишь постольку, поскольку совпадали с фазами моего внутреннего развития. Огромная часть этих «внешних проявлений» исчезла из памяти как раз потому (как мне казалось), что я участвовал в них, тратя на них энергию. Но ведь именно внешние события являются главными компонентами общепринятой биографии. Это — люди с которыми вы встречались, путешествия, приключения, затруднительные обстоятельства, удары судьбы и т. д. Однако, за некоторыми исключениями, все эти вещи превратились для меня в фантомы, которые я вспоминаю с трудом — они более не волнуют воображение.

Воспоминания о «внутренних» переживаниях, напротив, стали более отчетливыми и красочными. И здесь возникает проблема описания, с которой я едва ли способен справиться, по крайней мере сейчас. По этим причинам, к моему великому сожалению, я не могу удовлетворить вашу просьбу».

\* \* \*

Надо сказать, процитированное письмо типично для Юнга. Хотя он уже и «решился сделать попытку», тем не менее в конце последовал отказ. До самой смерти он не мог окончательно определиться между «да» и «нет». Всегда оставался некий скепсис, некоторая скованность перед читающей публикой. Он рассматривал эти биографические записи не как научный труд, и даже не как собственную книгу, а скорее как свой вклад «проект Аниэлы Яффе», как он называл нашу с ним работу. Особо он настаивал, чтобы эту книгу не включали в собрание сочинений.

Юнг бывал чрезвычайно скрытен, упоминая о своих встречах с людьми, шла ли речь об известных лицах, или о близких друзьях и родственниках. «Я был знаком, — замечал он, — со многими известными людьми моего времени, людьми, занимавшими выдающееся место в науке или политике, с исследователями, артистами и писателями, принцами и финансовыми магнатами, но, если быть честным, я вынужден признать, что только несколько таких встреч стали для меня событием. В целом, наши встречи скорее напоминали встречи кораблей в море, когда они приспускают флаги, приветствуя друг друга. К тому же эти люди обычно желали узнать у меня о чем-то таком, что не подлежит огласке. Так что во мне не осталось никаких воспоминаний об этих людях, какую бы ценность они ни представляли в глазах мира. Наши встречи были бессодержательны, скоро позабылись и не имели никакого серьезного влияния. А об отношениях с людьми, которые были для меня жизненно важными и о которых я вспоминаю теперь с чувством отстраненности, я говорить не могу, поскольку они касаются не только моей интимной жизни, но и интимной жизни других. Это не по мне — открывать публике то, что закрыто навсегда».

Однако, недостаток внешних событий, с избытком искупается отчетами о событиях жизни внутренней, о мыслях и чувствах, которые, как считал Юнг, составляют неотъемлемую часть его биографии. Это справедливо прежде всего по отношению к его религиозным переживаниям. В этой книге заключено религиозное кредо Юнга.

Религиозные вопросы предстают в ней как различные стороны его жизненного опыта: здесь и детские откровения, определившие отношения Юнга с религией до

самого конца жизни, и вечное любопытство ко всему, что связано с внутренним миром человека, — иными словами, это потребность знать, столь характерная для его научного творчества. И последнее, но чуть ли не самое важное, — это осознание себя врачом. В первую очередь Юнг и рассматривал себя как врача, осознающего, что религиозные чувства его пациентов играли решающую роль в излечении психических заболеваний. Это наблюдение совпало с открытием, что человеческое сознание спонтанно создает образы религиозного содержания, что многочисленные неврозы (особенно во второй половине жизни) происходят от невнимания к этому особому свойству нашей души.

То, как Юнг понимал религию, во многом отличалось от традиционного христианства — особенно, когда речь шла о проблеме зла и об идее Бога (который у Юнга не так уж добр и далеко не всегда «благ»). С точки зрения догматического христианства Юнг предстает очевидным еретиком. Такова, несмотря на его мировую славу, была реакция на его работы. Это огорчало его; часто в этой книге проскальзывает разочарование человека, религиозные идеи которого не были поняты должным образом. Не единожды он мрачно говорил: «Они бы сожгли меня как средневекового еретика!». Лишь после его смерти все большее число теологов стало признавать, что Юнг был несомненно выдающейся фигурой в религиозной истории нашего века.

Он доказал свою верность христианству, и наиболее важные его труды посвящены именно проблемам христианства. Они написаны с позиции психологии, и Юнг намеренно связывал психологию и теологию. Тем самым он подчеркивал необходимость осмысления там, где христианство требует лишь веры. Эта необходимость была для него само собой разумеющейся, она стала неотъемлемой частью его жизни. «Я обнаружил, что все мои мысли, выстраиваясь как планеты вокруг солнца, образуют круг с центром в Боге, и непреодолимо стремятся к Нему. Я чувствую, что совершил бы серьезнейший грех, если бы стал оказывать какое-либо сопротивление этой силе», — писал он в 1952 году одному молодому пастору.

В этой книге — единственной из огромного количества его работ — Юнг говорит о Боге и своем ощущении Бога. Вспоминая свой юношеский бунт против церкви, он сказал: «Тогда мне стало понятно, что Бог (во всяком случае, для меня) — это один из наиболее непосредственно воспринимаемых образов». В научных работах Юнг редко упоминал о Боге, предпочитая термин «образ бога в человеческом сознании». Здесь нет противоречия. В одном случае перед нами субъективный язык, основанный на внутреннем опыте, в другом — объективный язык научного описания. В первом случае Юнг говорит как человек, чьи мысли подвержены воздействию чувств и страстей, интуитивных ощущений и переживаний долгой и необыкновенно богатой содержанием жизни; во втором — как ученый, сознательно ограничиваясь тем, что может быть продемонстрировано и доказано. В этом смысле Юнг — эмпирик. Когда в этой книге он говорит о своем религиозном опыте, он полагает, что читатели его поймут. Его субъективные утверждения могут быть приемлемы лишь для тех, кто имел сходные переживания или, говоря иначе, в чьей душе образу Бога свойственны те же или сходные черты.

\* \* \*

Несмотря на то что Юнг одобрительно и деятельно отнесся к созданию «автобиографии», к ее опубликованию он в течение долгого времени относился — по вполне понятным причинам — крайне критически, чтобы не сказать отрицательно. Его сильно беспокоила реакция публики, во-первых, из-за откровенности, с которой он поведал о своих религиозных переживаниях и мыслях, и во-вторых, потому что до сих пор ощущалась враждебность, вызванная его книгой «Ответ Иову», а непонимание и недопонимание воспринималось им слишком болезненно. «Я хранил этот ма-

териал всю мою жизнь, но никогда не собирался представлять его миру, потому что в этом случае нападки ранят меня гораздо больше, чем в случае с другими книгами. Не знаю, буду ли я духовно отдален от этого мира настолько, что окажусь недосягаемым для критических стрел и смогу вынести неприязненную реакцию. Я достаточно страдал от непонимания и изоляции, в которую попадает человек, когда говорит вещи, другим непонятные. Если «Ответ Иову» встретил столь резкое непонимание, то мои «Воспоминания» ожидает еще более несчастная судьба. Автобиография — это моя жизнь, рассмотренная в свете знаний, которые я приобрел благодаря научным занятиям. Моя жизнь и моя научная работа составляют единое целое, и потому книга эта предъявляет большие требования к людям, которые не знают или не могут понять мои научные идеи. В некотором смысле именно моя жизнь была воплощением моих работ, а не работы — ее воплощением. То, что я есть, и то, что я пишу, — едино. Все мои идеи и все мои усилия — это я. Таким образом, автобиография — это всего лишь точка над *i*».

За время создания книги воспоминания все больше объективировались. С каждой следующей главой Юнг как бы уходил от себя все дальше, пока не смог взглянуть на себя, свою жизнь и работу со стороны. «Если бы меня спросили о значимости моей жизни, это имело бы смысл в плане весьма отдаленной временной ретроспективы: с точки зрения прошлого века я могу сказать: да, моя жизнь чего-то стоила. На фоне же развития современных идей она не значит ничего». Осознание безликой исторической преемственности, выраженной в этих словах, ощущается и в самой книге, в чем читатель легко сможет убедиться.

Глава «О происхождении моих сочинений» несколько фрагментарна. Но по-другому и быть не могло, ведь собрание сочинений Юнга — это почти двадцать томов. Более того, Юнг никогда не чувствовал склонности к реферированию — ни в устной, ни в письменной форме. Когда его просили об этом, он отвечал в свойственной для него достаточно резкой манере: «Такого рода вещи находятся вне сферы моей деятельности. Я не вижу никакого смысла в публикации сжатого изложения работ, в которых я, ценой стольких усилий, разобрал все детали. Мне пришлось бы выкинуть все доказательства и полагаться на разного рода категорические утверждения, что не сделало бы мои результаты более понятными. Так жевательная деятельность парнокопытных, суть которой в срыгивании уже пережеванного, не вызывает у меня никакого аппетита...».

Поэтому читателю следует рассматривать эту главу как ретроспективный очерк, написанный по конкретному поводу, и не ожидать от него всесторонности.

В осуществлении этой благородной и такой трудной задачи мне помогали многие люди, которые проявляли к книге неослабевающий интерес, внося полезные предложения и критические замечания. Здесь я упомяну только Елену и Курта Вольф из Локарно, которые предложили идею создания этой книги, Марианну и Вальтера Иехус-Юнг из Кюснахта (Цюрих), помогавших мне словом и делом, и Р. Ф. С. Налла из Пальдиа-де-Маллорка, который дал мне ряд советов и помогал с неустанным терпением.

*Аниэла Яффе  
Декабрь 1961 г.*

## Введение.

Моя жизнь представляет собой историю самореализации бессознательного! Все, что есть в бессознательном, стремится к реализации, и человеческая личность,

ощущая себя единым целым, хочет развиваться из своих бессознательных источников. Проследившая это на себе, я не могу использовать язык науки, поскольку не рассматриваю себя как научную проблему.

То, чем мы представляемся нашему внутреннему взору, и то, что есть человек *sub specie aeternitatis* (с точки зрения вечности. — *лат.*), может быть выражено только через миф. Миф более индивидуален и отражает жизнь более точно, нежели наука. Она работает с идеями, слишком общими, чтобы соответствовать субъективному множеству событий одной единственной жизни.

Сейчас, в восемьдесят три года, я предпринимаю попытку объективно рассмотреть мою жизнь. Таким образом я создаю личный миф. Все, что я могу сделать, — это утверждать нечто, «рассказывать истории». Говорю я правду или нет — не важно. Важно лишь, что это *моя* история, *моя* правда.

Написать собственную биографию невероятно сложно: ведь когда мы судим о себе, у нас нет стандартов и нет объективных критериев. У нас изначально нет возможности сравнивать. Я знаю, что во многих отношениях не похож на других, но мне неизвестно, что же я такое в действительности. Человек не в состоянии сравнить себя ни с одним существом, он не обезьяна, не корова и не дерево. Я — человек. Но что это означает — быть человеком? Я отдельная часть безграничного Божества, но при этом я не могу сопоставить себя ни с животным, ни с растением, ни с камнем. Лишь мифологические герои обладают большими возможностями, нежели человек. Но как же человеку составить о себе мнение?

Каждому из нас, предположительно, свойственен некий психический процесс, который нами не контролируется, а лишь частично направляется. Потому мы не в состоянии вынести окончательного суждения о себе или о своей жизни. Если бы мы могли — это означало бы, что мы знаем, но такое утверждение — не более чем претензия на знание. В глубине души мы никогда не знаем, что же на самом деле произошло. История жизни начинается для нас в случайном месте — с некой определенной точки, которую мы запомнили, и уже с этого момента наша жизнь становится чрезвычайно сложной. Мы вообще не знаем, чем она станет. Поэтому у истории нет начала, а о конце ее можно лишь высказывать смутные предположения.

Человеческая жизнь — опыт, не внушающий доверия; только взятый во множестве, он способен произвести впечатление. Жизнь одного человека так быстротечна, так недостаточна, что даже существование и развитие чего-либо является в буквальном смысле чудом. Я осознал это давно, еще будучи студентом-медиком, и до сих пор удивляюсь, что не был уничтожен еще до появления на свет.

Жизнь всегда казалась мне похожей на растение, которое питается от своего собственного корневища. В действительности же она невидима, спрятана в корневище. Та часть, что появляется над землей, живет только одно лето и потом увядает. Ее можно назвать мимолетным видением. Когда думаешь о концах и началах, не можешь отделаться от ощущения всеобщей ничтожности. Тем не менее меня никогда не покидало чувство, что нечто живет и продолжается под поверхностью вечного потока. То, что мы видим, лишь крона, и после того как она исчезнет, корневище останется.

В конце концов, единственные достойные упоминания события в моей жизни — это те, в которых непреходящий мир прорывался в наш — преходящий. Поэтому я главным образом говорю о внутренних переживаниях, к которым также отношу мои сны и видения. Эти формы — исходный материал моей научной работы. Они были магмой, из которой постепенно выкристаллизовался камень.

Остальные воспоминания о путешествиях, людях и окружающей обстановке поблекли рядом с событиями жизни внутренней. Многие люди были непосредствен-

ными участниками современных исторических событий и написали об этом; если читатель испытывает нужду в подобных свидетельствах, пусть обратится к ним. Но мои воспоминания о внешних событиях собственной жизни во многом потускнели или стерлись. Встречи же с иной реальностью, моя борьба с бессознательным, остались в памяти навсегда. В этом царстве я всегда находил избыток содержания, остальное же, напротив, содержание утрачивало.

И людей я запомнил лишь постольку, поскольку их имена входили в список, начертанный моей судьбой с самого начала, так что встречи с ними были связаны с внутренними переживаниями.

Эти переживания наложили свой отпечаток на все, что со мной происходило, они приобрели значение либо уже в юности, либо несколько позже. Я рано осознал, что, когда нет внутреннего отклика на вопросы и сложности жизни, их значение в конечном счете ничтожно. Внешние обстоятельства не заменяют внутренних переживаний, поэтому моя жизнь была на редкость бедна внешними событиями. Мне нечего о них сообщить, поскольку для меня они на удивление бессодержательны. Я могу оценить себя только в свете внутренних событий. Именно они придают уникальность моей жизни, и о них пойдет речь в моей «автобиографии».

### Мое детство.

Когда мне исполнилось шесть месяцев, мои родители переехали из Кессвиля (кантон Тюргау) в приход замка Лауфен, расположенного на Боденском озере в верховьях Рейна. Это случилось в 1875 году.

Я помню себя с двух или трех лет. Помню дом священника, сад, прачечную, церковь, водопады, величественную громаду Лауфена и миниатюрный замок Верц и ферму церковного сторожа. Это лишь маленькие островки воспоминаний, проплывающие в море смутных очертаний, каждый сам по себе, без связи с остальными.

Передо мной встает одно воспоминание, вероятно самое раннее в моей жизни, которое в действительности кажется неясным, туманным. Я лежу в детской коляске в тени дерева. Стоит чудесный, теплый летний день, небо голубое, и золотистый солнечный свет проникает сквозь зеленую листву. Верх коляски поднят. Я только что начал ощущать красоту этого дня, и мне неопишимо хорошо. Я вижу, как солнце просвечивает сквозь листья деревьев и цветущие кустарники. Все совершенно удивительно, ярко, великолепно.

Следующее воспоминание. Я сижу на высоком стуле в столовой, расположенной в западной части нашего дома, и черпаю ложкой теплое молоко с хлебными крошками. У молока приятный вкус и особенный запах. Я впервые тогда почувствовал запах молока. Это был момент, когда я, если можно так выразиться, вообще осознал существование запаха. Это тоже одно из очень ранних воспоминаний.

Еще одно воспоминание. Дивный летний вечер. Тетка говорит мне: «А теперь я хочу тебе что-то показать». Она выводит меня на дорогу в Дахсен. Далеко на горизонте высятся Альпы в багряном пламени заката. Альпы в тот вечер были видны очень отчетливо. «Взгляни-ка туда, какие красные горы», — говорит она. Именно тогда я в первый раз осознанно смотрел на Альпы. Потом я услышал, что завтра ребята из Дахсена едут на экскурсию в Цюрих и побывают в горах. Мне ужасно хотелось отправиться с ними!



Увы, оказалось, что таких маленьких детей, как я, не берут, и тут уж ничего не поделаешь. С этого момента горы и Цюрих стали для меня недостижимой сказочной страной с пылающими снежными вершинами.

Воспоминание более позднее. Мать взяла меня с собой в Тюргау, она собиралась навестить друзей, живущих в замке на Боденском озере. Меня не могли оттащить от воды. Волны, оставляемые пароходом, выплескивались на берег, солнце сверкало на воде, и видно было ребристое песчаное дно. Озеро казалось огромным, и водная гладь доставляла мне неизъяснимое наслаждение. В эти минуты я вдруг четко осознал, что должен жить возле какого-нибудь озера; без воды, подумал я, жить вообще невозможно.

Вот еще одно воспоминание. Чужие люди, суматоха, шум. Служанка вбегает с криком: «Рыбаки нашли труп — приплыл через водопады, они хотят занести его в прачечную». Мой отец отвечает: «Да, да, конечно». Мне почему-то очень захотелось увидеть мертвое тело. Мать удерживает меня и строго запрещает выходить в сад, но, как только мужчины уходят, я незаметно проникаю в сад и бегу к прачечной, но дверь туда заперта. Я обхожу дом сзади и смотрю на спускающийся по склону желоб, откуда тонкой струйкой вытекают кровь и вода. Мне это кажется необыкновенно интересным. Тогда мне было года четыре, не больше.

Другая картина. Я не могу уснуть, мечусь, дрожу. Отец берет меня на руки. Он ходит взад-вперед, напевая старые студенческие песни. Одну я помню особенно хорошо, она мне очень нравилась и всегда меня успокаивала. «Все молчит, все поникло...», — начало было примерно такое. Даже сегодня я помню, как звучал в ночной тишине его голос.

...У меня была экзема, как позже я узнал от матери. Вокруг смутные намеки на неблагополучный брак моих родителей. Моя болезнь в 1878 году, очевидно, была вызвана их временным расставанием. Мать тогда провела несколько месяцев в больнице в Базеле, и, болезнь ее, по-видимому, тоже была связана с семейными неурядицами. Меня взяла к себе незамужняя тетка, которая была почти на двадцать лет старше матери. Я помню, что был очень обеспокоен отсутствием матери. С тех пор я всегда чувствовал недоверие, когда кто-нибудь при мне произносил слово «любовь». Чувство, которое у меня ассоциировалось со словом «женщина», было чувством естественной незащищенности. С другой стороны, слово «отец» означало надежность и — слабость. Это был подсознательный импульс, с которого все начиналось. Позднее мои ранние впечатления откорректировались: я доверял друзьям мужчинам — и был разочарован, не доверял женщинам — и не обманулся.

Пока матери не было, за мной приглядывала и наша служанка. До сих пор помню, как она берет меня и кладет мою голову себе на плечо. У нее были черные волосы и смуглая кожа, и она совершенно не походила на мою мать. Я даже сейчас вижу линию ее волос, шею и родинки на ней, ее ухо. Все это казалось мне тогда очень странным и вместе с тем знакомым. Как будто она принадлежала не моей семье, а только мне, как будто она была связана каким-то образом с другими таинственными вещами, которых я не понимал. Этот тип девушки потом стал частью моего духовного существа, моей анимы. Ощущение странности, которое от нее исходило, и чувство, что я знал ее всегда, воплощали для меня с тех пор некую женственную суть.

С тех времен, когда родители жили отдельно, во мне сохранился еще один образ: молодая, хорошенькая, очень обаятельная девушка с синими глазами и светлыми волосами. Ясным светлым осенним днем она ведет меня вдоль Рейна, ниже водопада, под золотистыми кленами и каштанами вблизи замка Верц. Солнце светит сквозь листву, и на земле лежат желтые листья. Эта девушка впоследствии стала

матерью моей жены. Она восхищалась моим отцом. Второй раз я увидел ее, когда мне исполнился двадцать один год.

Это мои воспоминания о «внешних» событиях. То же, что последует теперь — гораздо более сильные, хотя не вполне ясные образы. Было падение с лестницы, например, и другое падение — на острый угол плиты. Я помню боль и кровь, врача, зашивающего рану у меня на голове, — шрам от нее оставался заметным, даже когда я учился в старших классах гимназии. Мать рассказывала, как однажды я переходил мост над рейнскими водопадами, ведущий в Нойгаузен. Служанка схватила меня как раз вовремя, я уже просунул одну ногу под ограждение и вот-вот готов был соскользнуть вниз. Это указывает, по-видимому, на бессознательное желание совершить самоубийство или на неизбежное сопротивление жизни в этом мире.

В то время меня тревожили смутные ночные страхи. Иногда я слышал, как *кто-то* ходит по дому. Здесь постоянно был слышен несмолкаемый шум рейнских водопадов, и приближаться к ним было опасно. Тонули люди, их тела выносило на скалистые уступы. Неподалеку на кладбище церковный сторож неумоимо копал ямы, выбрасывая груды свежей коричневой земли. Торжественного вида люди, одетые в длинные черные одеяния и необычно высокие шляпы, обутые в сверкающие черные ботинки, проносили черный гроб. Мой отец был там в своем священническом облачении, он говорил что-то звучным голосом. Женщины плакали. Мне объяснили, что кто-то похоронен в этой яме. Некоторые люди, которых я видел раньше, внезапно исчезали. Потом говорили, что их похоронили и что Иисус Христос взял их к себе.

Моя мать научила меня молитве, которую я должен был читать каждый вечер. Я рад был это делать, потому что молитва успокаивала меня перед лицом смутных образов ночи.

*Распрости крылья,  
Милосердный Иисусе,  
И прими птенца Твоего.  
Если дьявол захочет уловить его,  
Вели ангелам петь:  
Этот ребенок, должен остаться невредим!*

«Her Jesus» был уютным, благодушным господином (совсем как герр Вегенштайн из замка), он был почтенный, богатый, влиятельный, он защищал маленьких детей по ночам. Почему он должен быть крылатым как птица, было загадкой, которая меня не волновала. Куда более важным и наводящим на размышления было сравнение детей с птенцами, которых «Her Jesus» очевидно «принимал» неохотно, как горькое лекарство. Это было трудно понять. Но я сразу же сообразил, что дьявол любит птенцов и нужно не дать ему проглотить их. Так что «Her Jesus», хотя ему это было и не по вкусу, все равно поедал их, чтобы они не достались дьяволу. До сих пор ход моих мыслей был утешителен, но после я узнал, что «Her Jesus» таким же образом «принял» к себе других людей и что «принятие» означало помещение их в яму, в землю.

Мрачная аналогия послужила причиной моего недоверия к Христу. Он уже не казался мне большой добродушной птицей и стал ассоциироваться со зловещей чернотой людей в церковных одеяниях, высоких шляпах и блестящих черных ботинках, которые несли черный гроб.

Эти размышления привели к первой осознанной травме. Однажды жарким летним днем я сидел один, как обычно, у дороги перед домом и играл в песке. Дорога поднималась вверх к лесу, и мне хорошо было видно, что происходило наверху. Я увидел спускающегося из леса человека в странно широкой шляпе и длинном тем-

ном облачении. Он выглядел как мужчина, но был одет как женщина. Человек медленно приближался, и я увидел, что это действительно мужчина, одетый в особенную, доходящую до пят черную одежду: При виде его я преисполнился страхом, который превратился в смертельный ужас, как только пугающая мысль узнавания вспыхнула в моей голове: «Это иезуит». Незадолго перед тем я подслушал беседу между отцом и гостившим у нас священником. Беседа касалась грязной деятельности иезуитов. По полураздраженному, полуйсуганному тону отцовских реплик я понял, что «иезуиты» — это нечто исключительно опасное, даже для моего отца. На самом деле я, конечно же, и представления не имел о том, что такое иезуиты, но мне было знакомо похожее слово «Jesus» из моей маленькой молитвы.

Человек, спускающийся вниз по дороге, видимо, переоделся, подумал я, поэтому на нем женская одежда. Возможно, у него дурные намерения. Ужаснувшись, я бросился к дому, быстро взбежал по лестнице и спрятался под балкой в темном углу чердака. Не знаю, сколько я там просидел, но, должно быть, долго, потому что, когда я осмелился спуститься на первый этаж и осторожно высунул голову из окна, черного человека не было и в помине. Еще несколько дней я сидел в доме, оцепеневший от страха. И даже когда я опять начал играть на дороге, лесистая вершина холма оставалась для меня предметом бдительного беспокойства. Позже я, конечно, понял, что черный человек был обычным католическим священником.

Приблизительно в то же время — я не могу сказать с абсолютной точностью, предшествовало ли это случаю с иезуитом — мне приснился один из первых запомнившихся мне снов, которому предстояло занимать меня всю жизнь. Мне было тогда немногим больше трех лет.

Вблизи замка Лауфен особняком стоял дом священника, рядом тянулся большой луг, начинавшийся у фермы церковного сторожа. Во сне я очутился на этом лугу и внезапно увидел темную прямоугольную, выложенную изнутри камнями яму. Никогда прежде я не видел ничего подобного. Подбежав, я с любопытством заглянул вниз и увидел каменные ступени. В страхе и дрожа от страха я все же туда спустился. В самом низу, за зеленым занавесом, находился вход с круглой аркой. Занавес был большой и тяжелый, ручной работы, похожий на парчовый и выглядевший очень богато. Любопытство толкнуло меня узнать, что за ним: я отодвинул занавес и увидел в тусклом свете прямоугольную палату, метров в десять длиной, с каменным сводчатым потолком. Пол тоже был выложен каменными плитами, а в центре его лежал красный ковер. Там, на возвышении, стоял богато изукрашенный золотой трон. Я не уверен, но на сиденье, кажется, лежала красная подушка. Это был действительно величественный трон — сказочный королевский трон. На нем что-то стояло, что я поначалу принял за ствол дерева (около 4 — 5 м высотой и 0,5 м толщиной). Этот ствол доходил почти до потолка, и очень напоминал странную массу — сплав кожи и голого мяса; все венчало нечто вроде головы без лица и волос, на макушке которой располагался один глаз, устремленный неподвижно вверх.

Помещение довольно хорошо освещалась, хотя там не было ни окон, ни другого видимого источника света. От головы же полукругом исходило яркое свечение. То, что стояло на троне, не двигалось, но у меня возникло чувство, что оно в любой момент может соскользнуть и, как червяк, поползти ко мне. Я застыл в ужасе. В этот момент снаружи, сверху, послышался голос моей матери. Она воскликнула: «Взгляни, это же людоед!» Ее слова лишь усилили мой ужас, и я проснулся в поту, перепуганный до смерти. После этого мне долгое время было страшно засыпать, я боялся повторения сна.

Кошмарное сновидение не давало мне покоя много дней. Гораздо позже я понял, что это был образ фаллоса. И прошли еще десятилетия, прежде чем я узнал, что это

ритуальный фаллос. Я никогда не смог до конца понять, что же тогда хотела сказать моя мать: «это людоед» или «таков людоед»? В первом случае она подразумевала бы, что не Иисус или некий иезуит пожирала маленьких детей, но представшее чудище, во втором же — людоед вообще был символом, так что мрачный «Her Jesus», иезуит и образ моего сна были идентичны.

Абстрактный фаллический смысл подтверждается единичностью предмета и его вертикальным положением на троне. Яма на лугу — это могила, сама же могила — подземный храм, чей зеленый занавес символизировал луг, другими словами, тайну земли с ее зеленым травяным покровом. Ковер был кроваво-красным. А что сказать о своде? Возможно ли, чтобы я уже побывал в Муноте, цитадели Шафгаузена? Маловероятно — никто не возьмет туда трехлетнего ребенка. Так что вряд ли это было воспоминанием. Кроме того, я не знаю, откуда взялась анатомическая правильность образа. Интерпретация самой верхней его части как глаза с источником света указывает на значение соответствующего греческого слова «фалос» — светящийся, яркий.

Во всяком случае, образ из сна, похоже, был полезным богом, имя которого «помянуть» не следует, и таким оставался в период моей молодости, возникая всякий раз, когда кто-нибудь эмфатично говорил о Господе. «Her Jesus» так никогда и не стал для меня вполне реальным, никогда — вполне приемлемым, никогда — любимым, потому что снова и снова я думал о его подземных свойствах, пугающее открытие которых было дано мне, хоть я не искал его. «Переодетый» иезуит отбрасывал тень на христианскую доктрину, которой меня учили. Часто она казалась мне торжественным шествием масок, своего рода похоронами, на которых люди в траурных одеждах придают своим лицам серьезное или печальное выражение, но в следующий момент тайком посмеиваются и вовсе не чувствуют себя расстроенными. Иисус казался мне в каком-то смысле богом смерти, полезным, правда, тем, что отгонял ночные страхи, но вместе с тем это был жутковатый, распятый на кресте кровавый труп. Любовь и доброта его, о которых так много говорили, казались мне сомнительными в первую очередь потому, что люди, чаще всего говорившие о «возлюбленном Господе нашем, Иисусе», носили черную одежду и глянцевые черные ботинки, напоминавшие о похоронах. Все они, как мой отец, как восемь моих дядей, — все они были священниками. Многие годы они вызывали у меня страх, не говоря уже о появлявшихся иногда католических священниках, похожих на ужасного иезуита, так встревожившего однажды моего отца. Вплоть до конфирмации, я прилагал все усилия, чтобы заставить себя относиться к Христу как положено, но мне так и не удалось преодолеть свое тайное недоверие.

Испытываемый любимым ребенком страх перед «черным человеком» не был основной нотой в моем чувстве, важнее было само узнавание, пронзившее мой мозг, — это иезуит. Важна была и особая символическая обстановка моего сна, и его поразительная интерпретация — это людоед. Не великан-людоед из детских сказок, а настоящий людоед, сидящий под землей на золотом троне. В моем детском воображении на золотых тронах обычно сидели короли, а совсем далеко, на самом прекрасном высоком и ослепительно сверкающем троне, где-то в голубом небе сидели Бог и Иисус в белых одеяниях, увенчанные золотыми коронами. Но от того же Иисуса произошел «иезуит» в черной женской одежде и широкой черной шляпе. Так что, как ни посмотришь, именно оттуда исходила опасность.

В сновидении я спустился под землю и увидел нечто совершенно необычное, нечто непохожее на человека и принадлежащее подземному миру, оно неподвижно сидело на золотом троне, смотрело вверх и кормилось человеческим мясом. Пятьдесят лет спустя я наткнулся на отрывок из работы о религиозных ритуалах. Он касался идеи

каннибализма, лежащей в основе евхаристии. Только тогда мне стало ясно, какой далеко недетской, какой усложненной была мысль, начавшая прорываться в мое сознание в тех двух случаях. Кто говорил во мне? Чей ум изобрел это? Какой высший разум работал тогда? Я знаю, что всякий, инстинктивно уходящий от правды в таких вопросах, будет разглагольствовать о «черном человеке», «людоеде», «случайности» и «ретроспективной интерпретации» — разглагольствовать для того, чтобы закрыть нечто, неприятно тревожное, нечто, что может нарушить привычную картину детского неведения. Да, эти добродушные, деловитые, здравомыслящие люди всегда напоминают мне тех оптимистичных головастиков, которые в солнечный день плещутся в луже, на самом мелком месте, собравшись вместе и дружелюбно помахивая своими хвостиками. Они суетятся, совершенно не осознавая, что на следующее утро лужа высохнет и все для них кончится.

Кто тогда говорил со мной? Кто посвящал меня в проблемы, далеко превосходившие мое разумение? Кто совместил высокое и низкое и заложил основу того, что станет главной страстью второй половины моей жизни? Кто же еще, кроме далекого гостя, явившегося оттуда, из области, где сходятся высокое и низкое?

Этот сон посвятил меня в тайны земли. Это было своего рода захоронением в землю, и прошли многие годы, прежде чем я снова вышел наружу. Сегодня я знаю, что это случилось затем, чтобы внести как можно больше света в окружающую меня темноту. Это посвящение в царство тьмы. В этот момент бессознательно началась моя интеллектуальная жизнь.

В 1879 году мы переехали в Кляйн-Хенинген близ Базеля. Самого переезда я не помню, но помню, что произошло несколько лет спустя. Как-то вечером, когда я уже был в постели, отец подхватил меня на руки и вынес на западное крыльцо. Это было после извержения Кракатау в 1883 году.

В другой раз отец позвал меня, чтобы показать ярко светившуюся комету в восточной части неба.

А однажды произошло наводнение. Протекавшая через деревню река Визэ провала плотину, верхние подпорки моста рухнули. Утонули четырнадцать человек, желтый водяной поток унес их в Рейн. Когда вода отступила, несколько трупов застряли в песке. Как только я узнал об этом, меня невозможно было удержать. Фактически я сам нашел тело человека средних лет в черном церковном одеянии, видимо, он как раз возвращался из церкви. Он лежал наполовину засыпанный песком, прикрыв руками глаза. Точно также меня зачаровало зрелище закалывания свиньи. К ужасу моей матери, я остался досмотреть до конца. Эти вещи вызвали у меня огромный интерес.

\* \* \*

К тем же годам, проведенным в Кляйн-Хенингене, относятся и мои ранние впечатления, связанные с искусством. Дом, в котором мы жили, построили в XVIII веке для священника. В нем была темная комната, где стояла добротная мебель, а на стенах висели старинные картины. Особенно мне запомнилась итальянская картина, изображавшая Давида и Голиафа. Это была копия с полотна Гвидо Рени, оригинал которого находится в Лувре. Как она попала в нашу семью, мне не известно. В той комнате была еще одна старая картина, которая теперь висит в доме моего сына: вид Базеля, датированный началом XIX века. Часто я прокрадывался в эту темную, отделенную от других комнату и часами сидел там, уставившись на картины. Это было единственное проявление прекрасного, известное мне.

Примерно тогда же — должно быть, я все еще был маленьким (не старше шести лет) — тетка взяла меня в Базель и повела смотреть чучела животных в музей. Мы пробыли там довольно долго, поскольку мне хотелось рассмотреть все тщательно. В

четыре часа прозвенел колокольчик, это означало, что музей закрывается. Тетка тормошила меня и бранила, но я не мог оторваться от витрин. Тем временем зал заперли и нам пришлось идти другим путем — к лестнице, через античную галерею. И вот я оказался перед этими изумительными образами! Пораженный, я широко открыл глаза. Мне никогда не доводилось видеть ничего столь же прекрасного. Но я не мог их рассматривать так долго, как мне хотелось. Тетка тянула меня за руку к выходу. Я же тащился на шаг позади нее, а она громко повторяла: «Зажмурься, гадкий мальчишка, зажмурься, гадкий мальчишка!» И лишь тогда я осознал, что фигуры были обнаженными, что на них только фиговые листки. Раньше я этого просто не замечал! Такова была моя первая встреча с прекрасным. Тетка кипела от негодования, будто она выволакивала меня из борделя.

Когда мне исполнилось шесть лет, родители взяли меня на экскурсию в Арлсхайм. По этому случаю мать надела платье, которое я никогда не забывал, и это единственное ее платье, которое запечатлелось в моей памяти. Оно было сшито из черной ткани с маленькими зелеными полумесяцами. Ранний образ матери — это образ изящной молодой женщины в этом платье. В более поздних моих воспоминаниях она была уже немолодой и располневшей.

Мы направлялись в церковь, и мать вдруг сказала: «А это католический храм». Страх и любопытство побудили меня ускользнуть от нее и заглянуть внутрь. Времени как раз хватило, чтобы увидеть большие свечи на богато украшенном алтаре (это было накануне Пасхи), но тут я споткнулся о ступеньку и ударился подбородком о железо. Помнится, я глубоко поранился и у меня сильно текла кровь, когда родители поднимали меня. Ощущения мои были противоречивы: с одной стороны, мне было стыдно, потому что мои вопли привлекли внимание прихожан, с другой стороны, я чувствовал, что совершил нечто запретное. Иезуиты, зеленый занавес, секрет людоеда... Это та самая католическая церковь, что связана с иезуитами. Она виновата, что я упал и кричал.

Многие годы, стоило лишь мне войти в храм, я испытывал тайный страх перед кровью, падением и иезуитами. Таковы были образы, всплывавшие при мысли о католическом храме, и вместе с тем его атмосфера всегда очаровывала меня. Присутствие католического священника обостряло мои чувства (если такое возможно). И только к тридцати годам я перестал испытывать чувство угнетения перед матерью-церковью. Первый раз я почувствовал это в Соборе святого Стефана в Вене.

Когда мне исполнилось шесть лет, отец стал учить меня латыни, и я начал ходить в школу. Я ничего не имел против школы, там мне было легко, поскольку я всегда опережал других, научившись читать прежде, чем попал в школу. Однако помню случай, когда, еще не умея читать, я приставал к матери, чтобы она почитала мне «Orbis pictus», — старую, богато иллюстрированную детскую книгу, где я находил описания экзотических религий. В ней были необыкновенно интересовавшие меня картинки с изображениями Брахмы, Вишну и Шивы. По рассказам матери, я постоянно возвращался к ним. И когда бы я это ни делал, у меня возникало неясное чувство родства этих образов с моим «первым откровением», но я ни с кем об этом не говорил. Это был мой секрет. Косвенно мать подтвердила мое чувство — я заметил легкое презрение в ее тоне, когда она говорила о «язычниках». Я знал, что она не примет моего «откровения», а только ужаснется, и мне не хотелось лишней раз себя травмировать.

Такое недетское поведение было связано, с одной стороны, с острой чувствительностью и уязвимостью, с другой — и это особенно важно — с одиночеством в ранний период моей жизни. (Моя сестра родилась через девять лет после меня.) Я один играл в свои игры. К сожалению, не могу вспомнить, во что играл, помню только — я не

хотел, чтобы меня беспокоили. Погружаясь в свои игры, я не выносил, когда за мной наблюдали или говорили обо мне и моей игре. Первое четкое воспоминание об играх относится к седьмому или восьмому году жизни. Я обожал кубики и строил башни, которые потом с восторгом разрушал «землетрясением». Между десятью и одиннадцатью годами я все время рисовал — битвы, штурмы, бомбардировки, морские сражения. Потом я заполнял всю книгу упражнений чернильными кляксами и развлекался, придумывая им фантастические объяснения. И школа мне нравилась кроме всего прочего тем, что у меня наконец появились товарищи для игр — то, чего я так долго был лишен.

И это было не единственное, что я нашел для себя в школе. Но прежде чем рассказать об этом, я должен упомянуть о мрачной атмосфере, которая ночью как бы сгустилась в доме. Что-то происходило по ночам, что-то непостижимое и тревожное. Мои родители спали порознь. Я спал в комнате отца. Из комнаты матери исходило нечто пугающее, по вечерам мать казалась странной и таинственной. Однажды ночью я увидел выходящую через ее дверь слабо светящуюся расплывчатую фигуру, ее голова отделилась от шеи и поплыла впереди по воздуху, как маленькая луна. Тут же появилась другая голова и тоже отделилась. Это повторилось шесть или семь раз. Меня беспокоили сны, в которых предметы то увеличивались, то уменьшались. Например, мне снился крошечный шар, находящийся на большом расстоянии, постепенно он приближался, разрастаясь в нечто чудовищное и вызывая удушье. Или мне снились телеграфные провода с сидящими на них птицами; провода расширялись, мой страх нарастал, пока наконец от ужаса я не пробуждался.

Сны эти были предвестниками физиологических изменений, связанных с половым созреванием, однако у них была и другая причина. В семь лет я заболел ложным крупом с приступами удушья. Однажды ночью во время такого приступа я с откинутой назад головой стоял в кровати, в то время как отец держал меня под руки. Над собой я увидел круг голубого пламени размером с полную луну, внутри него двигались золотые фигурки, я думал — ангелы. Видение повторялось, и всякий раз страх удушья становился слабее. Но удушье в невротических снах возникало снова и снова. В этом я вижу психогенный фактор: удушающей становилась атмосфера в доме.

Я терпеть не мог ходить в церковь. Исключением было Рождество. Мне очень нравилась рождественская песенка «Это день, сотворенный Господом». А вечером, конечно, была рождественская елка. Рождество было единственным христианским праздником, которому я от души радовался, к остальным же был равнодушен. Еще как-то привлекал меня сочельник, хотя он явно стоял на втором месте. Но в адвентах было нечто дисгармоническое, нечто, связанное с ночью, штормами, ветром и темнотой дома — то, что шепталось, что казалось сверхъестественным.

Теперь я вернусь к открытию, которое сделал, общаясь с моими деревенскими школьными друзьями. Я обнаружил, что они отрывали меня от самого себя, с ними я был не таким, как дома. Я принимал участие в их проказах и даже сам придумывал их, что дома никогда не пришло бы мне в голову (так мне казалось, по крайней мере). Тем не менее я прекрасно знал, на что способен. Я думал, что изменился под влиянием моих друзей. Они каким-то образом уводили меня в сторону от самого себя или принуждали быть не таким, каким я был в действительности. Влияние этого более широкого, не только родительского мира казалось мне сомнительным, едва ли не подозрительным, и чем-то, пусть не отчетливо, но враждебным. Все более сознавая яркую красоту наполненного светом дневного мира, где есть «золотистый солнечный свет» и «зеленая листва», я в то же время чувствовал власть над собой неясного мира теней, полного неразрешимых вопросов. Моя вечерняя молитва была своего рода ритуальной границей: она, как положено, завершала день и предвляла

ночь и сон. Но в новом дне таилась новая опасность. Меня пугало это мое раздвоение, я видел в нем угрозу своей внутренней безопасности.

Мне вспоминается также, что в это время (от семи до девяти лет) я любил играть с огнем. Наш сад был обнесен каменной стеной, в кладке которой, между камнями, образовались углубления. В одном из таких углублений я вместе с другими мальчиками часто разводил маленький костер. Его нужно было поддерживать, и мы все вместе собирали для него ветки. Однако никто, кроме меня, не имел права поддерживать этот огонь. Другие могли разводить огонь в других углублениях, и эти костры были обычными, они меня не волновали. Только мой огонь был живым и священным. Это на долгое время стало моей излюбленной игрой.

У стены начинался склон, на котором я обнаружил вросший в землю большой камень — мой камень. Часто, сидя на нем, я предавался странной метафизической игре, — выглядело это так: «Я сижу на этом камне, я на нем, а он подо мною». Камень тоже мог сказать «я» и думать: «Я лежу здесь, на этом склоне, а он сидит на мне». Дальше возникал вопрос: «Кто я? Тот ли, кто сидит на камне, или я — камень, на котором он сидит?» Ответа я не знал и всякий раз, поднимаясь, чувствовал, что не знаю толком, кто же я теперь. Эта неопределенность сопровождалась ощущением странной и чарующей темноты, возникающей в сознании. У меня не было сомнений, что этот камень тайным образом связан со мной. Я мог часами сидеть на нем, завороженный его загадкой.

Через тридцать лет я вновь побывал на этом склоне. У меня уже была семья, дети, дом, свое место в мире, голова моя была полна идей и планов. Но здесь я неожиданно снова превратился в того ребенка, который зажигал полный таинственного смысла огонь и сидел на камне, не зная, кто был кем: я им или он мной? Я подумал о своей жизни в Цюрихе, и она показалась мне чуждой, как весть из другого мира и другого времени. Это пугало, ведь мир детства, в который я вновь погрузился, был вечностью, и я, оторвавшись от него, ощутил время — длящееся, уходящее, утекающее все дальше. Притяжение того мира было настолько сильным, что я вынужден был резким усилием оторвать себя от этого места для того, чтобы не забыть о будущем.

Никогда не забуду это мгновение — будто короткая вспышка необыкновенно ярко высветила особое свойство времени, некую «вечность», возможную лишь в детстве. Что это значило, я узнал позже. Мне было десять лет, когда мой внутренний разлад и неуверенность в мире вообще привели к поступку, совершенно непостижимому. У меня был тогда желтый лакированный пенал, такой, какой обычно бывает у школьников, с маленьким замком и измерительной линейкой. На конце линейки я вырезал человечка, в шесть сантиметров длиною, в рясе, цилиндре и блестящих черных ботинках. Я выкрасил его черными чернилами, спилил с линейки и уложил в пенал, где устроил ему маленькую постель. Я даже смастерил для него пальто из куска шерсти. Еще я положил в пенал овальной формы гладкий черноватый камень из Рейна, покрасил его водяными красками так, что он казался как бы разделенным на верхнюю и нижнюю половины, и долго носил камень в кармане брюк. Это был его камень, моего человечка. Все вместе это составляло мою тайну, смысл которой я не вполне понимал. Я тайно отнес пенал на чердак (запретный, потому что доски пола там были изъедены червями и сгнили) и спрятал его на одной из балок под крышей. Теперь я был доволен — его никто не увидит! Ни одна душа не найдет его там. Никто не откроет моего секрета и не сможет отнять его у меня. Я почувствовал себя в безопасности, и мучительное ощущение внутренней борьбы ушло. Когда мне бывало трудно, когда я делал что-нибудь дурное или мои чувства были задеты, когда раздражительность отца или болезненность матери угнетали меня, я думал об этом моем человечке, заботливо уложенном и завернутом, о его гладком, замечательно рас-



крашенном камне. Время от времени, когда я был уверен, что никто меня не увидит, я тайком пробирался на чердак. Взобравшись на балку, я открывал пенал и смотрел на моего человечка и его камень. Каждый раз я клал в пенал маленький свиток бумаги, где перед этим что-нибудь писал на тайном, мной изобретенном языке. Новый свиток я прятал так, будто совершал некий торжественный ритуал. Не могу, к сожалению, вспомнить, что же я хотел сообщить человечку. Знаю лишь одно, что мои «письма» были своего рода библиотекой для него. Мне кажется, хотя я не очень уверен в этом, что они состояли из моих любимых сентенций.

Объяснить себе смысл этих поступков я никогда не пытался. Я испытывал чувство вновь обретенной безопасности и был доволен, владея тем, о чем никто не знал и до чего никто не мог добраться. То была тайна, которую нельзя было открывать никому, ведь от этого зависела безопасность моей жизни. Почему это было так, я себя не спрашивал. Просто было и все.

Владение тайной оказало мощное влияние на мой характер. Я считаю это самым значительным опытом моего детства. Точно так же я никогда никому не рассказывал о моем сне: иезуит тоже принадлежал к таинственной сфере, про которую — я это знал — нельзя говорить никому. Деревянный человечек с камнем был первой попыткой, бессознательной и детской, придать тайнам внешнюю форму. Я был поглощен всем этим и чувствовал, что должен попытаться это понять, но не знал, что на самом деле хотел выразить. Я всегда надеялся, что смогу найти нечто такое (возможно, в природе), что даст мне ключ от моей тайны, прояснит наконец, в чем она заключается, т.е. ее истинную суть. Тогда же у меня возникла страсть к растениям, животным, камням. Я всегда готов был к чему-то таинственному. Теперь я сознаю, что был религиозен в христианском смысле, хотя всегда с оговоркой вроде: «Все это так, да не совсем!» или «А что же делать с тем, что под землей?» И когда мне вдалбливали религиозные догматы и говорили: «Это прекрасно и это хорошо!», я думал про себя: «Да, все это так, но есть нечто Другое — тайное, его не знает никто».

Эпизод с вырезанным человечком стал высшей и последней точкой моего детства. Длился он примерно год. Больше я не вспоминал о нем до тех пор, пока мне не исполнилось тридцать пять. Тогда передо мной с необыкновенной ясностью вновь возникло это детское впечатление. Я работал над книгой «Либи́до: его метаморфозы и символы» и собирал материал о «кладбище живых камней» близ Арлесхайма, об австралийских амулетах, когда внезапно обнаружил, что совершенно отчетливо представляю себе один из этих камней: черный, овальный, с двух сторон окрашенный. За этим образом в моей памяти возникли желтый пенал и деревянный человечек. Человечек этот был маленьким языческим идолом, чем-то вроде античной статуи Эскулапа со свитком.

Вместе с этим воспоминанием меня впервые посетила мысль, что существуют некие архаические элементы сознания, не имеющие аналогов в книжной традиции. В библиотеке отца (с которой я познакомился гораздо позднее) не было ни единой книги, в которой можно было бы отыскать информацию по этой теме. Не говорю уже о том, что отец не имел ни малейшего представления о подобных вещах.

В 1920 году, будучи в Англии, я, совершенно забыв о своем детском опыте, вырезал из дерева две похожие фигурки. Одну из них я воспроизвел в увеличенном масштабе из камня, теперь она стоит в моем саду в Кюснахте. И лишь тогда подсознание подсказало мне ее имя — «atmavictu» — «breath of life» (букв. — дуновение жизни). Это было продолжением тех квазисексуальных образов моего детства, но теперь они представляли как «breath of life», творческий импульс. Все вместе это называлось

«kibir»<sup>\*</sup>, — фигурка, завернутая в плащ, она имела так называемый «kista» — запас жизненной силы в виде продолговатого черного камня. Но эта связь открылась мне много позже. Ребенком я совершал ритуал также, как, по моим позднейшим наблюдениям, это делали африканские аборигены; они тоже сперва что-то делали и лишь потом осознавали, что же это было.

## Школа.

### I.

В одиннадцать лет меня отправили учиться в базельскую гимназию, и это значило довольно много. Меня разлучили с деревенскими товарищами, и я оказался в «большом мире», заполненном «большими людьми», куда более влиятельными, чем мой отец; они жили в великолепных домах, разъезжали в дорогих каретах, запряженных чудесными лошадьми, изысканно объяснялись на немецком и французском. Их хорошо одетые сыновья с прекрасными манерами и обилием карманных денег стали моими школьными товарищами. С удивлением и тайной завистью я слушал их рассказы о каникулах, проведенных в Альпах. Они побывали там, среди тех самых пылающих горных вершин близ Цюриха, они даже побывали на море — последнее меня совершенно ошеломило. Я взирал на них так, будто они были существами из другого мира, их окружал ореол недостижимости, «пылающих горных вершин», далекого и невообразимого моря. Тогда я впервые осознал, что мы бедны, что мой отец — бедный деревенский священник, а я — еще более бедный сын священника, у меня дырявые туфли и я по шесть часов кряду сижу в школе в мокрых носках. Я увидел своих родителей в другом свете и стал понимать их заботы и беспокойство. Особенно я сочувствовал отцу, и что удивительно — гораздо меньше матери. Она всегда казалась мне сильнее. Тем не менее, когда отец давал выход своему раздражению, я всегда становился на ее сторону. Необходимость такого выбора не лучшим образом отразилась на моем характере. Я взял на себя роль высшего судьи, который *polens-volens* должен был рассудить родителей. Это сделало меня в некоторой степени высокомерным, но в то же время моя неуверенность в себе возрастала.

Мне было девять лет, когда родилась моя сестра. Отец был взволнован и обрадован. «Сегодня у тебя появилась маленькая сестренка», — сказал он мне, и я был крайне удивлен, поскольку ничего не заметил. Я не придавал значения тому, что мать подолгу оставалась в постели, иначе я счел бы это непростительной слабостью. Отец подвел меня к материнской кровати, и она протянула мне маленькое создание, вид которого меня ужасно разочаровал: красное, сморщенное, как у старушки, личико, закрытые глаза. «Наверное, такая же слепая, как новорожденный щенок», — подумал я. Мне показали несколько длинных красных волосинок у нее на спине. Может она вырастет обезьянкой? Я был расстроен и не знал, как к этому отнестись. Неужели так выглядят новорожденные дети? Они пробормотали что-то об аисте, который принес ребенка. А как насчет щенков или котят? Сколько раз аисту пришлось бы летать взад и вперед, прежде чем он собрал бы весь помет? А как же коровы? Я не мог вообразить, как аист умудрился бы принести в клюве целого теленка. Эта история явно принадлежала к одному из тех обманов, которыми меня все время

---

<sup>\*</sup> Кабиры (или боги-великаны) — природные божества, культ которых, как правило, был связан с культом Деметры. Обычно в них видели источник жизни и созидания.

потчевали. Я был уверен в этом. Они еще раз сделали что-то такое, что мне не следует, не положено знать.

Неожиданное появление сестры оставило у меня в душе смутный осадок недоверия, которое обострило мое любопытство и наблюдательность. Появившиеся впоследствии странности в поведении матери укрепили меня в подозрении, что с этим рождением было связано что-то печальное. В остальном же это не слишком меня беспокоило, хотя, возможно, каким-то образом отразилось на переживании другого события, произошедшего год спустя.

У матери была досадная привычка давать мне разнообразные добрые советы, когда я отправлялся куда-нибудь в гости. В этих случаях я надевал праздничный костюм и до блеска чистил туфли. Я сознавал всю важность момента, и мне казалось унижительным, что люди на улице слышали все те позорные для меня реплики, которые мать выкрикивала мне вслед: «И не забудь передать им привет от папы и мамы, и вытри нос – платок у тебя есть? Ты вымыл руки?» и т. д. Меня задевала эта очевидная несправедливость: чувство собственной неполноценности, неотделимое от тщеславия, было таким образом выставлено напоказ, тогда как я изо всех сил старался казаться уверенным. Идя в гости, я был важен и полон достоинства — как всегда, когда в будний день надевал праздничный костюм. Но все менялось, как только передо мной возникал дом, куда я шел. Мной овладевало ощущение некой избранности и превосходства его обитателей. Я боялся их и от чувства собственной ничтожности готов был провалиться сквозь землю. С этим чувством я звонил в дверь. Дверной колокольчик звучал в моих ушах похоронным звоном. Я был труслив и робок, как побитая собака. Еще хуже, если мать успевала меня заранее «подготовить». «Мои ботинки грязны и руки тоже; у меня нет платка и шея черна от грязи». Из чувства противоречия я не передавал привет от родителей, был чересчур пуглив и упрям. Когда становилось совсем плохо, я вспоминал о тайном сокровище на чердаке и это помогало восстановить душевное равновесие, я думал о себе как о «другом человеке» — человеке, владеющем тайной, о которой не знает никто: черным камнем и человечком в цилиндре и черном платье.

Не помню, чтобы в детстве меня когда-нибудь посещала мысль о возможной связи между Христом, черным иезуитом, людьми в черном с высокими шляпами, стоящими у могилы, подобной подземному ходу на лугу из моего сна, и моим маленьким человечком в пенале. Сон о подземном боге был моей первой настоящей тайной, человечек — второй. Однако сегодня мне кажется, что я смутно ощущал связь между камнем-талисманом и тем камнем, что был «мною».

И сегодня, в свои восемьдесят три года, когда я записываю эти воспоминания, я так до конца и не смог объяснить себе характер той связи. Они как различные стебли одного подземного корня, как остановки на пути развития бессознательного. В какой-то момент для меня стало положительно невозможным принять Христа, и я помню, что с одиннадцати лет меня начала интересовать идея Бога. Я молился Ему, и это действовало на меня умиротворяюще. В этом не было противоречия. Я не испытывал недоверия к Богу. Более того, Он был не «черный человек» и не «Her Jesus», изображенный на картинках, где Он появляется в чем-то ярком, окруженный людьми, которые ведут себя с ним совершенно панибратски. Он (Бог) — существо, ни на что не похожее, которое, как мне было известно, никто не может себе представить. Он представлялся мне кем-то вроде очень могущественного старца. Моему ощущению отвечала заповедь «Не сотвори себе кумира». С Богом нельзя было обращаться так фамильярно, как с Христом, который не являлся ничьей «тайной». В моей голове возникла очевидная аналогия с секретом на чердаке.

\* \* \*

Школа стала надоедать мне. Она занимала слишком много времени, а я предпочел бы потратить его на рисование батальных сцен или игры с огнем. Уроки закона Божьего были невыразимо скучны, а математики я просто боялся. Учитель делал вид, что алгебра — вполне обычная вещь, которую следует принимать как нечто само собой разумеющееся, тогда как я не понимал даже, что такое числа. Они не были камнями, цветами или животными, они не были тем, что можно вообразить, они представляли собой просто количества — они получались при счете. Мое замешательство усиливалось от того, что эти количества не были обозначены буквами, как звуки, которые, по крайней мере, можно было слышать. Но, как ни странно, мои одноклассники оказались в состоянии справиться с этими вещами и даже находили их очевидными. Никто не мог объяснить мне, что такое число, и я даже не мог сформулировать вопрос. С ужасом обнаружил я, что никто не понимает моего затруднения. Нужно признать, что учитель пытался самым тщательным образом объяснить мне цель этой любопытной операции перевода количеств в звуки. Наконец до меня дошло, что целью была некая система сокращений, с помощью которой многие количества могут быть сведены к короткой формуле. Но это ни в коей мере не интересовало меня. Я считал, что весь процесс был совершенно произвольным. Почему числа должны выражаться буквами? С тем же успехом можно было выразить буквы через обиходные вещи, которые на эти буквы начинаются.  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $x$ ,  $y$  не были конкретными и говорили мне о сущности чисел не более, чем их предметные символы. Но что больше всего выводило меня из себя, так это равенство: если  $a = b$  и  $b = c$ , то  $a = c$ . Если по определению  $a$  было чем-то отличным от  $b$ , оно не могло быть приравнено к  $b$ , не говоря уже о  $c$ . Когда вопрос касался эквивалентности, говорилось, что  $a = a$  и  $b = b$  и т. д. Это я мог понять, тогда как  $a = b$  казалось мне сплошной ложью и надувательством. Точно также меня раздражало, когда учитель, вопреки собственному определению, заявлял, что параллельные прямые сходятся в бесконечности. Это мне казалось фокусом, на который можно поймать только крестьянина, и я не мог и не желал иметь с этим ничего общего. Чувство интеллектуальной честности боролось во мне с этими замысловатыми противоречиями, которые навсегда сделали для меня невозможным понимание математики. Сейчас, будучи пожилым человеком, я безошибочно чувствую, что, если бы тогда я, как мои школьные товарищи, принял без борьбы утверждение, что  $a = b$  или что солнце равно луне, собака — кошке и т. д., — математика дурачила бы меня до бесконечности. Каких размеров достиг бы обман, я стал понимать, только когда мне исполнилось восемьдесят четыре. Для меня на всю жизнь осталось загадкой, почему я не преуспел в математике, ведь, без сомнения, я мог хорошо считать. Невероятно, но основным препятствием стали соображения морального характера.

Уравнения становились понятными мне лишь после подстановки конкретных чисел вместо букв и перепроверки фактическим подсчетом. По мере того как мы продвигались в математике, я старался более или менее не отставать, списывая алгебраические формулы, значения которых не понимал, запоминая лишь, где находится та или иная комбинация букв на доске. Однако в какой-то момент я переставал успевать и не мог больше заменять буквы числами, потому что учитель время от времени произносил: «Здесь мы напишем такое-то выражение», и черкал несколько букв на доске. Я не имел представления, откуда он их взял и зачем это делал. Единственной причиной я считал то, что это давало ему возможность довести всю процедуру до конца и испытать удовлетворение. Из-за моего непонимания я был так запуган, что не смел задавать вопросы.

Уроки математики превратились для меня в настоящий кошмар. Другие предметы давались мне легко. И поскольку благодаря хорошей зрительной памяти я сумел в течение долгого времени не вполне честным образом успевать на уроках матема-

тики, у меня, как правило, были хорошие оценки. Но страх неудач и чувство собственной малозначительности перед лицом огромного мира породили во мне не только неприязнь к школе, но и безысходное отчаяние. Вдобавок я был освобожден от уроков рисования по причине полной неспособности. В этом был свой плюс — у меня оставалось больше свободного времени, но, с другой стороны, это явилось новым поражением, потому что на самом деле я был не лишен некоторых способностей к рисованию, но мне и в голову не приходило, что все зависит от заданий, которые нам давались. Я мог рисовать лишь то, что занимало мое воображение, а меня принуждали копировать головы греческих богов с незрячими глазами, и, когда это у меня не получалось, учитель, думая, что мне требуется нечто более реалистическое, ставил передо мной картинку с изображением козлиной головы. Эту задачу я провалил окончательно, что положило конец моим урокам рисования.

Мне исполнилось двенадцать лет, когда произошли события, в какой-то степени определившие мою дальнейшую судьбу. Как-то в начале лета 1887 года я вышел из школы на соборную площадь и стал поджидать одноклассника, с которым обычно вместе возвращался домой. Был полдень, уроки уже закончились. Внезапно меня сбил с ног другой школьник. Я упал и так сильно ударился головой о тумбу, что на миг потерял сознание. В течение получаса потом я испытывал легкое головокружение. В момент удара в моей голове вспыхнула мысль: «Теперь не надо будет ходить в школу». Я находился всего лишь в полуобморочном состоянии, но оставался лежать гораздо дольше, чем это было необходимо, главным образом потому, чтобы отомстить моему обидчику. Затем мне помогли подняться и отвели в дом неподалеку, где жили две мои пожилые незамужние тетки.

С тех пор, как только родители посылали меня в школу или усаживали за уроки, у меня начинались головокружения. Я не посещал занятия больше шести месяцев, что было мне на руку — теперь можно было ходить куда хочется, гулять в лесу или у реки, рисовать. Я опять рисовал войну, старинные замки, пожары и штурмы, иногда целые страницы заполнял карикатурами. (По сей день, перед тем как заснуть, перед моими глазами проходят эти ухмыляющиеся маски. Иногда мне виделись среди них лица людей, которых я знал и которые вскоре после этого умирали.) Но все чаще я погружался в таинственный мир, которому принадлежали деревья и вода, камни и звери, и отцовская библиотека. Я все дальше уходил от мира действительного и временами испытывал слабые уколы совести. Я растрачивал время в рассеянии, чтении и играх. Счастья не прибавилось, зато возникло неясное чувство, что я ухожу от себя.

Я уже совершенно позабыл, с чего все это началось, но мне стало жаль испуганных родителей, которые уже начали обращаться к самым разным врачам. Те, почесав затылки, отправили меня на каникулы к родственникам в Винтертур. В этом городе была железнодорожная станция, что привело меня в настоящий восторг. Но по возвращении домой, все пошло по-прежнему. Один из врачей решил, что у меня эпилепсия. Я знал, как выглядят эпилептические припадки, и про себя посмеивался над этой чушью. Но родителям было не до смеха. Однажды к отцу зашел его приятель. Они сидели в саду, а я из любопытства подслушивал, спрятавшись за кустом. Я услышал, как гость спросил отца: «Ну как ваш сын?» «А, это печальная история, — ответил отец, — врачи уже не знают, что с ним. Они подозревают эпилепсию, и это было бы ужасно. Те небольшие сбережения, что у меня были, я потерял, и что будет с мальчиком, если он не сможет заработать себе на жизнь?»

Меня как громом поразило. Это было первое столкновение с реальностью. «Что ж, значит, мне придется работать!» — подумал я. И с этого момента я сделался серьезным ребенком. Я тихонько отполз и направился в отцовский кабинет, где достал

свою латинскую грамматику и стал старательно зубрить. Спустя десять минут со мной случился самый сильный из моих обмороков. Я чуть не упал со стула, но через несколько минут почувствовал себя лучше и продолжал работать. «Черт подери, я не собираюсь падать в обморок», — сказал я себе. На этот раз прошло пятнадцать минут, прежде чем начался второй приступ. Он был похож на первый. «А теперь ты снова будешь работать!» — приказал я себе, и через час пережил третий приступ. Тем не менее я не сдался и работал еще час, пока у меня не возникло ощущение, что я победил. Теперь я чувствовал себя лучше, и приступы больше не повторялись. Я ежедневно садился за грамматику и несколько недель спустя вернулся в школу. Головокружения прекратились. С этим было покончено навсегда! Но таким образом я узнал, что такое невроз.

Постепенно я припомнил, с чего все началось, и полностью осознал, что причиной всей этой неприятной истории был я сам. Поэтому я никогда не испытывал злобы к толкнувшему меня школьнику, понимая, что он «предназначен» был сделать это и что все было «срежиссировано» мной самим — от начала и до конца. Знал я и то, что это больше не повторится. Я ненавидел себя, и еще — стыдился. Я сам себя наказал и выглядел дураком в собственных глазах. Никто кроме меня не был виноват. Я был проклят! С того времени меня начала безумно раздражать родительская заботливость и их жалостливый тон, когда речь заходила обо мне.

Невроз стал еще одной моей тайной, и тайной постыдной. Это было поражение. Тогда же проявились во мне крайняя щепетильность и необыкновенное прилежание. Причем добросовестность моя была не только показной, мне необходимо было убедиться, чего я стою, необходимо было быть добросовестным перед самим собой. Регулярно я вставал в пять утра, чтобы позаниматься, а иногда работал с трех до семи — до ухода в школу.

То, что меня сломило и, собственно, привело к кризису, — это стремление к одиночеству, восторг от ощущения, что я один. Природа представлялась мне полной чудес, и меня влекло к ней. Каждый камень, каждое растение, каждая вещь казались мне живыми и удивительными. Я уходил в природу, к ее основаниям — все дальше и дальше от человеческого мира.

\* \* \*

Приблизительно тогда же со мной произошло еще одно важное событие. Я шел в школу из Кляйн-Хенингена, где мы жили, в Базель, как вдруг в какой-то момент меня охватило чувство, будто я только что вышел из густого облака и теперь наконец стал самим собой! Как будто стена тумана осталась за моей спиной, и там, за этой стеной, еще не существовало моего «я». Теперь же я знал, что оно есть. До этого я тоже существовал, но все, что случалось, случалось с тем «я». Раньше со мной что-то делали, теперь это я делал что-то. Переживание было очень важным и новым: я обладал властью. Как ни странно, в этот миг, как и в те месяцы, что длился мой обморочный невроз, я ни разу не вспомнил о своем сокровище на чердаке. Иначе я, наверное, заметил бы аналогию между чувством власти и чувством обладания сокровищем. Но этого не произошло, — все мысли о человечке в пенале исчезли.

Кажется тогда же я получил приглашение провести каникулы на Фирвальдштеттском озере, в доме одного нашего знакомого. Дом стоял у самого озера, рядом был лодочный причал и весельная лодка. Сыну хозяина и мне разрешили ею пользоваться, строго предупредив, чтобы мы были осторожны. К несчастью, я уже тогда знал, что править вайдлингом (лодка типа гондолы) нужно стоя. Дома у нас была маленькая плоскодонка, и в старой канаве мы пробовали разные штуки. Поэтому первое, что я сделал, — это стал на корме во весь рост и веслом оттолкнулся от берега. Для осторожного хозяина это было уж слишком, он свистком позвал нас к себе

и здорово меня отругал. Я был крайне огорчен, признавая, что сделал именно то, чего меня просили не делать, а значит, заслужил выговор. И тем не менее меня охватила ярость: как этот толстый, невежественный и грубый человек посмел оскорблять меня. Мое «я» ощущало себя взрослым человеком, обладающим чувством собственного достоинства, человеком уважаемым и почтенным. Но контраст с реальностью был столь очевиден, что в какой-то момент я остановил себя: «А кто ты, собственно, такой? Реагируешь так, будто ты бог вещь какая персоне! И ведь сам понимаешь, что он совершенно прав. Тебе едва двенадцать, ты школьник, а он отец семейства, богатый, влиятельный человек, у него два дома и множество отличных лошадей».

В голове у меня была каша: во мне как бы сошлись два человека: один — школьник, который не успевает по математике и далеко не уверен в себе, второй — важная персоне — человек, которым нельзя пренебрегать, столь же уважаемый и влиятельный, как хозяин дома. Этот «второй» был пожилым человеком, он жил в восемнадцатом веке, носил туфли с пряжками и белый парик, ездил в наемном экипаже с высокими колесами, оборудованном козлами на пружинах с кожаными ремнями.

В восемнадцатом веке я чуть позже побывал благодаря необычному случаю. Однажды мимо нашего дома в Кляйн-Хенингене проехала старинная зеленая карета из Шварцвальда. Она выглядела так, будто в самом деле прикатила из прошлого. Увидев ее, я подумал: это именно то, что нужно! Это из «моего» времени. Я будто узнавал ее — ну точно такая же, как те, на которых я ездил. Потом возникло своего рода *santiment esoeurant* (отвратительное чувство. — *фр.*), как будто кто-то украл ее у меня, обманул — отнял любимое прошлое. Карета осталась от тех времен! Не могу описать, что происходило со мной или что меня так сильно волновало: тоска, ностальгия или чувство узнавания: «Все так и было! Именно так!»

Затем произошло еще одно событие, опять уводившее меня в мой восемнадцатый век. В доме одной из моих теток я обнаружил старинную статуэтку: две терракотовые фигурки — старый доктор Штукельбергер (личность, хорошо известная в Базеле в конце восемнадцатого века) и его пациентка — с высунутым языком и закрытыми глазами. Легенда такова: однажды старый Штукельбергер шел по мосту, когда к нему подскочила эта изрядно надоевшая доктору дама и стала захлеб излагать свои жалобы. Старик сказал: «Да, да, в самом деле с вами что-то не так. Высуньте-ка язык и закройте глаза», после чего быстро исчез. Назойливая дама так и осталась стоять с высунутым языком — всем на посмешище. Так вот, у старого доктора были туфли с пряжками, которые я странным образом признал за свои, будучи твердо уверенным, что именно такие туфли я носил. Я даже заявил об этом, чем привел всех в замешательство. Я почему-то помнил эти туфли у себя на ногах и не мог объяснить, откуда взялась эта безумная убежденность. Каким образом я очутился в восемнадцатом веке? Кстати в те дни я часто путал даты, писал: 1786 вместо 1886, и всякий раз с чувством необъяснимой ностальгии.

После случая с лодкой и последовавшего за ним вполне заслуженного наказания я стал обдумывать эти разрозненные впечатления, и они связались воедино: во мне две личности, два разных человека, живущих в разное время. Я пребывал в крайнем замешательстве, мой мозг не справлялся с этим. Наконец я пришел к неутешительному выводу, что сейчас я все-таки всего лишь младший школьник, который заслужил наказание и должен вести себя соответственно возрасту. Тот другой, похоже, совершенная бессмыслица. Я подозревал, что это как-то связано с различными историями, которые рассказывали родители и родственники о моем деду. Но и это было не совсем так, поскольку дед родился в 1795 году, а значит, жил в девятнадцатом веке; более того, он умер задолго до моего рождения. Невозможно, чтобы я был идентичен ему. Эти мои догадки были тогда неотчетливы и походили на сны. Не могу

сейчас вспомнить, знал ли я тогда о моем легендарном родстве с Гёте. Думаю, что нет, потому что впервые услышал эту историю от посторонних людей. Суть этих неприятных для меня слухов заключалась в том, будто мой дед был родным сыном Гёте.

К двум моим фиаско — математике и рисованию — добавилось третье: с самого начала я ненавидел физкультуру. Я не выносил, когда меня учили, как мне следует двигаться. Я ходил в школу, чтобы научиться чему-то новому, а не для того, чтобы отрабатывать бесполезные и бессмысленные акробатические упражнения. Более того, после несчастных случаев в раннем детстве у меня осталась некоторая физическая робость, которую я так и не смог преодолеть. В основе ее лежала моя недоверчивость к миру и к собственным силам. Мир, конечно же, казался мне прекрасным, но вместе с тем непостижимым и угрожающим. А я всегда с самого начала хотел знать, кому и чему я доверялся. Возможно, это было как-то связано с матерью, которая однажды покинула меня на несколько месяцев? Тогда — и я опишу это позже — у меня начались невротические обмороки, и врач, к моему большому удовольствию, запретил мне заниматься гимнастикой. Я избавился от этого бремени, но вынужден был проглотить еще одну неудачу.

Освободившееся время уходило не только на игры, у меня появилось время для новой страсти: я читал любой попадавшийся мне на глаза кусок печатного текста.

\* \* \*

В один из летних дней того же 1887 года я вышел из школы и отправился на соборную площадь. Небо было изумительным, и все вокруг заливал яркий солнечный свет. Крыша кафедрального собора, покрытая свежей глазурью, сверкала. Это зрелище привело меня в восторг, и я подумал: «Мир прекрасен, и церковь прекрасна, и Бог, который создал все это, сидит далеко-далеко в голубом небе на золотом троне и...» Здесь мысли мои оборвались, и подступило удушье. Я оцепенел и помнил только одно: сейчас не думать! Надвигается что-то ужасное, то, о чем я не хочу думать, к чему не смею приблизиться. Но почему? Потому что совершу самый страшный грех. Что же это за самый страшный грех? Убийство? Нет, не может быть. Самый большой грех — это грех против Святого Духа, и нет ему прощения. Всякий, кто совершит его, проклят навечно. Это очень огорчит моих родителей: их единственный сын, к которому они так привязаны, обречен на вечное проклятие. Я не могу допустить, чтобы это произошло с моими родителями. Все, что мне нужно, — никогда больше не думать об этом.

Но сказать легко, а сделать? Всю дорогу домой я старался думать о самых разных вещах, но обнаружил, что мысли мои снова и снова возвращаются к прекрасному кафедральному собору, который я так любил, и к Богу, сидящему на троне, — дальше все обрывалось, словно от удара током. Я повторял про себя: «Только не думать об этом. Только не думать об этом!» Домой я пришел в смятенном состоянии. Мать, заметив мое смятение, спросила: «В чем дело? Что-нибудь случилось в школе?» Я не обманул ее, сказав, что в школе все в порядке. Я даже подумал, что, может, стоит признаться матери в подлинной причине своего смятения. Но для этого мне пришлось бы сделать невозможное: додумать свою мысль до конца. Бедная мать ни о чем не подозревала, она не могла знать, что я находился в смертельной близости греха, который не прощается, что я мог попасть в ад. Я решил не признаваться и постарался привлечь к себе как можно меньше внимания.

В ту ночь мне плохо спалось. Снова и снова неведомая и запретная мысль вривалась в мое сознание, и я отчаянно пытался отогнать ее. Следующие два дня были сущим мучением, и мать окончательно убедилась, что я болен. Но я, как мог, проти-



вился искушению признаться во всем, понимая, что признание заставит моих родителей сильно страдать.

Однако на третью ночь муки стали невыносимыми. Я проснулся как раз в тот момент, когда поймал себя на мысли о Боге и кафедральном соборе. Я уже почти продолжил эту мысль! Я чувствовал, что больше не в силах сопротивляться. Покрывшись испариной от страха, я сел в кровати, чтобы окончательно проснуться. «Вот оно, теперь это всерьез! *Я должен думать.* Это должно быть придумано прежде, чем... Но почему я должен думать о том, чего не знаю! Я не хочу этого, клянусь Богом, не хочу! Но кому-то это нужно? Кто-то хочет принудить меня думать о том, чего я не знаю и не хочу знать. Я подчинен какой-то страшной Воле. И почему выбрали именно меня? Я придумывал хвалы Творцу этого прекрасного мира, был благодарен Ему за этот ни с чем не сравнимый дар, но почему же я должен думать о чем-то непостижимо жестоком? Я не знаю, что это, действительно не знаю, потому что не могу и не должен подходить сколько-нибудь близко к этой мысли, иначе я рискую внезапно подумать об *этом*. Я этого не делал и не хотел, оно пришло, как дурной сон. Откуда берутся такие вещи? То, что случилось со мной, — не в моей власти. Почему? В конце концов, я не создавал себя, я пришел в этот мир по воле Бога, то есть был рожден своими родителями. Или, может быть, этого хотели мои родители? Но мои добрые родители никогда бы не помыслили ничего подобного. Это слишком жестоко!»

Последняя мысль даже показалась мне забавной. Я вспомнил про бабушку и дедушку, которых знал только по портретам. Они выглядели такими добродушными — я не мог представить себе, что они в чем-то виноваты. Затем я окинул взором длинный ряд своих неведомых предков и наконец добрался до Адама и Евы. И тут меня осенило: Адам и Ева были первыми людьми, у них не было родителей, они были созданы Самим Богом, и Он намеренно создал их такими, какими они стали. У них не было никакого другого выбора, кроме как быть такими, какими создал их Бог. Они вообще не знали, что можно быть кем-то другим. Они были безупречны, ведь Бог творит лишь совершенство, и все же они согрешили. Как такое стало возможно? Они не смогли бы сделать этого, если бы Бог не создал для них эту возможность. Очевидно, что Бог и змия сотворил в искушение им. Бог в Своем всеведении устроил все так, чтобы первые родители согрешили. *Итак, это Бог хотел, чтобы они согрешили.*

С моей души будто камень упал, теперь я знал, что происходящее со мною сейчас — происходит по Божьей воле. Но должен ли я совершить свой грех? Входит это в Его намерение или же нет? Мне больше не приходило в голову молить о просветлении, ведь Сам Бог придумал для меня эту безнадежную ситуацию, я не волен уйти и не могу рассчитывать на Его помощь. Я был уверен, что, по Его мнению, мне самому следует найти выход. И я продолжал свои размышления.

Чего Он хочет? Чтобы я действовал, или наоборот? Я должен выяснить, чего Бог требует от меня, и должен выяснить это сейчас. Разумеется, я понимал, что с точки зрения общепринятой морали следует избегать греха. До сих пор я этому и следовал, но теперь стал осознавать, что больше так не смогу. Мое душевное расстройство подсказывало мне, что, стараясь не думать, я запутываюсь все сильнее. Так продолжаться не могло. Но я не смогу поддаться искушению прежде, чем пойму, в чем состоит Божья воля, чего Он добивается от меня. Ведь я даже не был уверен, что именно Он поставил меня перед этой отчаянной проблемой. Примечательно, что я ни на минуту не допускал мысли о дьяволе. Дьявол играл такую незначительную роль в моем тогдашнем духовном мире, что в любом случае он представлялся мне бессильным в сравнении с Богом. Но с того момента, как мое новое «я» возникло словно из туманной дымки и я начал осознавать себя, мысль о единстве и сверхчеловеческом

величии Бога завладела моим воображением. Я не задавал себе вопроса, Сам ли Бог поставил меня перед решающим испытанием, все зависело лишь от того, правильно ли я пойму Его. Я знал, что в конце концов буду вынужден подчиниться, но страшился своего непонимания, оно ставило под угрозу спасение моей вечной души.

«Богу известно, что я не в силах больше сопротивляться, и Он не хочет помочь мне, хотя до смертного греха мне остается один шаг. В своем всеведении Он с легкостью устранил бы искушение, однако не делает этого. Должен ли я думать, что Он желает испытать мое послушание, поставив меня перед непостижимой задачей: выступить против собственной морали, против веры, и даже против Его собственной заповеди, чему я сопротивляюсь всеми силами, потому что боюсь вечного проклятия? Возможно ли, чтобы Бог хотел увидеть, способен ли я повиноваться Его воле даже тогда, когда моя вера и мой разум восстают при мысли о вечном проклятии? Похоже, что так и есть! Но, может, это всего лишь мое предположение, а я могу ошибаться. Я не смею до такой степени доверять моей собственной логике. Мне следует все продумать еще раз».

Но я снова ненова возвращался к одному и тому же: Богу угодно, чтобы я проявил мужество. Если это так, я сделаю это, тогда Он помирует меня и просветит.

Я собрал все свое мужество, как если бы вдруг решился немедленно прыгнуть в адское пекло, и дал мысли возможность появиться. Перед моим взором возник кафедральный собор и голубое небо. Высоко над миром, на своем золотом троне, сидит Бог — и из-под трона на сверкающую новую крышу собора падает кусок кала и пробивает ее. Все рушится, стены собора разламываются на куски.

Вот в чем дело! Я почувствовал несказанное облегчение. Вместо ожидаемого проклятия на меня снизошла благодать, а с нею невыразимое блаженство, которого я никогда не знал. Я плакал от счастья и благодарности. Мудрость и доброта Бога открылись мне сейчас, когда я подчинился Его неумолимой воле. Казалось, что я испытал просветление, понял многое, чего не понимал раньше, понял то, чего так и не понял мой отец, — волю Бога. Он сопротивлялся ей из лучших побуждений, из глубочайшей веры. Поэтому мой отец так никогда и не пережил чуда благодати, чуда, которое всех исцеляет и делает все понятным. Он принял библейские заповеди как путеводитель, он верил в Бога, как предписывала Библия и как его учил его отец. Но он не знал живого Бога, который возвышается, свободный и всемогущий, и над Библией и над Церковью, который призывает людей стать столь же свободными. Бог, ради исполнения Своей воли, может заставить отца отринуть все свои взгляды и убеждения. Испытывая человеческую храбрость, Бог заставляет отказываться от традиций, сколь бы священны они ни были. В своем всемогуществе Он позаботится, чтобы эти испытания не причинили настоящего зла. Если человек исполняет волю Бога, он может быть уверен, что выбрал правильный путь.

Бог создал Адама и Еву так, чтобы они помышляли о том, чего сами отнюдь не желали. Он поступил таким образом, чтобы узнать, послушны ли они. И точно так же Он мог потребовать от меня нечто, для меня традиционно неприемлемое. Именно послушание давало благодать, а после этого опыта я знал, что благодать Божья есть. Вы должны полностью подчиниться Богу, не заботясь ни о чем, кроме исполнения Его воли. В противном случае все лишено смысла. Именно тогда у меня возникло настоящее чувство ответственности. Мысль о том, что я должен думать о причинах осквернения Богом своего собора, была ужасна. И вместе с тем пришло еще неясное понимание того, что Бог способен быть чем-то ужасным. Это была страшная тайна, и чувство, что я владею ею, наложило тень на всю мою жизнь.

Этот опыт тоже заставил меня ощутить собственную неполноценность. «Я — дьявол или свинья, — размышлял я, — похоже, во мне есть какая-то червоточина». Но

потом, перечитав отцовский Новый Завет и с некоторым удовлетворением обнаружив там притчу о фарисее и мытаре, я понял, что лишь осужденные *будут* избраны. Новый Завет навсегда оставил меня в убеждении, что неверный управитель был хвалим и что Петр — колеблющийся — наименован камнем.

Чем сильнее было во мне чувство собственной неполноценности, тем более неопостижимой казалась мне Божественная благодать. В конце концов чувство неуверенности сделалось постоянным. Когда моя мать однажды сказала: «Ты всегда был хорошим мальчиком», я просто не в состоянии был понять это. Я хороший мальчик? Это невероятно! Я всегда казался себе существом порочным и неполноценным.

Вместе с мыслью о соборе у меня наконец появилось нечто реальное, составлявшее часть моей великой тайны, будто я всегда говорил о камнях, падающих с неба, и теперь держу в руке один из них. Но на самом деле это был опыт, которого я стыдился. Слово я был отмечен чем-то постыдным, чем-то зловещим, — и в то же время это был знак отличия. Время от времени у меня возникало сильное искушение заговорить об этом, но не прямо, а каким-то образом намекнуть, дескать, со мной произошла интересная вещь... Я просто хотел выяснить, происходит ли что-либо подобное с другими людьми. Самому мне не удавалось заметить ничего похожего. В конце концов у меня появилось чувство, что я не то отвержен, не то избран, не то проклят, не то благословлен.

Мне никогда не приходило в голову впрямую рассказать кому бы то ни было мой сон о фаллосе или про вырезанного из дерева человечка. Я молчал об этом, пока мне не исполнилось шестьдесят пять. О других опытах я, может быть, говорил жене, но уже в зрелом возрасте. Долгие годы детство оставалось для меня табуированной сферой, и я ни с кем не мог поделиться своими переживаниями.

Всю мою юность можно понять лишь в свете этой тайны. Из-за нее я был невыносимо одинок. Моим единственным значительным достижением (как я сейчас понимаю) было то, что я устоял против искушения поговорить об этом с кем-нибудь. Таким образом, мои отношения с миром были предопределены: сегодня я одинок как никогда, потому что знаю вещи, о которых никто не знает и не хочет знать.

В семье моей матери было шесть священников, священником был и мой отец, а также два его брата. Так что я наслушался различных богословских бесед, теологических дискуссий и проповедей. И всякий раз у меня возникало чувство: «Да, все верно. Но как же быть с тайной? Ведь это же таинство благодати! Никто из вас не знает об этом. Никто из вас не знает, что Бог хочет, чтобы я поступал дурно, что Он принуждает меня думать об отвратительных вещах для того, чтобы я испытал чудо Его благодати». Все, что говорили другие, было совсем не то. Я думал: «Богу должно быть угодно, чтобы кто-нибудь узнал об этом. Где-то должна быть правда». Я рылся в отцовской библиотеке, читая все, что смог найти о Боге, Троице и Духе. Я, что называется, глотал книги, но не становился умнее. Теперь я стал думать: «Вот и они тоже не знают». Я даже искал это в лютеровской Библии. Убогая морализация Книги Иова отвратила меня, а жаль, ведь я мог найти в ней то, что искал: «Хотя бы я омылся и снежною водою..., то и тогда Ты погрузишь меня в грязь...» (9, 30).

Позже мать рассказывала мне, что в те дни я часто пребывал в угнетенном состоянии. В действительности это было не совсем так, скорее я был поглощен своей тайной. Тогда я сидел на своем камне — это необыкновенно успокаивало и каким-то образом излечивало от всех сомнений. Стоило представить себя камнем, все становилось на свои места: «У камня нет проблем и нет желания рассказывать о них, он уже тысячи лет такой, какой есть, тогда как я лишь феномен, существо преходящее; охваченный чувством, я разгораюсь, как пламя, чтобы затем исчезнуть». Я был лишь суммой всех моих чувств, а Другой во мне был вне времени, был камнем.

## II.

Тогда же во мне поселилось глубокое сомнение в отношении всего, что говорил отец. Слушая его проповеди о чуде благодати, я всегда размышлял о моем опыте. Все, что он говорил, звучало банально и пусто, как история, рассказанная с чужих слов человеком, не вполне в нее верящим. Я желал бы ему помочь, но не знал как. Кроме того, я был слишком замкнут, чтобы делиться с отцом своим опытом или вмешиваться в его личные дела. Я ощущал себя, с одной стороны, слишком маленьким, с другой же — боялся собственной власти, меня мучила авторитарность моего второго «я».

Гораздо позже, уже восемнадцатилетним юношей, я часто спорил с отцом и всегда питал тайную надежду, что смогу рассказать ему о чуде благодати и таким образом помочь его совести. У меня была уверенность, что, если он выполнит Божью волю, так будет лучше. Но споры наши ничем не кончались. Они раздражали его и огорчали меня. «Вечно ты хочешь думать, — возмущался он, — а должно не думать, а верить». Я мысленно возражал ему: «Нет, должно знать и понимать». Однако вслух говорил: «Так дай мне эту веру». На что он пожимал плечами и в отчаянье отворачивался.

У меня появились друзья, в основном это были застенчивые, робкие ребята из простонародья. В школе я делал успехи и позже даже стал лучшим учеником. Но я заметил, что те, кто учился хуже, завидовали мне и пытались при любой возможности добиться таких же успехов. Это портило настроение. Я ненавидел всякого рода состязания, не играл в игры, где требовалось непременно победить, я предпочитал оставаться вторым. Школьные занятия были и без того достаточно утомительными. Впрочем, очень немногие учителя, которых я вспоминаю с благодарностью, находили во мне особые способности. Прежде всего это был учитель латинского языка — университетский профессор и мудрый человек. Так сложилось, что латынь я учил с шести лет, — отец занимался со мной, и вместо уроков этот учитель зачастую отправлял меня в университетскую библиотеку за учебниками. Я же выбирал самый длинный путь, оттягивая насколько возможно свое возвращение.

Но большинство учителей считали меня недалеким и способным устраивать всякие каверзы. Когда в школе что-нибудь случалось, подозревали, как правило, меня. Если где-то начиналась потасовка, меня считали подстрекателем. В действительности, я лишь один раз принимал участие в драке, когда мне стало ясно, что немало одноклассников относятся ко мне враждебно. Они напали на меня сзади, их было семеро. Тогда, в мои пятнадцать лет, я был крупным и сильным подростком, и у меня случались приступы внезапной ярости. Разозлившись, я схватил обеими руками одного из них и, вращая вокруг себя, сбил его ногами нескольких других. Учителя обо всем узнали, но я лишь смутно припоминаю какое-то наказание, казавшееся мне несправедливым. С того дня меня оставили в покое, никто больше не осмеливался затевать со мной драку.

Для меня было неожиданностью узнать, что у меня есть враги. Но это было вполне объяснимо. Выговоры, естественно, вызывали раздражение, но не казались несправедливыми. Знал я о себе мало, и это немногое было столь противоречиво, что я мог бы, наверное, признать за собой любую вину. И действительно, я всегда чувствовал себя виноватым, сознавая все свои явные и скрытые недостатки. В силу этого я был особенно чувствителен к порицаниям: все они в основном попадали в цель. Не совершая на самом деле того, в чем меня обвиняли, я знал, что мог бы это сделать. Я даже записывал свое алиби на случай, если меня в чем-либо заподозрят. Было куда легче, когда я действительно совершал дурные поступки. Тогда я по крайней мере знал, в чем моя вина.

Естественно, свою внутреннюю неуверенность я компенсировал внешней уверенностью, или — лучше сказать — недостаток компенсировал себя сам, без моей воли. Я казался себе виновным и невиновным одновременно. Ведь в глубине души я всегда знал, что во мне сосуществуют два человека. Один был сыном моих родителей, он ходил в школу и был глупее, ленивее, неряшливее многих. Другой, напротив, был взрослый — даже старый — скептический, недоверчивый. Удалившись от людей, он был близок природе, земле, солнцу, луне; ему ведомы были все живые существа, но более всего — ночная жизнь и сны. Иными словами, все, в чем находил он «живого Бога». Здесь я намеренно заключил слово «Бога» в кавычки, ведь природа, как и сам я, казалась отделившейся от Него, небожеской. Тем не менее она была создана Им и была проявлением Его. В голове моей не укладывалось, что выражение «по образу и подобию Божьему» должно быть применимо к человеку. Мне казалось, что горы, реки, озера, прекрасные деревья, цветы и звери с большим правом могут называться Божьими подобиями, нежели люди с их смехотворными одеждами, с их бестолковостью и тщеславием, лживостью и отвратительным эгоизмом — со всем тем, что я так хорошо узнал в себе, то есть в моем «номере 1», школьнике из 1890 года. Но существовал и другой мир, и он был как храм, где каждый забывает себя, с удивлением и восторгом постигая совершенство Божьего творения. В этом мире жил мой «другой», который знал Бога в себе, знал Его как тайну, хоть это была не только его тайна. Там, в этом мире, ничто не отделяло человека от Бога. Там все было так, будто дух человеческий был с Богом заодно и глядел вместе с Ним на все созданное.

То, что я здесь излагаю, тогда я не смог бы выразить вразумительно, хотя глубоко чувствовал. В такие минуты я знал, что достоин себя. Я был самым собою. Но лишь одиночество давало мне это чувство, и я искал покоя и уединения для своего «другого».

Эта игра, это противостояние двух ипостасей моей личности продолжалось всю жизнь, но оно не имеет ничего общего с тем, что медики называют патологическим распадом личности. Наоборот, это происходит со всеми людьми, и, прежде всего, в том, что касается религии, которая в моей «другой жизни» — внутренней жизни — играла первостепенную роль. «Другой» («номер 2») — типичная фигура, но осознается она очень немногими.

\* \* \*

Посещение церкви постепенно стало для меня невыносимым. Там громогласно, и я бы даже сказал — бесстыдно, вещали о Боге, о Его намерениях и поступках. Там людей громко убеждали иметь такие чувства и *верить* в такие тайны, которые, я знал, были внутренними и сокровенными и которые не следует выдавать ни единым словом. Я мог лишь заключить, что никто, даже священник, видимо, не знает тайны, иначе люди не осмелились бы открыто говорить о ней и профанировать глубокие чувства банальными сантиментами. Более того, я был уверен, что такой путь к Богу неправилен, поскольку твердо знал, знал по опыту, что благодать нисходит только на того, кто безоговорочно подчиняется Его воле. То же говорилось и с кафедры, но словами из совершенно непонятного мне Апокалипсиса. Мне казалось, что каждый человек должен ежедневно задумываться о смысле Божьей воли. Я этого не делал (мой «номер 1» отнимал у меня слишком много времени), но был уверен, что сделаю, как только возникнет настоящая необходимость. Мне казалось, что религиозные предписания зачастую заменяли собой Божью волю, которая могла проявляться столь неожиданно и пугающе, с единственной целью — избавить людей от необходимости понимания. Я становился все более скептическим, проповеди моего отца и других священников вызывали у меня чувство неловкости. Люди вокруг, казалось, принимают как должное этот темный жаргон, бездумно проглатывая все противоре-

чия, как то: Бог всеведущ и поэтому все предвидел, Он сам сотворил людей грешными, но тем не менее наказывает их за грехи вечным проклятием и адским пламенем.

Долгое время дьявол никак не присутствовал в моих размышлениях. Я считал его чем-то вроде злой собаки на хозяйском дворе. Никто, кроме Бога, не нес ответственности за этот мир, и Он, я знал это, был не только добр, но и страшен. Мне становилось как-то неуютно, когда я слышал прочувствованную проповедь отца о «добром» Боге, о любви Его к людям и людей к Нему. «Знает ли отец, о чем говорит?» — думал я, терзаясь сомнениями. «Может ли он убить меня, своего сына, принеся меня в жертву, как Авраам — Исаака, или принять крестные муки, как Иисус? Нет, он не способен на это». А это значит, что он не всегда осознавал волю Бога, подчас ужасную, как известно из самой Библии. Мне стало ясно, что слова о повинении Богу произносятся бездумно. Очевидно, Божья воля неизъяснима для людей, иначе они относились бы к ней благоговейно из одного лишь страха перед Его могуществом, которое может быть столь ужасным — я знал это. Мог ли кто-нибудь, претендующий на знание Божьей воли, предвидеть то, что Он заставил сделать меня? В Новом Завете, по крайней мере, нет ничего подобного. Ветхий Завет и Книга Иова могли бы открыть мне глаза, но я тогда знал их мало, равно как и не мог найти ничего полезного, готовясь к конфирмации. О страхе Божьем я, конечно, слышал, но лишь как о «пережитке иудаизма», давно отринутым христианским учением о Божьей любви и доброте.

Образы моих детских снов меня смущали. Я спрашивал себя: «Кто со мною говорит? Кто настолько бесстыден, что выставляет фаллос в храме? Кто заставляет меня думать о Боге, Который разрушает Свою церковь столь непристойным образом?» Возможно ли, чтобы это был дьявол? Я не сомневался, что здесь действовал Бог или дьявол. По крайней мере, я был совершенно уверен, что эти мысли и образы принадлежат не мне.

Таков был главный опыт моей жизни, и я осознал, что несу за него ответственность, что от меня зависит, как сложится в дальнейшем моя судьба. Я был поставлен перед проблемой, решить которую не мог. Кто поставил меня перед ней? — спросить было не у кого. Я был уверен лишь в одном — я сам должен найти ответ в глубинах своего сознания; я одинок перед лицом Бога; именно Он задает мне эти ужасные вопросы. С самого начала я ощущал свое предназначение, как если бы моя жизнь была определена мне судьбой и должна быть выполнена как задача. Это придавало мне внутреннюю уверенность. И, хотя я никогда не мог объяснить это, судьба моя не раз подтверждала справедливость моей убежденности. Мне не нужно было *иметь* эту уверенность, она *владела* мной, часто даже наперекор обстоятельствам. Никто не мог отнять у меня убеждение, что мне было предписано сделать то, что хочет Бог, а не то, что хочу я. Часто у меня появлялось чувство, что в каких-то значительных вещах я уже не среди людей, но наедине с Богом. И «там» я уже не был одинок, а находился вне времени, и Он, Который был всегда и будет всегда, в конце концов давал ответ. Эти разговоры с моим Другим были глубоким переживанием: с одной стороны, это была тяжелая борьба, с другой — высочайшее наслаждение.

Понятно, что об этом я ни с кем говорить не мог. Я не знал никого, кому можно было бы объяснить это, кроме, разве что, моей матери. Мне казалось, она думала, как я. Однако вскоре я заметил, что она уклонялась от разговоров со мной. Она восхищалась мною и только. Итак, я оставался один со своими мыслями. Признаться, мне это нравилось. Я играл один и один мечтал. У меня был мой собственный, только мне принадлежащий мир.

Мать я любил безмерно. От нее исходило живое тепло, с ней было уютно, она обо- жала поболтать, но и сама с готовностью выслушивала любого. У нее, очевидно, был литературный талант, вкус и глубина. Но эти ее качества не смогли развиваться долж- ным образом, они так и остались не востребованными, скрытыми за неброской внешностью полной, добродушной, пожилой женщины. Она очень любила угощать гостей и прекрасно сама готовила, она, наконец, была не лишена юмора. Взгляды ее были вполне традиционными для человека ее положения, однако ее бессознательное нередко обнаруживало себя, и тогда возникал образ мрачный и сильный, обладаю- щий абсолютной властью и как бы лишенный физического тела. Мне казалось, она состояла из двух половинок, одна безобидная и человечная, другая — темная и таин- ственная. Эта вторая обнаруживала себя лишь иногда, но всякий раз это было не- ожиданно и страшно. Тогда она говорила как бы сама с собой, но все ею сказанное проникало мне в душу и я совершенно терялся.

Когда это случилось впервые, мне, помнится, было лет шесть и я еще не ходил в школу. По соседству с нами жили весьма зажиточные люди. У них было трое детей — старший мальчик, примерно моего возраста, и две девочки помладше. По воскре- сеньям детей наряжали, как мне казалось, очень смешно — в лакированные туфли, крахмальные жабо и белые перчатки. Одежду детей чистили щеткой, а их самих тщательно причесывали даже в будни. Они были хорошо воспитаны и старались держаться на расстоянии от меня, грубого мальчика в рваных брюках, дырявых туфлях и с грязными руками. Мать бесконечно не давала мне покоя сравнениями и наставлениями: «Посмотри на этих милых детей, они так хорошо воспитаны, так вежливы, а ты ведешь себя как уличный мальчишка, ты невозможен». Я почувство- вал себя униженным и решил отколотить «милого мальчика», что и исполнил. Его мать пришла в бешенство, она прибежала к моей с криками и протестами. Моя мать была, конечно, напугана и прочитала мне приправленную слезами нотацию, более долгую и страстную, чем когда-либо раньше. Я не чувствовал никакой вины, наобо- рот, был вполне доволен собой. Мне казалось, что я в какой-то мере наказал этого чужака за вызывающее поведение. Однако волнение матери испугало меня. Раскаи- ваясь, что огорчил ее, я убежал к своему столику за клавирами и принялся иг- рать в кубики. Некоторое время в комнате было тихо. Мать, как обычно, сидела у окна и вязала. Потом я услышал, как она невнятно бормочет что-то, и из ее отры- вочных слов понял, что она думает о происшествии, но смотрит на него уже другими глазами. Вдруг она произнесла: «Но нельзя же так выставляться, в конце концов!» Я догадался, что она говорила о тех разодетых «обезьянках». Ее любимый брат был охотником, он держал собак и без конца говорил о щенках, полукровках, помете и т. д. С облегчением я понял, что мать считает этих ужасных детей «беспородными» и что ее выговор не следует принимать всерьез. Но я уже тогда понимал, что должен оставаться совершенно спокойным, не показывать свой триумф и говорить: «Вот видишь, ты же сама так считаешь!» Она пришла бы в негодование: «Ужасный мальчишка, как ты смеешь говорить такое о своей матери!» Отсюда можно заклю- чить, что нечто подобное случалось и раньше, просто я не помню.

Я рассказываю эту историю потому, что в тот период, когда развивался мой скеп- сис, произошел случай, проливший свет на двойственную природу моей матери. Од- нажды за столом заговорили о скучных мелодиях некоторых духовных гимнов. Речь шла о возможной их ревизии. И вдруг мать пробормотала: «O du Liebe meiner Liebe, du *verwunschte* Seligkeit» («О любовь моей любви, ты проклятое блаженство...» — *нем.*)\* Как и раньше, я притворился, что не расслышал, стараясь не выдать свое ли- кование.

---

\* Речь идет об оговоре: *verwunschte* (проклятое) и *verwunschte* (вожделенное).

Двойственная природа матери была одной из главных причин моих ночных кошмаров. Днем ласковая, по ночам она казалась странной и таинственной, являясь мне страшным всевидящим существом — полузверем, жрицей из медвежьей пещеры, беспощадной как правда и как природа. В такие минуты она была воплощением того, что я называю «natural mind».

Я знаю, во мне тоже есть нечто от этой древней природы, и это позволяет, что не всегда приятно, видеть людей и вещи такими, какие они есть. Я могу дать себя обмануть, если не желаю знать истинного положения вещей, но в глубине души я его вполне себе представляю. Это чувство сродни инстинкту или архаическому механизму *партиципации* — мистического соединения с другими. Это как внутреннее зрение, когда каждый акт видения беспристрастен.

Понял я это гораздо позже, после разного рода странных происшествий. Так, однажды я рассказал историю жизни незнакомого мне человека. Это было на свадьбе друга моей жены. Ни невесту, ни кого-либо из ее семьи я не знал. За столом я сидел напротив бородатого мужчины средних лет, которого мне представили как адвоката, мы оживленно беседовали о криминальной психологии. Чтобы ответить на конкретный вопрос, я в качестве примера привел придуманную историю. Вдруг мой собеседник изменился в лице, а за столом воцарилась тишина. Я растерянно замолчал. Слава Богу, подали десерт, так что вскоре я поднялся и вышел в холл, где, забившись в угол с сигарой, попытался осмыслить случившееся. В эту минуту ко мне подошел один из соседей по столу и с укором сказал: «Как вы могли так дискредитировать человека?» — «Дискредитировать?! Чем же?» — «Ну, та история, которую вы рассказали...» — «Но я ее просто выдумал — от начала и до конца!»

Каково же было мое изумление, когда выяснилось, что я во всех подробностях рассказал правдивую историю моего визави. И в этот момент я с ужасом обнаружил, что не могу вспомнить ни единого слова из нее — и по сей день это мне не удалось. Один из немецких психологов в своей автобиографии описывает аналогичный случай: однажды на постоялом дворе он уличил в краже неизвестного ему молодого человека, поскольку увидел это своим внутренним зрением.

Я могу привести массу случаев из своей жизни, когда мне вдруг становилось известно то, чего я никоим образом знать не мог. Это знание приходило ко мне как моя собственная идея. С моей матерью бывало то же самое. Она не понимала, что говорит, но в ее голосе появлялась некая абсолютная авторитарность, и произносила она именно то, чего требовала данная ситуация.

Мать считала меня не по возрасту разумным и, как правило, общалась со мной как со взрослым, делилась тем, чего не могла сказать отцу, делая меня, ребенка, своим поверенным. Мне было лет одиннадцать, когда я узнал от нее об одном деле, связанном с отцом и сильно меня встревожившем. Я долго ломал голову и наконец решил, что должен посоветоваться с одним из друзей отца — тот, как считалось, был влиятельным человеком. Не сказав матери ни слова, я отправился после школы в город. Был полдень, когда я позвонил в дверь этого человека, но служанка, сказала, что его нет дома. Разочарованный, я вернулся домой. Теперь же мне понятно, что это было *providentia specialis* (некое провидение. — *лат.*). Несколько позже мать снова вспомнила об этом деле. На этот раз все выглядело совершенно иначе — оно не стоило и выеденного яйца. Почувствовав себя глубоко уязвленным, я подумал: «Каким же нужно было быть ослом, чтобы принять это всерьез, я ведь чуть было не сделал бед!» С тех пор все, что говорила мне мать, я делил надвое, потеряв к ней доверие. Меня больше никогда не тянуло рассказать ей о том, что всерьез занимало мои мысли.



Но иногда, в те моменты, когда проявлялось ее второе «я», она говорила настолько *to the point* (в точку. — *англ.*), что меня бросало в дрожь. В такие минуты мать была бесподобным собеседником.

С отцом все было по-другому. Мне часто хотелось поделиться с ним религиозными сомнениями и попросить у него совета, но я не делал этого: мне казалось (я даже знал это наверняка), что он ответит лишь так, как велит ему долг. Насколько я был прав в своем предположении, выяснилось позже. Отец лично готовил меня к конфирмации, что утомляло меня смертельно. Листая катехизис и надеясь найти там что-нибудь, кроме смутных, скучных и сентиментальных измышлений о «Her'e Jesus'e», я однажды наткнулся на главу о Троице. Там обнаружилось нечто меня волновавшее: единство, которое одновременно являлось тройственностью. Этот парадокс не давал мне покоя, и я с нетерпением ожидал момента, когда мы дойдем до этого места. Но когда наконец дошли, отец сказал: «Далее говорится о Троице, но мы это пропустим, потому что я сам здесь ничего не понимаю». Восхищаясь его честностью, я тем не менее был глубоко разочарован и сказал себе: «Вот так. Они ничего не знают и даже думать не хотят. Как же я могу поделиться с ними моей тайной?»

Я осторожно попытался сблизиться с некоторыми одноклассниками, казавшимися мне склонными к размышлениям, но тщетно — в ответ никакого отклика, одно лишь недоумение, что, в конечном счете, оттолкнуло меня.

Несмотря на очевидную скуку, я честно старался достичь слепой веры без понимания — такое отношение, на мой взгляд, соответствовало отцовскому, и готовился к причастию — последней моей надежде. Это, думал я, всего лишь традиционное причащение, своего рода ежегодное прославление Господа нашего Иисуса Христа, который умер 1890 — 30 = 1860 лет назад. Но ведь он же сказал когда-то: «Примите, ядите: сие есть тело мое» (Мф. 26, 26), чтобы мы ели хлеб причастия так, будто это его тело, изначально бывшее человеческой плотью. Точно так же мы должны пить вино, которое было его кровью. Мне стало ясно, что таким образом мы должны были принять его в себя. Это выглядело настолько абсурдным и невозможным, что я уверился в существовании великой тайны, скрытой за всем этим, и в своей причастности к ней. Это и было причащением, которому мой отец придавал такое большое значение.

По обычаю моим крестным отцом стал член церковного комитета. Этот симпатичный молчаливый пожилой человек был каретником, и я часто бывал в его мастерской. Он явился к нам в церковном облачении и цилиндре, придававшем ему торжественный, праздничный вид, и повел меня в церковь, где мой отец стоял позади алтаря и читал молитву из литургии. На алтарной столешнице лежали большие подносы с маленькими кусочками хлеба. Я знал, что хлеб испечен нашим пекарем, а выпечка редко ему удавалась, (как правило, она была безвкусной). Из оловянного кувшина налили в оловянную чашу вино. Мой отец съел кусочек хлеба, отпил глоток вина — я знал ресторанчик, где его брали, — и передал чашу одному из старейшин. Все были напряжены и, похоже, безучастны. Я с волнением ждал чего-то особенного, но все было так же, как и на других церковных службах — крещении, похоронах и т. д. Мне показалось, что все здесь происходило по раз и навсегда установленному образцу: мой отец более всего был озабочен тем, чтобы завершить церемонию согласно правилам, и в эти правила входило произнесение некоторых слов с особым ударением. Но почему-то он ничего не сказал о том, что Иисус умер 1863 года назад, в то время как во всех других поминальных службах эта дата особо выделялась. Я не видел ни печали, ни радости, чувствуя, что праздник оказался недостойн личности, которой он посвящался. Служба не шла ни в какое сравнение со светскими юбилейными торжествами.

Как-то незаметно подошла моя очередь. Я съел хлеб, — как и ожидалось, он был невкусным, вино, я лишь пригубил его, — слабым и кислым, явно не из лучших. Потом прозвучала заключительная молитва; люди уходили — на их лицах не было ни огорчения, ни просветления, и лишь читалось: «Ну вот и все».

Я шел домой с отцом, все время думая, что на мне черная фетровая шляпа и новый черный костюм, похожий на тот, какие носят пасторы. Это был странный удлиненный пиджак, заканчивающийся внизу двумя крылышками, с обеих сторон, между ними находились шлицы с карманами, куда можно было засунуть носовой платок — небрежным жестом, как это делают взрослые мужчины. Внезапно я ощутил свой новый социальный статус: меня приняли в мужское братство. Обед в тот день тоже был необыкновенно хорош. Еще я мог гулять в своем новом костюме. И все же я чувствовал опустошенность и ничего больше.

Спустя какое-то время я понял, что ничего не изменилось. Вот я уже на вершине религиозных таинств, жду непонятно чего, и... ничего не происходит. Я знал, что Бог может поступить со мной удивительнейшим образом — может испепелить и может наполнить все вокруг неземным светом. Но в той церемонии не было и следа Бога. Правда, все говорили о Нем, но то были не более чем слова. Ни в ком другом я не обнаружил и доли того безграничного отчаяния, того предельного напряжения всех сил и той чудесной благодати наконец, которые для меня составляли сущность Бога. Я не заметил ничего похожего на «communio» — никакого слияния, никакого единения... Единения с кем? С Иисусом? Но он был всего лишь человеком, умершим 1860 лет назад. Почему кто-то должен «сливаться» с ним? Его называли «Сыном Божиим» — следовательно, он был полубогом вроде античных героев; каким же образом обычный человек может «слиться» с ним? Это называлось «христианская религия», но она не имела ничего общего с тем Богом, Которого я знал. С другой стороны, было совершенно ясно, что Иисус — человек, знавший Бога. Он испытал отчаяние и крестные муки и учил любить Бога как доброго Отца. Должно быть, и ему был ведом страшный облик Бога. Это я был в состоянии понять, но какова была цель этой несчастной поминальной службы с этим хлебом и этим вином? Мало-помалу я пришел к пониманию, что причащение было роковым для меня: оно опустошило меня, более того, я будто что-то утратил. В этой религии я больше не находил Бога, я знал, что уже никогда не смогу принимать участие в этой церемонии и никогда не пойду в Церковь — там все мертво, там нет жизни.

Меня охватила жалость к отцу, я понял весь трагизм его профессии и его жизни: он боролся со смертью, существование которой не признавал. Между ним и мной открылась бездонная пропасть, и не было надежды когда-либо преодолеть ее. Я не смог бы причинить боль моему доброму отцу, всегда такому терпимому ко мне, не мог заставить его войти в кощунство, необходимое для постижения благодати. Только Бог мог потребовать такое, но не я — это было бы бесчеловечно. Бог не подвержен человеческим слабостям, думал я, Он и добр и зол, Он являет смертельную опасность, и каждый, естественно, старается каким-то образом спастись. Люди недалекоvidно цепляются за Его любовь и благодать из страха перед Его искушениями и Его разрушительным гневом. Иисус тоже заметил это и потому просил: «И не введи нас в искушение» (Мф. 6, 13).

Таким образом, я порвал с церковью и с человеческим миром, такими, какими их знал. Я — как мне казалось — потерпел величайшее поражение в жизни. Религиозные убеждения — моя единственная осмысленная связь с миром — утратили для меня смысл: я уже не мог разделять со всеми общую веру, но оказался причастным к чему-то невыразимому, к «тайне» внутри меня. Это было ужасно. И что всего невыносимее — это было грубо и бессмысленно. Какая-то дьявольская шутка.

«Как человек должен представлять себе Бога?» — размышлял я. Разве в моих силах придумать разрушение Богом собора или тот детский сон о подземном храме? Это навязала мне чья-то могущественная воля. Может, за это ответственна природа? Но природа — не что иное, как воля Создателя. Обвинить дьявола? Тоже невозможно — и он творение Бога. Значит только Бог действительно существует — только Он способен испелить и подарить невыразимое блаженство.

А как же причастие? Может, все дело в моей собственной несостоятельности? Но я готовился к нему со всей серьезностью, надеясь пережить просветление, сподобиться чуда благодати, — и ничего не произошло. Бога не было при этом. Бог пожелал отворотить меня от церкви и от веры моего отца. Я оказался отрезанным от всех людей, потому что они верили не так, как я. Знание это омрачило мою жизнь, и так продолжалось вплоть до поступления в университет.

### III.

Я искал книги, которые рассказали бы мне о Боге все, что было известно о Нем другим людям, начав со скромной библиотеки моего отца (тогда она казалась мне вполне достаточной). Сначала мне попадались вполне традиционные сочинения. Я не находил ни одного автора, который бы мыслил независимо, пока не наткнулся на «Христианскую догматику» Бидермана 1869 года. От него я узнал, что религия — «работа духа», «самоопределение человека в отношениях с Богом». С этим мне было трудно согласиться, поскольку я понимал религию как нечто такое, что Бог совершает со мною — это была *Ego* работа, Он сильнейшая сторона, а я лишь подчиняюсь. Моя «религия» не осознавала связи человека с Богом, ибо как может человек быть связанным с Тем, Кого так мало знает? Мне следует прежде узнать Его.

У Бидермана в главе «О сущности Бога» я прочел, что Бог — это «существо, которое надо представлять себе по аналогии с человеческим «я», но это «я» — единственное в своем роде, совершенное, вселенское».

Насколько я понял, данное определение не противоречило Библии. Богу свойственна индивидуальность и сознание Себя как вселенной, подобно тому как мое «я» является духовным и физическим существом. Но здесь таилось серьезное препятствие. Индивидуальность, размышлял я, со всей очевидностью предполагает характер; характер же — то, что отличает вас от других (вы являетесь одним и не являетесь другим); иными словами, он подразумевает некоторые определенные качества. Но если Бог — все, то как может Он иметь характер, отличный от других? Если у Него есть характер, Его «Я» субъективно и ограничено. И, наконец, какого рода этот характер? Вот главный вопрос — и если вы не знаете ответа, вы не в состоянии определить свое отношение к Нему.

Воображая Бога по аналогии с собой, я ощущал сильное внутреннее сопротивление. Такая аналогия представлялась мне если не богохульством, то, по крайней мере, непомерной самонадеянностью. Да и с моим собственным «я» все было далеко не просто. В первую очередь, я сознавал свою двойственность и противоречивость. В обоих проявлениях мое «я» было крайне ограниченным, легко впадало в самообман и зависело от настроений, эмоций и страстей. Оно знало куда больше поражений, чем побед, ему свойственны были инфантильность, эгоистичность, упрямство, оно требовало к себе любви и жалости, было несправедливым и слишком чувствительным, ленивым и безответственным и т. д. Ему недоставало многих достоинств и талантов, которые я находил у других и которыми восхищался не без зависти. Как же оно мог-

ло явиться той аналогией, которая даст мне возможность представить себе природу Бога?

Я усердно искал другие характеристики Бога, но обнаружил лишь нечто вроде списка, подобного тому, который я когда-то составил перед конфирмацией. Я обнаружил, что согласно пар. 172 «наиболее непосредственно отражает неземную природу Бога:

- 1) negativ: Его невидимость для людей и т. д., а также
- 2) positiv: Его пребывание на небесах и т. д.»

Это был провал: передо мной тотчас возникло богохульное видение, которое Бог прямо или непрямо (через дьявола) навязал моей воле.

Из пар. 183 я вычитал, что «Божественная сущность» противна светской морали, Его «справедливость» не просто «беспристрастна», но является «проявлением Его Божественной сущности». Я рассчитывал найти здесь хоть что-нибудь о темных сторонах Бога, которые причинили мне столько беспокойства, — о Его мстительности, Его ужасающей ярости, о необъяснимом отношении к созданиям, рожденным Его всемогуществом. Ему ведома их слабость, но Он доставляет Себе удовольствие, сбивая их с пути или, по меньшей мере, подвергая испытаниям, хотя результат этих экспериментов Ему заранее известен. Каков же характер Бога? Что мы подумали бы о человеке, который ведет себя подобным образом? Продолжить эту мысль у меня не хватило духа. Далее я прочитал, что Бог, «хотя Ему было достаточно Самого Себя», сотворил мир для собственного «удовлетворения», что, «творя мир физический, Он наполнил его Своею красотой, творя мир духовный, Он пожелал наполнить его Своею любовью».

Сначала я долго раздумывал над непонятным словом «удовлетворение». Удовлетворение чем или кем? Очевидно, миром, ведь Он посмотрел на плоды труда Своего и нашел, что это хорошо. Но именно этого я никогда не понимал. Да, мир прекрасен безгранично, но он и не менее страшен. В маленькой деревушке, вдали от городской жизни, где живет горстка людей и ничего не происходит, «старость, болезнь и смерть» предстают перед глазами во всех своих мельчайших подробностях, более очевидных, чем где бы то ни было еще. Мне еще не было шестнадцати лет, но я уже много знал об истинной жизни людей и животных; в церкви и в школе достаточно слышался о страданиях и порочности мира. Бог мог, разумеется, находить «удовлетворение» в раю, но ведь Он Сам старательно позаботился о том, чтобы это блаженство было не слишком долгим, поместив там ядовитого змия — самого дьявола. Находил ли Он в этом удовлетворение? Я был убежден, что Бидерман так не думал, — он просто излагал свои мысли в свойственной богословам легковесной и бездумной манере, даже не сознавая их абсурдности и бессмыслицы. Я и предположить не мог, что Бог находит мрачное удовлетворение в незаслуженных страданиях человека и животных, не мог помыслить, что Он намеревался сотворить мир из одних противоречий, чтобы одно создание пожирало другое и всяк рождался, чтобы умереть. «Божественная гармония» естественных законов казалась мне хаосом, умеряемым робкими усилиями людей, и «вечный» небесный свод со звездами, движения которых предопределены, выглядел как набор случайных тел, беспорядочный и бессмысленный, со всеми этими созвездиями, о которых все говорят и которых никто не видел. Ведь очертания их совершенно произвольны.

Я глубоко сомневался, в том, что естественный мир преисполнен Божественной красоты. На мой взгляд, это являлось очередным утверждением, которое следовало без раздумий просто принимать на веру. В самом деле, если Бог являет Собой высшую красоту, почему же мир, Его творение, столь несовершенен, столь порочен, столь жалок? Вероятно, эта путаница была делом рук дьявола, думал я. Но и дьявол

— ведь тоже создание Бога. И тогда я стал читать о дьяволе — это казалось очень важным. Я снова обратился к моим догматикам, пытаюсь найти ответы на мучившие меня вопросы о причинах страданий, несовершенства и зла. Ответов не было; я закрыл книгу. В ней не нашлось ничего, кроме красивых и пустых слов, и, что гораздо хуже, за всей этой глупостью стояла единственная цель — скрыть правду. Я был не просто разочарован, я был возмущен!

Но где-то и когда-то существовали же люди, которые, как и я, стремились доискаться правды, которые мыслили разумно, не желая обманывать себя и других, не закрывая глаза на горькую реальность. И тогда моя мать (вернее, ее «номер 2») вдруг сказала: «Ты как-нибудь должен прочесть «Фауста» Гёте». У нас имелось превосходно изданное собрание сочинений Гёте, и я нашел там «Фауста» — на мои раны будто пролили бальзам. «Вот наконец-то человек, — думал я, — который принял дьявола всерьез, который заключил кровавый договор с тем, кто своей властью расстроил совершенный Божественный замысел». Я не одобрял Фауста, на мой взгляд, ему не следовало быть столь забывчивым и легковверным. Он должен был проявить большую рассудительность и большую нравственность. Какая непростительная инфантильность — так легкомысленно проиграть свою душу! Фауст оказался откровенным пустозвоном. У меня сложилось впечатление, что центр драмы и ее смысл главным образом были связаны с Мефистофелем. Я не слишком огорчился бы, отправься душа Фауста в ад. Он этого заслуживал. Но сюжет об «обманутом дьяволе» в конце меня просто возмутил — Мефистофель был кем угодно, но только не простаком, и странно, чтобы его провели глупцы. Мефистофель казался мне обманутым совсем в другом смысле: он не получил обещанного потому, что Фауст, этот ветреный и бесхарактерный тип, попал на небеса со своими непомерными претензиями. Думаю, там его ребячество обнаружилось в первый же день; по-моему, он вовсе не заслуживал посвящения в великие тайны, его стоило прежде испытать очистительным огнем. Но главным действующим лицом был для меня не он, а Мефистофель, я смутно чувствовал его связь с тем, чего не понимал в матери. В любом случае Мефистофель и заключительное Посвящение навсегда остались в моем сознании как прикосновение к чему-то таинственному и чудесному.

Наконец я уверился в том, что были и есть люди, которые смотрели в лицо злу, видели его власть, более того — его тайную роль в избавлении человека от мрака и страданий. В этом смысле моим пророком и стал Гёте. Но простить ему то, как он отделался от Мефистофеля, я не мог — каким-то трюком, каким-то *tour de passe-passe* (фокусом. — *фр.*), так легкомысленно, так по-богословски. Это было слишком безответственно, и я досадовал, что Гёте тоже оказался из тех обманщиков, кто с помощью словесных ухищрений пытается представить зло безвредным.

Для себя я сделал вывод, что Фауст был философом, хотя и не слишком глубоким, и что, несмотря на отход от философии, он, очевидно, успел приобрести некую восприимчивость к истине. До этого я практически ничего не слышал о философии, и теперь у меня появилась новая надежда. Может быть, рассуждал я, есть философы, которые пытались разрешить те же вопросы и которые помогут мне.

В библиотеке отца философов не нашлось — все они были на плохом счету, поскольку пытались думать; мне пришлось довольствоваться «Универсальным философским словарем» Круга (2-е изд. 1832 г.). Я отыскал статью о Боге. Она начиналась с этимологии слова «Бог», которое — и это представлялось неоспоримым — происходит от слова «благо» и означает нечто высшее и совершенное. Существование Бога недоказуемо, говорилось далее, но может быть Доказана имманентность идеи Бога. Таковая присуща человеку изначально, если не в видимых проявлениях, то, во всяком случае, скрыто. И наши «интеллектуальные силы» должны были

«развиться до определенной степени», прежде чем смогли породить столь возвышенную идею.

Объяснение буквально поразило меня. «Да что такое с этими философами?» — спрашивал я себя. Очень похоже, что они судят о Боге с чужих слов. С теологами иначе: те по крайней мере уверены, что Бог есть, хотя и высказываются о Нем самым противоречивым образом. Но и Круг выражался столь завуалированно лишь затем, чтобы скрыть настоящую убежденность в существовании Бога. Почему не сказать об этом прямо? Зачем он притворяется, будто и в самом деле думает, что мы «порождаем» идею Бога и, чтобы сделать это, должны достичь определенного Уровня развития? Такие идеи, насколько я знал, есть даже у нагих дикарей в джунглях. А ведь они не философы, они не собираются специально для того, чтобы «породить идею Бога». Я тоже никогда не «породил» никакой «идеи Бога». Разумеется, существование Бога не может быть доказано, — как, скажем, моль, поедающая австралийскую шерсть, докажет другой моли, что Австралия существует? Существование Бога не зависит от наших доказательств. Как пришел я к этому определению? На сей счет мне довелось услышать массу объяснений, но я ничему не мог верить, ничто не убеждало меня. В действительности, это никоим образом не было моей идеей. Это не выглядело так, как если бы сначала я воображал что-то, потом это что-то обдумывал и затем наконец верил в это. Так, например, история о Христе всегда казалась мне подозрительной. По-настоящему я никогда в нее не верил, хотя мысли об Иисусе внушались мне с куда большей настойчивостью, чем мысли о Боге. Почему же я стал воспринимать Бога как нечто само собой разумеющееся? Почему философы стараются внушить другим, будто Бог — это «идея», своего рода произвольное допущение, которое можно «породить» или «не породить», — когда совершенно ясно, что Он существует так же реально, как кирпич, что падает вам на голову?

Неожиданно мне открылось, что Бог — это одно из наиболее существенных и непосредственных переживаний, по крайней мере для меня. Не мог же я выдумать той страшной истории с собором. Напротив, она была мне навязана, и чья-то жестокая воля принудила меня думать об этом. Но зато потом на меня снизошло невыразимое ощущение благодати.

Я сделал вывод, что эти философы изначально опирались на шаткую основу — на странное представление о Боге как о своего рода гипотезе, которую можно обсуждать. Мне казалось в высшей степени неудовлетворительным то, что философы не нашли никакого объяснения разрушительным действиям Бога. А именно такие действия, на мой взгляд, заслуживали особого внимания философии, поскольку теология с этим явно не справлялась. И как же я был разочарован, когда сообразил, что философы, похоже, об этом даже не подозревали.

Я перешел к следующей интересующей меня статье — о дьяволе. Если, читал я, допустить, что дьявол изначально зол, мы впадем в явное противоречие, то есть в дуализм. Поэтому нам следует предположить, что он первоначально создан добрым, но позже был развращен своей гордыней. Однако, как отмечал автор статьи — и я был доволен, что он это заметил, — данная гипотеза предполагает, что главное зло, которое она пытается объяснить, — собственно гордыня. В остальном, по его мнению, происхождение зла «неясно и необъяснимо». Для меня это означало, он, как и теологи, не желает думать о зле. Статья о зле и его происхождении выглядела столь же бесполезной.

\* \* \*

Здесь я попытался связно изложить идеи и мысли, занимавшие меня, пусть и с перерывами, в течение нескольких лет. Это были проявления моего скрытого второго «я», моего «номера 2». Я пользовался отцовской библиотекой тайно, без разреше-

ния. Между тем мое первое «я» открыто читало Герштейкера и переводные английские романы. Я увлекся немецкой литературой, в первую очередь классической, от которой школа еще не успела отвратить меня своими скучными многословными комментариями. Читал тогда я много и беспорядочно, читал сочинения лирические и драматические, исторические и естественнонаучные. Увлечение это было не только приятным и полезным — оно давало мне своеобразную разрядку. Но увлечения моего второго «я» все глубже и глубже погружали меня в депрессию. Не находя ответов на свои вопросы, я окончательно разочаровался. Окружающие, казалось, интересовались совсем другими вещами, я был совершенно одинок с моими исканиями. Больше всего на свете мне хотелось поговорить с кем-нибудь, но я не мог найти точек соприкосновения, обнаруживая лишь отчужденность, недоверие, некий страх, что в конце концов лишало меня желания общаться. Это угнетало еще сильнее. Я не знал, как это понимать: почему никто не переживает ничего подобного? Почему об этом нет книг? Неужели я единственный, кому это пришло в голову? Но мысль, что я мог сойти с ума, меня никогда не посещала, поэтому светлая и темная стороны Бога казались мне вещами, которым, несмотря на душевное сопротивление, я должен был найти объяснение сам.

Я ощущал свое вынужденное «отличие», и оно пугало меня (означая не что иное как изоляцию) и приводило к очевидной несправедливости: меня делали козлом отпущения куда чаще, чем я мог это вынести. На уроках немецкого я выглядел весьма посредственно: ни грамматика, ни синтаксис совершенно меня не интересовали. Я скучал и ленился. Темы сочинений казались мне как правило, пустыми и глупыми, а собственные работы — беспредметными и вымученными. Оценки я получал средние, что вполне устраивало: я старался не выделяться, не подчеркивать свое проклятое «отличие». Меня тянуло к мальчикам из бедных семей, которые, как и я, вышли из ничтожества, но многие из них были тупыми и невежественными, а это уже раздражало. Притягивало же меня то, что эти одноклассники в своей простоте не замечали во мне ничего особенного. А я из-за своего «отличия» уже начал бояться сам себя: мне казалось, что есть во мне нечто такое, чего я сам в себе не знаю, из-за чего меня не любят учителя и избегают товарищи.

Тогда же произошла история, которая меня доканала. Мы наконец получили тему для сочинения, которая показалась мне интересной. Я писал добросовестно и с увлечением и, как мне казалось, мог рассчитывать на успех — получить один из высших баллов, не самый высший, конечно, это бы меня выделило, но близкий к нему.

Наш учитель имел обыкновение начинать обсуждение сочинений с лучших. Сначала он прочел сочинение первого ученика, это было в порядке вещей. Затем последовали другие, а я все ждал и ждал, когда же прозвучит мое имя. Меня не называли. «Этого не может быть, — думал я, — неужели мое сочинение настолько плохое, ведь он уже перешел к откровенно слабым работам. В чем же дело?» Или я снова оказался «вне конкурса» и обнаружил свое проклятое «отличие»?

В конце концов, когда все сочинения были прочитаны, учитель сделал паузу и произнес: «У меня есть еще одно сочинение — Юнга. Оно намного превосходит другие, и я должен был бы отдать ему первое место. Но, к сожалению, это обман. Откуда ты списал его? Скажи начистоту!»

В ужасе и негодовании я вскочил с криком: «Я не списал ни единого слова! Я же потратил столько сил, я старался написать хорошее сочинение». Но учитель был неумолим: «Ты лжешь. Ты не мог написать такое сочинение. Это маловероятно. Итак — откуда ты его списал?»

Напрасно я клялся в невиновности, учитель стоял на своем. «Значит, так, — сказал он, — если я найду, откуда ты его списал, тебя исключат из школы». И отвернул-

ся. Мои одноклассники бросали на меня странные взгляды, и я с ужасом понял, что они думают: «Ах, вот оно что». И снова передо мной оказалась глухая стена.

Теперь на мне было клеймо — клеймо моего проклятого «отличия». Униженный и опозоренный, я клятвенно пообещал отомстить учителю, и, если бы такая возможность вдруг появилась, я рассчитался бы с ним по закону джунглей. Но как мог я доказать всему свету, что не списывал сочинение?

Я днями размышлял над этой историей и снова приходил к выводу, что ничего нельзя было поделывать, что волею слепой и глупой судьбы я оказался лжецом и обманщиком. Теперь до меня стало доходить многое, чего я не понимал раньше, например, почему один из учителей сказал моему отцу, когда тот пришел поинтересоваться моей учебной работой: «Ну, он, конечно, средний ученик, но работает с похвальным усердием». То, что я числился в «недалеких» и «поверхностных», сказать по правде, меня это не задевало. Меня убивало то, что они считали меня способным на ложь.

Я уже не в силах был сдерживать горечь и негодование. И тут случилось то, что я замечал в себе и прежде: в сознании воцарилась внезапная тьма, будто захлопнулась глухая дверь, отгородив меня от всех. И я спросил себя с холодным любопытством: «Что, собственно, произошло? Ну да, ты возмущен. Учитель, бесспорно, глупец, он ничего не понимает, он не понимает тебя, но ведь и ты понимаешь не больше. Он сомневается в тебе точно так же, как ты сам. Ты не веришь в себя и в других и тянешься к тем, кто прост, наивен и виден насквозь. Что это — возмущение человека, который чего-то не понимает?»

Подобные мысли *sine ira et studio* (без гнева и пристрастия. — *лат.*) удивительным образом напоминали цепочку тех других моих рассуждений, которые я считал для себя запретными. Тогда я не видел различия между «я» первым и «я» вторым, кроме того, что мир второго «я» был только моим. И все же меня никогда не покидало чувство, что в том втором мире было замешано что-то еще помимо меня. Будто дыхание огромных миров и бескрайних пространств коснулось меня, будто невидимый дух витал в моей комнате — дух кого-то, кого давно нет, но кто будет всегда, кто существует вне времени. В этом было нечто потустороннее.

В то время у меня, безусловно, не было таких слов, но мое описание вовсе не относится к моему теперешнему состоянию. Я лишь пытаюсь объяснить те прошлые ощущения и осветить сумеречный мир своего детства с помощью того, что мне известно сейчас.

Через несколько месяцев после того случая мои школьные товарищи прозвали меня «отцом Авраамом». Мой «номер 1» не мог понять почему и возмущался, считая это смешным и глупым. Но в глубине души я сознавал, что имя было точным, и болезненно воспринимал все эти намеки на мое подсознание. Чем больше я читал и чем ближе знакомился с городской жизнью, тем сильнее чувствовал, что та реальность, которую пытаюсь постичь, подразумевает совсем иной порядок вещей, нежели тот маленький мир, в котором я вырос, с его реками и лесами, людьми и животными, с маленькой деревней, что купалась в солнечных лучах, с ветрами и облаками, с темными ночами, когда происходят странные вещи. Это была не просто точка на карте, а «Божий мир», полный тайного смысла. Но люди ничего о нем не знали, и даже животные почему-то утратили этот смысл. Я отыскивал это неведение в печальном, потерянном взгляде коров, в безнадежных глазах лошадей, в преданности собак, которые так отчаянно цеплялись за место возле человека, даже в поведении самоуверенно гуляющих котов, которые жили в амбарах и там же охотились. Люди, думалось мне, походили на животных и, казалось, так же не осознавали себя. Они смотрели на землю и на деревья лишь затем, чтобы увидеть, можно ли это использовать и для чего. Как и животные, они сбивались в стадо, спаривались и боролись



между собой, жили в этом Божьем мире и не видели его, не осознавая, что он един и вечен, что все в нем уже родилось и все уже умерло.

Я любил всех теплокровных животных, потому что они похожи на людей и разделяют наше незнание. Я любил их за то, что у них была душа, и, мне казалось, они все понимали. Им, как и нам, считал я, доступны печаль и радость, ненависть и любовь, голод и жажда, страх и вера, просто они не умеют говорить, не могут осознавать и неспособны к наукам. И хотя меня, как и других, восхищали успехи в развитии наук, я видел, что знание усиливает отчуждение человека от Божьего мира, способствует вырождению, тому, чего в животном мире нет и быть не может. К животным я испытывал любовь и доверие, в них было некое постоянство, которого я не находил в людях.

Насекомых я считал «ненастоящими» животными, а позвоночные для меня являлись лишь какой-то промежуточной стадией на пути к насекомым. Создания, относившиеся к этой категории, предназначались для наблюдения и коллекционирования, они были интересны в своем роде, но не имели человеческих свойств, а были всего-навсего проявлением безличной жизни и стояли ближе к растениям, нежели к человеческим существам.

Растения находились у самого основания Божьего мира, — вы словно заглядывали через плечо Создателя, когда Он, думая, что Его никто не видит, мастерил игрушки и украшения. Тогда как человек и «настоящие» животные, будучи независимыми частицами Божества, могли жить, где хотят, — растения (хорошо это или плохо), были привязаны к месту. Они выражали не только красоту, но и идею Бога, не имели своих целей и не отклонялись от заданных. Особенно таинственными, полными непостижимого смысла казались мне деревья, поэтому лес был тем местом, где я сильнее всего ощущал страх и трепет Божьего мира, его глубокое значение и благо всего, в нем происходящего.

Это ощущение усилилось после того, как я увидел готический собор. Но там безграничность космоса и хаоса, весь смысл и вся непостижимость сущего, все безличное и механическое было воплощено в камне, одухотворенном и исполненном тайны. Именно так я чувствовал свое родство с камнем, ведь Божество присутствует и в мертвом, и в живом.

Как я уже говорил, не в моих силах было сформулировать все эти интуитивные ощущения — они относились к сфере моего второго «я», тогда как мое деятельное и осмысленное начало пребывало вне времени, превращаясь в «старца». Я ощущал его в себе и ощущал его влияние, но, странным образом, не задумывался об этом. Когда «старец» присутствовал, мой «номер 1» как бы исчезал, и, наоборот, когда на сцену выходил «номер 1», «старец» превращался в далекую и нереальную мечту.

Когда мне исполнилось шестнадцать лет, этот туман стал медленно рассеиваться. Приступы депрессии становились все слабее, и все более отчетливо начало проступать мое первое «я». Школа и городская жизнь поглощали все мое время, и знания об окружающем мире, которых становилось все больше, прорываясь в мир интуитивных опасений, подавляли их. Я сознательно наметил себе круг вопросов, которыми систематически занимался. Прочитав краткое введение в историю философии, я получил некоторое представление обо всем, что уже было передумано разными философами до меня. Мне было приятно узнать, что во многих интуитивных ощущениях я имел исторических предшественников. Ближе других оказались мне греки, особенно Пифагор, Гераклит, Эмпедокл и Платон (хотя его «Диалоги» показались чересчур растянутыми). Они были столь же прекрасны и академичны, как те запомнившиеся мне фигуры в античной галерее, но и столь же далеки. Впервые я почувствовал дыхание жизни у Мейстера Экхарта, но так и не понял его. Я остался равно-

душен к средневековой схоластике, и аристотелевский интеллектуализм святого Фомы показался мне безжизненным, как пустыня. «Все они, — рассуждал я, — хотят воспроизвести нечто при помощи логических кунштюков — нечто такое, чего изначально в них самих нет, чего они не чувствуют и о чем в действительности не имеют ни малейшего представления. Они хотят умозрительно доказать себе существование веры, тогда как на самом деле она может явиться лишь через опыт». Они походили на людей, которые понаслышке знали, что слоны существуют, но сами никогда не видели ни одного, пытаясь с помощью умозаключений доказать, что согласно логике такие животные должны существовать, как оно и есть на самом деле. По понятным причинам скептицизм XVIII века не был мне близок. Гегель напугал меня своим языком, вымученным и претенциозным. Я не испытывал к нему никакого доверия, он показался мне человеком, который заключен в тюрьму из собственных слов и который с важным видом прохаживается по камере.

Главной удачей моих исследований стал Шопенгауэр. Он был первым, кто рассказал мне о настоящих страданиях мира, о путанице мыслей, страстях и зле — обо всем том, чего другие почти не замечали, пытаясь представить либо как всеобщую гармонию, либо как нечто само собой разумеющееся. Наконец я нашел философа, у которого хватило смелости увидеть, что не все было к лучшему в самих основаниях мира. Он не рассуждал о совершенном благе, о мудром провидении, о космической гармонии, он прямо сказал, что все беды человеческой истории и жестокость природы происходят от слепоты творящей мир Воли. И я видел подтверждение этому еще в детстве — больных и умирающих рыб, чесоточных лис, замерзших и погибших от голода птиц, т.е. те жестокие трагедии, которые скрываются под цветущим покровом луга: земляных червей, заеденных муравьями, насекомых, разрывающих друг друга на куски, и т. д. Мой опыт наблюдения над людьми тоже научил меня чему угодно, только не вере в изначально присущие человеку доброту и нравственность. Я достаточно хорошо узнал себя и видел, что я лишь в какой-то степени, условно говоря, отличаюсь от животных.

Мрачную шопенгауэровскую картину мира я принимал, но с предлагаемым им решением проблемы не мог согласиться. Я был убежден, что под Волей философ в действительности имеет в виду Бога, Создателя, и утверждает, будто Бог слеп. По опыту мне было известно, что Бог не обижался на подобное богохульство, а напротив, мог даже поощрять его, как поощряет Он не только светлые, но дурные и темные стороны человеческой природы, поэтому суровый приговор Шопенгауэра я принял спокойно. Но крайне разочаровала меня его мысль о том, что интеллекту достаточно превратить слепую Волю в некий образ, чтобы заставить ее повернуть вспять. Возможно ли это, если она слепа? Почему она должна непременно повернуть вспять? И что такое интеллект? Он — функция человеческого духа, не все зеркало, а лишь его осколок, который ребенок подставляет солнцу в надежде ослепить его. Для меня было загадкой, почему Шопенгауэр довольствовался такой слабой идеей, это выглядело абсолютно неправдоподобным.

Я детально занялся Шопенгауэром и остановился на его полемике с Кантом, обратившись к работам последнего, и в первую очередь к его «Критике чистого разума». Это стоило мне значительного серьезного напряжения, но в конце концов мои усилия оказались не напрасными, потому что я открыл, как мне казалось, фундаментальный просчет в системе Шопенгауэра. Он совершил смертный грех, переводя в некий реальный план категорию метафизическую, чистый ноумен, «вещь в себе». Я понял это благодаря кантовской теории познания, которая просветила меня гораздо более, нежели «пессимистическое» мироощущение Шопенгауэра.

Мои философские занятия продолжались с семнадцати лет вплоть до того времени, когда я всерьез занялся изучением медицины. Они в корне изменили мой взгляд на жизнь и мое отношение к миру. Прежде я был робким, стеснительным и недоверчивым. Теперь же я знал, чего хочу, и стремился к этому. Я стал общительнее, проще сходилась с людьми и понял, что бедность — не порок и далеко не главная причина страданий, что дети богатых на самом деле не обладают никакими преимуществами и что для счастья и несчастья нужны более весомые основания, чем размер суммы карманных денег. У меня появилось больше друзей, и друзей хороших. Я чувствовал твердую почву под ногами и даже нашел смелость открыто говорить о своих идеях, о чем, впрочем мне пришлось очень скоро пожалеть. Я столкнулся не только с отчуждением и насмешками, но и с откровенным неприятием, с изумлением обнаружив, что некоторые люди считают меня хвастуном и позером. Опять всплыло, хоть и в более мягкой форме, давнишнее обвинение в нечестности. Поводом снова послужило сочинение, тема которого показалась мне интересной. Я писал очень старательно, на этот раз особенно изощряясь в стиле. Результат был ошеломляющим. «Вот работа Юнга, — сказал учитель, — в ней видна одаренность, но она сделана поспешно и так небрежно, что легко заметить, как мало усилий потрачено на нее. Вот что я тебе скажу, Юнг, ты ничего не добьешься в жизни с таким поверхностным отношением к делу. Жизнь требует серьезности и прилежания, работы и усилий. Посмотри на работу Д. Ему недостает твоего блеска, но он честен, прилежен и трудолюбив. А именно это и нужно для успеха в жизни».

На этот раз я был не столь уязвлен — все же учитель, *contre coeur* (против желания. — *фр.*), отдал мне должное — по крайней мере, не обвинил меня в обмане. Я пытался протестовать, но он отделался замечанием: «Аристотель утверждает, что лучшая поэма — та, в которой не видны затраченные на нее усилия. Но к твоему сочинению это не относится, можешь оправдываться как угодно, но оно написано поспешно и без какого-либо усердия». Я знал, что в моей работе было несколько хороших мыслей, но учитель предпочел их не заметить.

Едва ли мне было обидно, но что-то изменилось в отношении ко мне школьных товарищей — я опять оказался в изоляции и ощутил прежнюю подавленность. Я ломал голову, пытаясь понять, в чем причина их косых взглядов, пока, наконец, задав несколько осторожных вопросов, не выяснил, что все дело в моих амбициях, зачастую безосновательных. Так, я давал понять, что знаю нечто о Канте и Шопенгауэре или, например, о палеонтологии, чего у нас в школе еще «не проходили». Теперь стало понятно, что причина их недовольства кроется не в обыденности, но в моем тайном «Божьем мире», о котором лучше упоминать не следовало.

С того времени я перестал посвящать одноклассников в свою «эзотерику», а среди взрослых у меня не было знакомых, с которыми я мог бы поговорить, не рискуя показаться хвастуном и обманщиком. Самым болезненным оказался крах моих попыток преодолеть внутренний разрыв, мою пресловутую «раздвоенность». Снова и снова происходили события, уводившие меня от обыденного, повседневного существования в безграничный «Божий мир».

Выражение «Божий мир» может показаться сентиментальным, но для меня оно имеет совершенно иной смысл. «Божий мир» — это все «сверхчеловеческое»: ослепляющий свет, мрак бездны, холод вечности и таинственная игра иррационального мира случайности. «Бог» для меня мог быть чем угодно, только не «проповедью».

## IV.

Чем старше я становился, тем чаще родители и знакомые спрашивали меня: чего же я, собственно, хочу? Но этого я сам не знал. Меня интересовали самые разнообразные вещи. В естественных науках меня привлекло прежде всего то, что здесь истина была доказана и доказана опытным путем. Но одновременно с этим меня увлекало все, я живо интересовался всем, что относилось к истории религии. В первом случае мои интересы были сосредоточены главным образом на зоологии, палеонтологии и геологии, во втором же — на греко-римской, египетской и доисторической археологии. Тогда я еще не понимал, насколько этот выбор соответствовал природе моей внутренней двойственности. В естественных науках для меня важны были конкретные факты и их историческая подоплека, в богословии — философская и духовная проблематика. В науке мне недоставало смысла, а в религии — фактов. Наука в большей степени служила нуждам первого «я», занятия историей и богословием — «я» второму.

Это противоборство двух «я» долгое время не позволяло мне определиться. Мой дядя — глава семьи матери, был пастором церкви святого Альбано в Базеле (в семье его прозвали «Ледяной человек»), ненавязчиво поощрял мой интерес к теологии. Он не мог не заметить, с каким вниманием я прислушивался к беседам за столом, когда он обсуждал религиозные проблемы с кем-нибудь из своих сыновей (все они были теологами). Я сомневался, знают ли теологи, близкие к вершинам университетской науки, больше, чем мой отец. Из этих бесед я не вынес впечатления, что их рассуждения имеют какое-то отношение к реальному опыту, особенно — к моему собственному. Они спорили, исключительно «школьным образом», о сюжетах из библейской истории, и меня несколько смущали многочисленные упоминания о едва ли достоверных чудесах.

Учась в гимназии, я каждый четверг обедал в доме дяди и был признателен ему не только за обед, но и за единственную возможность слушать иногда взрослые, умные беседы. Это было чрезвычайно полезно для меня, поскольку в моем кругу ничего подобного слышать не приходилось. Когда я пытался серьезно поговорить с отцом, то встречал лишь настороженность и испуг. Лишь через несколько лет я понял, что мой бедный отец не смел думать, потому что его мучили внутренние сомнения. Он боялся сам себя и потому так настаивал на слепой вере. Он хотел «отвоевать ее в борьбе», прилагая невероятные усилия, чтобы прийти к ней, и именно потому он не смог воспринять благодати.

Мой же дядя и мои кузены обсуждали догматы отцов церкви и взгляды современных теологов совершенно спокойно. Там, где все для них было самоочевидным, они, похоже, чувствовали себя в полной безопасности, но имя Ницше, например, вообще не упоминалось, а Якоб Буркхардт мог рассчитывать разве что на снисходительную похвалу. Буркхардт был «либералом», «чересчур свободомыслящим», и я понял, что он не вписывается в этот вечный и очевидный порядок вещей. Мой дядя, по всей видимости, даже не подозревал, как далек я был от теологии, и мне было очень жаль его разочаровывать. Если бы я не осмелился прийти к нему со своими проблемами, дело неминуемо обернулось бы катастрофой. Я ничего не сумел бы сказать в свою защиту. Зато мой «номер 1» вполне благоденствовал, и мои скудные на тот момент знания были насквозь пропитаны тогдашним научным материализмом. Меня лишь несколько «тормозили» исторические свидетельства и кантовская «Критика чистого разума», которую в моем окружении никто, очевидно, не понимал. Хотя мой дядя с похвалой отзывался о Канте, кантовские принципы использовались им для дискредитации враждебных ему взглядов, но никогда не применялись к его собственным.

Об этом я тоже ничего не говорил и потому чувствовал себя за одним столом с дядей и его семьей все более неловко.

Учитывая мой комплекс вины, можно понять, что эти четверги стали для меня «черными». В мире социальной и духовной стабильности моих родственников мне делалось все неудобней, хотя я и нуждался в этих редких моментах интеллектуального общения. Я чувствовал себя несчастным и стыдился этого. Я вынужден был признаться себе: да, ты обманщик, ты лжешь людям, которые желают тебе добра. Они не виноваты в том, что живут в своем надежном мире, ничего не зная о бедности, что их религия — это их профессия. Им не приходит в голову, что Бог может вырвать человека из этого «надежного» и упорядоченного мира и приговорить его к богохульству. Я не сумел бы объяснить им это. Посему я мог винить во всем только себя и должен был научиться выносить это. Но последнее, к сожалению, мне не слишком-то удавалось.

По мере нарастания внутреннего конфликта мое второе «я» казалось мне все более сомнительным и неприятным, в чем я был вынужден себе признаться. Я пытался подавить его, но безуспешно. В школе, среди друзей или на занятиях, я мог забыть о нем. Но едва лишь я оставался один, рядом со мной возникали Шопенгауэр и Кант, а с ними все великолепие «Божьего мира». Мои научные знания становились частью этого мира, насыщая его все новыми красками и образами. «Номер 1» и его заботы о выборе профессии превращались в ничтожный эпизод последнего десятилетия XIX века, уплывали за горизонт. Но, рано или поздно, я возвращался назад и впадал в состояние, сходное с похмельем. Я, или, вернее, мой «номер 1», жил здесь и сейчас и, в конце концов, ему придется как-то определяться.

Обеспокоенный моим увлечением богословием отец несколько раз пытался вести со мной серьезные разговоры, предостерегая меня: «Можешь становиться кем угодно, только не богословом!» К тому времени между нами существовало молчаливое соглашение: некоторые вещи позволялось говорить и делать, не объясняя. Отец никогда не выговаривал мне за то, что я не посещал церковь так часто, как следовало бы, и перестал ходить к причастию — так мне было легче. Я скучал по органу и хоралям, но менее всего сожалел о потере так называемой «церковной общины». Это словосочетание ровным счетом ничего для меня не значило. Люди, которые ходили в церковь, ни в коей мере не были общиной, они были мирскими существами. Последнее вряд ли можно отнести к добродетелям, но в этом качестве они казались мне куда симпатичнее — естественные, общительные и сердечные.

Отец мог не волноваться — у меня не было ни малейшего желания податься в богословы. Но я по-прежнему колебался в выборе между естественными и гуманитарными науками — и те и другие одинаково влекли меня. Тем не менее я начал осознавать, что мой «номер 2» не имеет почвы под ногами. Он, безусловно, способен подняться над «здесь» и «сейчас», он — один из глаз в тысячеглазой вселенной, но он неподвижен, как булыжник на мостовой. «Номер 1» восстал против этой пассивности, желая делать что-то, но находился в плену неразрешимых проблем. Мне оставалось лишь ждать, что из этого получится. Если кто-нибудь спрашивал, кем я хочу быть, я по привычке отвечал: филологом. Втайне я подразумевал под этим ассирийскую и египетскую археологию. На самом же деле все свободное время я отдавал естественным наукам и философии, особенно на каникулах, которые я проводил дома с матерью и сестрой. Давно прошли те времена, когда я жаловался матери: «Мне скучно, я не знаю, чем заняться». Теперь я полюбил каникулы — я один и свободен. Больше того, летом моего отца вообще не было дома, он всегда проводил свой отпуск в Захсельне.

Лишь однажды на каникулах я тоже отправился в путешествие. Мне было четырнадцать лет, и, по совету врачей, меня послали лечиться в Энтлебух, в надежде, что мое здоровье укрепится, а аппетит улучшится. Здесь я впервые оказался один среди незнакомых взрослых людей. Меня поселили в доме католического священника, что я воспринял как чуточку опасное увлекательное приключение. Но самого священника я видел редко и мельком, а его домоправитель оказался совсем не страшным, хотя часто бывал грубоват. Итак, ничего ужасного не произошло. За мной приглядывал старый деревенский врач, под чьим присмотром находился своего рода санаторий для выздоравливающих. Здесь собралась весьма разношерстная публика: фермеры, мелкие чиновники, торговцы и несколько образованных людей из Базеля, среди которых был ученый-химик. Мне он казался небожителем, поскольку имел докторскую степень. Мой отец тоже был доктором, но в лингвистике. Химик же был для меня человеком из другого, неведомого мне мира, одним из тех кто, может быть, понимал секреты камней. Этот еще молодой человек учил меня играть в крокет, но не передал мне ничего из своих (предположительно обширных) знаний. Я же из-за своей чрезмерной пугливости, неуклюжести и невежественности не мог расспросить его как следует. Он внушал мне почтение, будучи первым живым человеком из когда-либо встреченных мной, посвященным в тайны природы (по крайней мере в некоторые из них). Он сидел со мной за одним столом, ел то же, что и я, иногда мы обменивались несколькими словами. Я чувствовал себя вознесенным в некие высокие сферы взрослой жизни, но окончательно «посвященным» ощутил себя лишь тогда, когда мне позволили наравне со всеми принимать участие в пикниках для отдыхающих. В один из таких вечеров мы посетили винокуренный завод, где нам предложили отведать его продукцию, причем в буквальном соответствии с известными строками:

*Nun aber naht sich das Malor  
Denn dies Getranke ist Likor...\**

Я после нескольких рюмок пришел в такой экстаз, что вдруг ощутил себя в совершенно новом и неожиданном для себя состоянии. Не было больше разделения на внешнее и внутреннее, не было больше «я» и «они», «номер 1» и «номер 2» больше не существовали. Настороженность и стеснительность исчезли, земля и небо, вселенная и все, что в ней ползает, летает, вращается, падает и взлетает, — все слилось воедино. Я был неприлично, чудесно и восхитительно пьян. Я словно погрузился в океан блаженных грез, но из-за сильной качки вынужден был взглядом, руками и ногами цепляться за все твердые предметы, чтобы сохранить равновесие перед качающимися лицами на качающихся улицах среди покачивающихся домов и деревьев. «Превосходно, — радовался я, — только, кажется, немного чересчур». Опыт закончился печально горьким похмельем. Тем не менее я чувствовал, что мне открылись смысл и красота, вот только я сам все безнадежно испортил своей глупостью.

К концу моего пребывания в Этленбухе приехал отец, и мы отправились к озеру Люцерн, где — о счастье! — сели на пароход. Мне никогда в жизни еще не доводилось видеть что-либо подобное. Я стоял, не сводя глаз с работающей паровой машины, когда вдруг сообщили, что мы уже прибыли в Витцнау. Над городом высилась большая гора, отец объяснил мне, что это Риги и что на вершину ее можно подняться на специальном поезде. Мы подошли к маленькому зданию станции, возле которого стоял самый удивительный локомотив в мире, с каким-то «неправильным» паровым котлом, расположенным не вертикально, а под необычным углом. Даже сидения в вагонах были наклоненными. Отец вложил мне в руку билет и сказал: «Ты

---

\* Сейчас, однако, произойдет конфуз, поскольку данный напиток — это ликер... (нем.)

можешь ехать на вершину один. Я останусь здесь, для нас двоих это слишком дорого. Будь осторожен и не свались где-нибудь».

От счастья я не мог произнести ни слова. Я находился у подножья величественной горы, самой высокой из всех виденных мною, совсем близко от тех пылающих горных вершин, о которых мечтал много лет назад. Теперь я уже почти мужчина. Для этого путешествия я приобрел бамбуковую трость и английскую жокейскую кепку — как положено настоящему путешественнику, — и сейчас поднимусь на эту гору. В этот момент я не мог разобраться, кто же больше — я или гора. Выпустив густые кольца дыма, чудесный локомотив дрогнул и, постукивая, повлек меня к головокружительным вершинам. Все новые и новые пропасти и дали открывались перед мною, пока наконец мы не остановились наверху, где воздух был необыкновенно прозрачен, а вид сказочно прекрасен. «Да, — думалось мне, — это и есть настоящий, тайный мир, в котором нет ни школ, ни учителей, ни неразрешимых вопросов, — в нем просто нет вопросов». Я ходил по тропинкам осторожно, чтобы не сорваться с какого-нибудь из многочисленных обрывов. Все вокруг было преисполнено величавой торжественности, и я чувствовал, что здесь должно быть почтительным и молчаливым — в этом *Божьем мире*. Эта поездка была самым лучшим и ценным подарком из всего, что когда-либо дарил мне отец.

Впечатление было столь сильным, что затмило в моей памяти последующие годы. Но и «номер 1» тоже получил свое во время этого путешествия: его впечатления сохранились у меня на всю жизнь. Я и сейчас все еще вижу себя такого взрослого и независимого, в жестком черном кепи с тросточкой. Я сижу на террасе одного из роскошных отелей, у озера Люцерн или в прекрасных садах Витцнау, пью утренний кофе с круассанами за маленьким, застланным белоснежной скатертью столом под полосатым навесом, сквозь который просвечивает солнце, — я обдумываю, чем бы заполнить этот длинный летний день. После кофе я обычно спокойно и неторопливо шел к пароходу, который отвозил меня к подножию тех самых гор с пылающими ледниковыми вершинами.

Многие десятилетия этот образ вставал у меня перед глазами, когда я уставал от работы и пытался немного рассеяться. В реальной жизни я обещал себе это великолепие снова и снова, но не смог сдержать обещания.

\* \* \*

После этого первого сознательного путешествия последовало второе, год или два спустя. Отец отдыхал в Захсельне, и я навестил его; он рассказал, что подружился там с католическим священником. Это показалось мне исключительно мужественным поступком, и втайне я восхищался храбростью отца. Тогда же я побывал во Флюэ, в убежище св. брата Клауса, где находились его мощи. Меня очень интересовало, откуда католики узнали, что он был святым. Может быть, он все еще бродил где-то поблизости и сообщил об этом людям? *Genius loci* (дух места. — *лат.*) подействовал на меня так сильно, что я смог не только представить саму возможность жизни, столь беззаветно посвященной Богу, но даже, не без внутреннего содрогания, понять ее. Однако у меня возник еще один вопрос: как жена и дети могли терпеть такого святого мужа и отца, ведь именно слабости моего отца были источником моей любви к нему? Ответа у меня не было. «Да, — рассуждал я мысленно, — кому под силу жить со святым? Наверное, он сам понял, что это невозможно, и потому стал отшельником. Однако келья его находилась недалеко от дома, — эта мысль показалась мне удачной. Очень разумно в одном доме иметь семью, а жить на некотором расстоянии в хижине, с грудой книг и письменным столом. Я жарил бы каштаны и готовил на очаге суп, поставив его на треножник. Как святой отшельник, я мог бы больше не ходить в церковь, зато имел бы свою личную часовню.

В задумчивости я поднялся на холм и уже собирался возвращаться, когда слева появилась тоненькая девичья фигурка, в местном наряде. Эта была девушка, приблизительно моего возраста, с миловидным лицом и голубыми глазами. Мы вместе спустились в долину — так, будто это было для меня самым обычным делом. Прежде я не знал никаких других девушек, кроме моих кузин, и смущался, не зная, как с ней говорить. Запинаясь, я начал объяснять, что приехал сюда на несколько дней отдохнуть, что учусь в гимназии в Базеле и хочу потом поступить в университет. Когда я говорил, мною овладело странное чувство «предопределенности» этой встречи. «Она появилась именно в этот момент, — думал я про себя, — и идет со мной так естественно, как будто мы принадлежим друг другу». Взглянув в ее сторону, я увидел на ее лице смесь испуга и восхищения и смутился. Неужели это судьба? Или наша встреча — простая случайность? Крестьянская девушка — возможно ли это? Она католичка, но, может быть, посещает того самого духовника, с которым подружился мой отец? Она понятия не имеет, кто я, и мы, конечно, не сможем беседовать с ней о Шопенгауэре и отрицании Воли. Но ведь в ней нет ничего зловещего. Может быть, ее духовник не похож на того иезуита — моего «черного человека». И все же я не мог открыть ей, что мой отец — лютеранский пастор, это могло ее испугать или смутить. А говорить с ней о философии или дьяволе, который значит гораздо больше, чем Фауст, хотя Гёте и сделал из него простака, — было совершенно невозможно. Она ведь еще обитает в уже далекой от меня счастливой стране неведения, тогда как я уже познал реальность, во всей ее жестокости и великолепии. По силам ли ей такое вынести! Между нами стояла непроницаемая стена.

Несколько огорченный я направил беседу в менее опасное русло: идет ли она в Захсельн, согласна ли, что погода чудесная и пейзаж прекрасен и т. д.

На первый взгляд эта случайная встреча не могла иметь никакого значения, но внутренний смысл ее был таков, что я размышлял о ней много дней, и она навсегда осталась в моей памяти. В то время я был еще в том детском состоянии, когда жизнь состоит из отдельных, разобщенных впечатлений. Как мог я угадать нити судьбы, связавшие брата Клауса и хорошенькую девушку?

\* \* \*

Все это время меня раздирали противоречивые мысли. Во-первых, Шопенгауэр и христианство никак не складывались в единое целое, во-вторых, мой «номер 1» желал освободиться от тягостной меланхолии «номера 2», тогда как «второму» бывало тяжело вспоминать о «первом». Из этого противоборства и возникла моя первая систематическая фантазия. Она развивалась постепенно, и у истоков ее, насколько я помню, стояло впечатление, глубоко меня взволновавшее.

Однажды северо-западный ветер поднял на Рейне волны. Я шел в школу вдоль реки и внезапно увидел приближающийся с севера корабль, нижний парус его главной мачты развевался по ветру. Это было нечто совершенно новое для меня — парусный корабль на Рейне! Мое воображение расправило крылья. Если бы не было этой бурной реки, а весь Эльзас превратился в озеро, у нас были бы парусники и большие пароходы. Базель стал бы портовым городом, и вся наша жизнь походила бы на жизнь у моря. Тогда все выглядело бы иначе — наша жизнь проходила бы в другом времени и другом мире, где нет гимназии, нет долгого пути в школу. Себя в этом мире я видел уже взрослым, самостоятельным человеком. Над озером поднимался бы скалистый холм, соединенный с берегом узким перешейком, который пересекал бы широкий канал с деревянным мостом, ведущим к воротам с башнями по бокам. За воротами открывался бы маленький средневековый город с домами, разбросанными на склонах холма. На скале возвышался бы хорошо укрепленный замок с высокой сторожевой башней — это мой дом. Он не блистал роскошью — этот не-



большой дом с маленькими, обшитыми деревом комнатами, с библиотекой, где любой мог найти все, что стоит знать. В замке хранилась коллекция оружия, а на бастionaх стояли тяжелые пушки: его охранял гарнизон из пятидесяти тяжеловооруженных воинов. В маленьком городе жили несколько сотен жителей, им управляли мэр и совет старейшин. Сам я был мировым судьей, посредником и советником и появлялся лишь время от времени, чтобы собрать суд. В порту, расположенном с материковой стороны, стояла моя двухмачтовая шхуна с несколькими пушками на борту.

*Nervus rerum* и *raison d'être* (сутью и смыслом. — *лат., фр.*) всего творения был секрет главной башни, известный мне одному. Последняя мысль показалась мне удивительной: я представил себе тянущийся от зубчатых стен в подземелье тяжелый медный кабель из проволоки, толщиной в человеческую руку, наверху разветвленный, как крона дерева, или — еще лучше — как главный корень, перевернутый кверху и развернувшийся в воздухе. Он втягивал нечто непостижимое, нечто, идущее по медному кабелю в подземелье. Там у меня была установлена необыкновенная аппаратура, оборудована своего рода лаборатория, где я добывал золото из таинственной субстанции, которую медные «щупальца» вытягивали из воздуха. Это была тайна, о природе которой я не имел и не хотел иметь никакого представления, да и сам процесс превращения был мне совершенно безразличен. Смущено и не без некоторого страха мое воображение обходило все, что происходило в этой лаборатории. Существовал своего рода внутренний запрет: считалось, что к этому нельзя проявлять слишком пристальное внимание и нельзя спрашивать, что же, собственно, извлекалось из воздуха. Как сказано у Гёте о Матерях: «Предмет глубок, я трудностью стеснен...».

«Дух» безусловно понимался мной как нечто неизъяснимое, но в глубине души я не считал, что он существенно отличается от воздуха. То, что корни поглощали и передавали по медному стволу, было некоторой эссенцией, превращающейся внизу, в подвале, в золотые слитки. Я считал это не каким-то хитроумным трюком, а тайной самой природы. К ней я относился с благоговением и должен был скрывать ее не только от совета старейшин, но в определенном смысле и от самого себя.

Долгая и утомительная дорога в школу и из школы чудесным образом сократилась. Теперь, выходя из нее, я сразу же оказывался в замке, где постоянно что-то перестраивалось, где проходили заседания совета, судили злодеев, разрешали споры, где стреляли пушки. На шхуне драили палубу, поднимали паруса. Она медленно, подгоняемая слабым бризом, выходила из гавани, огибая скалистый холм, и брала курс на северо-запад. Затем я неожиданно обнаруживал себя на крыльце своего дома — так, будто прошло только несколько минут. Я выходил из моих фантазий словно из кареты, которая мгновенно доставляла меня домой. Это в высшей степени приятное состояние длилось несколько месяцев, но в конце концов надоело. Теперь моя фантазия казалась смешной и глупой: я стал строить замки и вовсе не воображаемые крепости из камешков, используя грязь вместо извести (наподобие крепости Хенингена, в то время еще не разрушенной). Я изучил все доступные мне фортификационные планы Вобана и всю техническую терминологию. После Вобана я обратился к современным методам создания укреплений и пытался при ограниченных средствах выстроить всевозможные модели. Более двух лет это занимало весь мой досуг, за это время моя склонность к естественным наукам и конкретным вещам значительно укрепилась за счет ослабления позиций «номера 2».

Пока мне так мало известно о реальных вещах, нет смысла, решил я, о них задумываться. Одно дело — фантазии, и совсем другое — настоящие знания. Родители позволили мне выписать научный журнал, и я читал его с увлечением. Я отыскивал

и собирал юрские окаменелости, различные минералы, а кроме того — насекомых, кости людей и мамонтов: первые — из общей могилы под Хенингеном (1811), вторые — на раскопках в рейнской долине. Растения меня тоже интересовали, но с научной точки зрения. Я был убежден — не знаю, почему, — что их не следует срывать и засушивать. Для меня они, пока росли и цвели, были живыми существами, в них таился некий скрытый смысл, некая Божья мысль. За ними следовало наблюдать с трепетом и философской любознательностью. Биолог мог бы рассказать о них много интересного, но для меня это существенного значения не имело. Что же на самом деле существенно — мне было не вполне ясно. Как они, растения, связаны с христианской верой или с отрицанием мировой воли, для меня было непостижимо. Они, очевидно, находились в Божественном неведении, которое лучше не нарушать. Насекомые, по контрасту, были «неестественными» растениями: цветами и плодами, которые позволили себе ползать в разные стороны на лапках-ходулях, летать на крыльях, похожих на листья, и грабить растения. За эту незаконную деятельность они были приговорены к массовому уничтожению вроде карательных экспедиций по истреблению майских жуков и гусениц. Мое «сострадание ко всем Божьим тварям» распространялось исключительно на теплокровных животных. Только к лягушкам и жабам я питал некоторую слабость из-за их сходства с людьми.

### Студенческие годы.

Растущее с каждым днем увлечение естественнонаучными занятиями не заставило меня окончательно забыть о моих философах. Временами я возвращался к ним. Выбор профессии был пугающе близок. Я с нетерпением ждал окончания школы. Конечно, я поступлю в университет и буду изучать естественные науки — мне хотелось каких-то реальных знаний. Но как только я склонялся к такому решению, меня начинали одолевать сомнения: может, все же имеет смысл обратиться к истории и философии? — В те дни я вновь с головой ушел во все египетское и вавилонское и больше всего на свете хотел стать археологом. Но у нас не было денег, и учиться где-нибудь кроме Базеля я не мог. В Базеле же некому было учить меня археологии. Так что от этого плана очень скоро пришлось отказаться. Я слишком долго колебался, и отец уже начал беспокоиться. Однажды он сказал: «Мальчик интересуется всем, чем только можно, и не знает, чего хочет». Пришлось признать, что он прав. Близилась вступительные экзамены, и нужно было определиться, на какой факультет поступать. Недолго думая, я объявил: «Естественные науки», предпочитая оставить моих школьных товарищей в сомнениях относительно моих намерений.

Мое внезапное, на первый взгляд, решение имело свою предысторию. За несколько недель до этого, как раз в то время, когда, раздираемый противоречиями, я не мог сделать выбор, мне приснился сон: Я увидел себя в темном лесу, недалеко от Рейна. Подойдя к небольшому холму (это был могильный холм), я начал копать и с изумлением обнаружил останки какого-то доисторического животного. Это меня необычайно заинтересовало, и тогда мне стало ясно: я должен изучать природу, должен изучать мир, в котором мы живем, и все, что нас окружает.

Позже приснился еще один сон. Я снова оказался в лесу, рассеченном руслами рек, и в самом темном месте, в зарослях кустарника, увидел большую лужу, а в ней странное существо: круглое, с разноцветными щупальцами, состоящее из бесчисленных маленьких клеточек. Это был гигантский радиолярий, около трех метров в диаметре. И вот такое великолепное животное лежит в этом всеми забытом месте в глубокой, прозрачной воде, — это меня потрясло.

Проснулся я охваченный необычайным волнением: эти два сновидения, устранив последние сомнения, однозначно заставили меня обратиться к естественным наукам.

В эти дни я вдруг окончательно осознал, где и как мне предстоит жить и что на эту жизнь мне придется зарабатывать самому. А чтобы достичь своей цели, я должен стать кем-то или чем-то. Но все мои товарищи воспринимали это как нечто естественное, само собой разумеющееся. Почему же я никак не могу определиться окончательно? Даже невыносимо скучный Д., которого наш учитель немецкого превозносил как образец прилежания и добросовестности, даже он был уверен, что будет изучать теологию. Я понимал, что следует взять себя в руки и в последний раз все обдумать. Как зоолог, я мог бы стать только школьным учителем или, в лучшем случае, служителем зоологического сада. Даже при отсутствии всяческих амбиций такая перспектива не вдохновляла. Но уж если бы пришлось выбирать между школой и зоосадам, я выбрал бы последнее.

Казалось, снова тупик, но меня вдруг осенило: я же могу изучать медицину. Странно, но раньше мне это не приходило в голову, хотя мой дед по отцовской линии, о котором я так много слышал, тоже был врачом. Похоже, именно поэтому я относился к профессии врача с предубеждением: «только не подражать» — таков был мой тогдашний девиз. Теперь же я втолковывал себе, что занятия медициной в любом случае начинаются с естественных дисциплин, и это меня вполне устраивало. Кроме того, медицина сама по себе настолько обширна и разнообразна, что всегда остается возможность заниматься какой-нибудь естественнонаучной проблемой. И так — наука, сказал я себе. Но оставался лишь один вопрос: как? У меня не было денег: поступить в любой другой, кроме Базельского, университет и всерьез готовить себя к научной карьере я не мог. В лучшем случае, я стал бы дилетантом. К тому же, по мнению большинства моих знакомых, а также людей знающих (читай — учителей), у меня был тяжелый характер, к сожалению, я не умел вызвать к себе расположение, и у меня не было ни малейшей надежды найти покровителя, который был бы в состоянии поддержать мой интерес к науке. В конце концов, хотя и не без неприятного чувства, что начинаю жизнь с компромисса, я остановился на медицине. Решение было окончательным и бесповоротным, и мне стало значительно легче.

Но теперь встал щепетильный вопрос: где взять деньги на учебу? Мой отец смог раздобыть лишь небольшую часть необходимых средств. Но он решил добиться для меня стипендии, которую я, к своему большому стыду, потом и получил. Менее всего меня волновало то, что о нашей нищете стало известно всем. Мне было стыдно оттого, что я не ожидал такой доброты от «сильных мира сего», будучи убежденным в их враждебности. Получалось так, будто я извлек выгоду из репутации моего отца, который и в самом деле был простым и добрым человеком. Я же чувствовал себя в высшей степени от него отличным. Собственно говоря, мое представление о себе было двойственным: «номер 1» считал меня малосимпатичным и довольно посредственным молодым человеком с честолюбивыми претензиями, неподконтрольным темпераментом и сомнительными манерами: то наивно восторженным, то по-детски разочарованным, но в существе своем — оторванным от жизни невеждой. «Номер 2» видел в «номере 1» тяжелую и неблагоприятную моральную проблему, особь, отягощенную множеством дефектов, как то: спорадическая лень, безволие, депрессивность, глупое благоговение перед тем, в чем не видит смысла никто, неразборчивость в дружбе, ограниченность, предубежденность, тупость (математика!), неспособность понимать других и определить свои отношения с миром. «Номер 2» вообще не был характером, он был своего рода *vita peracta* (прожитой жизнью. — *лат.*), рожденный, живущий, умерший — все едино, этакое тотальное обозрение человеческой природы, притом довольно безжалостное, ни к чему не способный и ничего не желающий, существующий исключительно при темном посредничестве «номера 1». В

тот момент, когда верх брал «номер 2», «номер 1» растворялся в нем, и наоборот, «номер 1» рассматривал «номер 2» как мрачное царство своего подсознания. «Номер 2» сам себе казался камнем, однажды заброшенным на край света и бесшумно упавшим в ночную бездну. Но в нем самом царил свет, как в просторных залах королевского дворца, высокие окна которого обращены к залитому солнцем миру. Здесь присутствуют смысл и связь, в противоположность бессвязной случайности жизни «номера 1», который никак не соприкасается даже с тем, что его непосредственно окружает. «Номер 2» же, напротив, чувствует свое тайное соответствие средневековой — эпохе, дух которой, Фауст, так преследовал Гёте. Значит, он тоже знал о «номере 2», и это служило мне утешением. Фауст — и об этом я догадывался даже с некоторым испугом — значил для меня больше, нежели мое любимое Евангелие от Иоанна. В нем была та жизнь, которой я сочувствовал. А Христос «от Иоанна» был мне чужд, хотя и не в той мере, как чудесный Исцелитель из Синописа. Фауст является живым соответствием «номера 2», я видел в нем ответ Гёте на вопросы своего времени. И это знание о Фаусте укрепило мою уверенность в собственной принадлежности человеческому обществу. Теперь я казался себе одиноким чудачком или злой шуткой жестокой природы, ведь моим крестным отцом и поручителем был сам Гёте.

Надо заметить, однако, что мои мысли о Фаусте этим и ограничивались. Несмотря на все свое сочувствие Фаусту, я не принимал гётевскую развязку, а его легкомысленное отношение к Мефистофелю лично задевало меня, равно как и гнусная заносчивость Фауста. Но тяжелее всего мне было примириться с убийством Филемона и Бавкиды.

\* \* \*

Именно тогда я увидел незабываемый сон, который одновременно и испугал меня, и ободрил. В нем я оказался в незнакомом месте и медленно шел вперед в густом тумане навстречу сильному, почти ураганному ветру. В руках я держал маленький огонек, который в любую минуту мог погаснуть. И все зависело от того, сохраню ли я его жизнь. Вдруг я почувствовал, что кто-то идет за мной и, оглянувшись, увидел огромную черную фигуру. Она следовала за мной по пятам. И в тот же миг, несмотря на охвативший меня ужас, я понял, что должен идти и вопреки всем опасностям пронести, спасти мой маленький огонек. Проснувшись, я сообразил, что этот «бронкенский призрак» — всего лишь моя собственная тень на облаке, созданная игрой света того огонька. Еще я осознал, что этот огонек — единственный свет, которым я обладал, — был моим сознанием, моим единственным сокровищем. И хоть в сравнении с силами тьмы огонь мал и слаб, все же это — свет, мой единственный свет.

Этот сон явился для меня озарением: теперь я знал, что «номер 1» был носителем света, а «номер 2» следовал за ним как тень. И моей задачей было сохранить свет, не оглядываясь на *vita recta* — на то, что закрыто для света. Я должен идти вперед, пробиваясь сквозь отбрасывающий меня назад ветер, идти в неизмеримую тьму мира, где нет ничего, где мне видны лишь внешние очертания, зримые и обманчивые, того, что невидимо и скрыто. Я, мой «номер 1», должен учиться, зарабатывать деньги, должен жить, побеждая трудности, заблуждаться и терпеть поражения. Буря, обрушившаяся на меня, — это время, непрестанно уходящее и непрестанно наступающее меня. Это мощный водоворот, который втягивает все сущее, избежать его, да и то лишь на миг, сможет лишь тот, кто неудержимо стремится вперед. Прошлое чудовищно реально, и оно пожирает каждого, кто не сумеет откупиться правильным ответом.

Итак, в моих представлениях о мире произошел поворот на 90 градусов: я узнал, что мой путь проходит вовне, а, вырываясь наружу, он попадает в ограниченность и

потемки трехмерности. Наверное, таким же образом Адам когда-то покинул рай, который стал для него фантомом, а свет открылся там, где в поте лица своего он будет распахивать каменное поле.

В то время я спрашивал себя: откуда берутся такие сны? Раньше мне казалось, что их посылает Бог — *somnia a Deo missa*. Но теперь, когда я приобщился ко всякого рода научным построениям, у меня появились сомнения. Если предположить, что, например, мое понимание развивалось и формировалось медленно, а во сне неожиданно наступил прорыв? Похоже, это было именно так. Вопрос лишь в том, почему это произошло и почему проникло в сознание? Ведь я же ничего не предпринимал сознательно, дабы навязать такой порядок вещей, напротив, мои симпатии были всецело на другой стороне. Выходит, в самом деле существует нечто — за кулисами — некий разум, т.е., нечто более разумное, чем я сам. Я и помыслить не мог, что в свете сознания внутренний мир будет выглядеть как гигантская тень. И еще я понял многое, чего не понимал раньше, — почему на лицах людей при упоминании мной о явлениях внутреннего мира появляется холодная тень замешательства и отчужденности.

Итак, следует забыть о «номере 2», но ни в коем случае не отказываться от него и не считать, что он не существует. Это исказило бы мое «я» и, более того, лишило бы меня возможности объяснить происхождение сновидений. «Номер 2», несомненно, был каким-то образом связан с возникновением сновидений, я был готов даже принять его за тот самый Высший разум, который внушал их. Но я чувствовал, что все более становлюсь «номером 1», т.е. лишь частью — подвижной частью — более широкого, всеобъемлющего «номера 2», который на деле был призраком, названным мной «духом тьмы».

Конечно, я тогда ничего подобного не думал, хотя все-таки смутно осознавал это (оглядываясь назад, я ныне в этом уверен), несмотря на то, что чувства подсказывали обратное.

Таким образом я «порвал» со вторым «я», отделив его от себя и предоставив ему вести совершенно автономное существование. Я не связывал его с какой-то определенной личностью, как это делают, когда речь заходит о привидениях, хотя при моем деревенском происхождении это было бы естественно. Как бы там ни было, но в деревне люди верят в подобные вещи.

Единственная выделяющаяся черта моего «духа» — его связь с прошлым, его протяженность во времени или, вернее, его временная безграничность. Я не отдавал себе в этом отчета, точно также, как не имел никакого представления о его местонахождении в пространстве. Он играл роль крайне не четкую, всегда находясь как бы на задворках моего существования.

\* \* \*

Человек и в психическом, и в духовном отношении приходит в этот мир с определенной ориентацией, заложенной в нем изначально, в соответствии с привычной для него средой и окружением, — как правило, это некий родительский мир, своего рода «дух семьи». Тем не менее такой «дух семьи» по большей части несет на себе неосознанную печать «духа времени». Если «дух семьи» являет собой *consensus omnium* (общее согласие. — *лат.*), это означает стабильность и спокойствие, но чаще всего мы наблюдаем обратные случаи, что порождает ощущение нестабильности и неуверенности.

Дети в основном реагируют не на то, что взрослые говорят, но на нечто неуловимое в окружающей их духовной атмосфере. Ребенок бессознательно подстраивается под нее, и у него возникают обусловленные этой атмосферой черты характера. Особого рода религиозные переживания, которые появлялись у меня уже в раннем дет-

стве, были естественной реакцией на общий дух родительского дома. Религиозные сомнения, которые позднее овладели моим отцом, не могли возникнуть вдруг и внезапно. Такого рода революционные изменения во внутреннем мире человека, как и в мире вообще, в течение долгого времени бросают тень на все вокруг, и тень эта увеличивается по мере того, как наше сознание противится этому. И чем больше усилий тратил отец на борьбу со своими сомнениями и внутренней тревогой, тем сильнее это отражалось на мне.

Я никогда не думал, что здесь сказалось влияние матери, она была слишком прочно соединена с некими иными основами бытия, что вряд ли основывалось на твердости ее христианской веры. Для меня это было как-то связано с животными, деревьями, горами, лугами и водяными потоками — со всем тем, что самым странным образом контрастировало с внешней традиционной религиозностью матери. Эта скрытая сторона ее натуры настолько отвечала моим собственным настроениям, что я чувствовал себя с ней удивительно легко и уверенно. Она давала мне ощущение твердой почвы под ногами. Хотя я и предположить не мог, насколько «языческой» была эта почва. Но именно она поддерживала меня в начавшем тогда уже оформляться конфликте между отцовской традицией и влиянием сил прямо противоположных, бессознательно волновавших меня.

Оглядываясь назад, я вижу, сколь мощно мой детский опыт повлиял на будущие события, он помог мне приспособиться к новым обстоятельствам, связанным с религиозным кризисом отца, с утратой многих иллюзий. Этот опыт помог мне принять мир таким, каков он есть и каким я его знаю сейчас, но не знал вчера. Хотя каждый из нас живет своей собственной жизнью, но все мы в первую очередь являемся представителями, жертвами и противниками того коллективного бессознательного, чьи истоки теряются в глубине веков. Можно всю жизнь думать, что следуешь собственным желаниям, так никогда и не осознав, что в большинстве своем люди лишь статисты в этом мире, на этой сцене. Существуют вещи, которые, хотим мы того или нет, знаем о них или не знаем, мощно воздействуют на нашу жизнь, — и тем сильнее, чем меньше мы это осознаем.

Так по крайней мере часть нашего существа живет в некоем безграничном времени — именно та часть, которую я сам, для себя, обозначил как «номер 2». Речь не идет о моем личном случае, это присуще всем, что подтверждается существованием религии, которая обращена именно к этому внутреннему человеку и уже две тысячи лет всерьез пытается вывести его на поверхность нашего сознания, провозгласив своим девизом: *Noli foras ire, in interiore homine habitat veritas!* (Не стремись вовне, истина внутри нас! — *лат.*)

С 1892 по 1894 году меня произошло несколько тяжелых объяснений с отцом. Он в свое время изучал восточные языки в Гёттингене и посвятил свою диссертацию арабской версии Песни Песней. Это «доблестное» время закончилось вместе с выпускными экзаменами, с тех пор он забросил филологию. Сделавшись деревенским священником, отец с воодушевлением погружался в студенческие воспоминания и, раскуривая длинную студенческую трубку, с грустью думал о том, что его брак складывался совсем не так, как он себе его представлял до женитьбы. Он делал много добра людям — слишком много — и, как следствие, сделался раздражительным и желчным. Оба моих родителя прилагали большие усилия, чтобы жить благочестивой жизнью, а в результате между ними все чаще возникали тягостные сцены. Все это не способствовало укреплению веры.

Состояние, в котором находился отец, вызывало у меня тревогу. Мать избегала всего, что могло его разволновать, уклоняясь от споров. Но понимая, что она права и что нужно стараться вести себя именно так, я часто не мог сдержаться. Обычно я

никак не реагировал на раздражительные выходки отца, но, когда у него улучшалось настроение, я пытался завязать беседу, надеясь понять, что с ним происходит и что он сам обо всем этом думает. Его явно что-то мучило, и я подозревал, что это имеет отношение к его вере. По каким-то намекам, я заключил, что его одолевают сомнения. На мой взгляд, это было неизбежно — ведь отец не пережил опыта, подобного моему. Мои безуспешные попытки поговорить с ним утверждали меня в этой мысли. На мои вопросы отец или давал одни и те же догматические ответы, или равнодушно пожимал плечами, что вконец выводило меня из себя. Трудно было понять, почему он не желает воспользоваться ситуацией и начать бороться. Мои вопросы, несомненно, огорчали его, но я все же надеялся на конструктивный разговор. Вообразить, что его знание о Боге нуждается в каких-то доказательствах, я не мог. В эпистемологии я ориентировался неплохо, понимая, что знания подобного рода не могут быть доказаны, но мне было в равной степени ясно, что в доказательстве существования Бога не больше нужды, чем в доказательстве красоты солнечного заката или загадочной способности ночи будить наше воображение. Я пытался, наверное неловко, поделиться с отцом этими очевидными истинами, надеясь помочь ему примириться с судьбой. Но отцу нужно было другое — с кем-то ссориться, и он ссорился со своей семьей и с самим собой. Почему он не переносил свои обиды на Бога, этого таинственного *auctor regum creatorum* (творца всего. — *лат.*), Единственного, Кто действительно отвечал за все страдания мира? Отец, конечно же, получил бы ответ — одно из тех магических, безгранично глубоких и способных изменить судьбу сновидений, подобных тем, какие Бог посылал мне (хоть я и не просил Его). Я не знаю — почему, но это так. Бог даже позволил мне взглянуть на то, что было частью Его мира. И это последнее было тайной, которую я не смел или не мог открыть отцу. Может быть, я смог бы это сделать, будь он способен открыть для себя непосредственное знание о Боге. Но в наших беседах я никогда не заговаривал об этом, делая акцент на интеллектуальном, как бы нарочно избегая всего психологического, эмоционального. Я боялся задеть его чувства. Но даже такого рода приближение к опасной теме всякий раз действовало на отца как красная тряпка на быка, вызывая раздражение, совершенно для меня непонятное. Непостижимо, как может совершенно рассудочный аргумент вызывать столь эмоциональное сопротивление.

В конце концов мы вынуждены были прекратить эти бесплодные споры, разойдясь недовольные друг другом и сами собою.

Теология сделала нас чужими. Снова роковое поражение, думал я, с той лишь разницей, что теперь не чувствовал себя одиноким. Мне не давала покоя смутная догадка, что отец тоже повержен своей судьбой. Он был одинок. У него не было друга, с которым он мог бы поговорить: я, по крайней мере, не знал никого в нашем кругу, к кому отец мог бы обратиться за советом. Однажды мне довелось услышать как отец молится: он отчаянно боролся за свою веру. Я был потрясен и возмущен одновременно, когда увидел, как безнадежно он обречен на свое богословие и на свою церковь. А они вероломно покинули его, лишили возможности познать Бога. В моем детском опыте Бог Сам разрушил в моем сне богословие и основанную на нем церковь. Но с другой стороны, Он Сам же и допустил все это, равно как и многое другое. Это я начал понимать только теперь. Ведь смешно думать, что это в людской власти. Что такое люди? Они родились глупыми и слепыми как щенята, как все Божьи твари; одарены скудным светом, не могущим разогнать тьму, в которой они блуждают. Я был убежден, что никто из известных мне богословов не видел своими глазами тот «свет, что во тьме светит», иначе ни один из них не смог бы учить других своему богословию. Мне нечего было делать с богословием, оно ничего не говорило моему опыту и знанию Бога. Не надеясь на знание, оно требовало слепой веры. Это стоило моему отцу колоссального напряжения всех его сил и закончилось провалом. Но

столь же незащищен он был и перед психиатрией. В смехотворном материализме психиатров, также как и в богословии, было нечто, во что должно было верить. По моему глубокому убеждению, и первому, и второму недостает гносеологической критики и опытных данных.

Отец, видимо, был буквально потрясен тем, что при исследовании мозга психиатры будто бы обнаружили в той части мозга, где должен был быть дух, — одну лишь «материю» и ничего «духовенного». Это укрепило его опасения, что, начав изучать медицину, я стану материалистом.

Я же во всем этом видел доказательство того, что ничего не следует принимать на веру, ведь я уже знал: материалисты, как и богословы, попросту верят в свои собственные определения. Тогда стало понятно, что отец попал из огня да в полымя. Столь высоко превозносимая вера сыграла с ним роковую шутку, и не только с ним одним, но и с большинством серьезных и образованных людей, которых я знал. Первоуродный грех веры заключается, на мой взгляд, в том, что она предвосхищает опыт. Откуда, например, богослову известно, что Бог преднамеренно одни вещи устраивает, а другие — «допускает», или же откуда известно психиатру, что материя обладает свойствами человеческого духа? Я знал, что опасность впасть с материализмом мне не грозит, но отец, очевидно, был убежден в обратном. Похоже, что кто-то рассказал ему о гипнозе, поскольку он тогда читал книгу Бернгайма о гипнозе, переведенную З. Фрейдом. До сих пор я ничего подобного за ним не замечал, обычно он читал лишь романы и путевые заметки, считая все «умные» книги предосудительными. Но обращение к науке не сделало отца счастливее, его депрессия усилилась, а приступы ипохондрии стали повторяться все чаще. В последние годы он жаловался на боли в области кишечника, хотя врач не находил ничего серьезного. Теперь же он стал говорить, будто чувствует «камень в животе». Долгое время мы не придавали этому значения, но наконец заволновался и врач. Это было в конце лета 1895 года.

Весной я начал учиться в Базельском университете. Единственный период в моей жизни, когда я откровенно скучал (школьные годы), закончился, и передо мной распахнулись золотые ворота в *universitas litterarum* (университетскую ученость. — *лат.*), в академическую свободу. Наконец-то я услышу правду о природе, узнаю все о человеке, о его анатомии и физиологии, о неких исключительных биологических состояниях, то есть о болезнях. Наконец, я смогу вступить в «Zofingia» — студенческое братство, к которому в свое время принадлежал мой отец. Когда я был еще «желторотым» юнцом, он даже брал меня на организованную братством экскурсию в одну знаменитую своими виноделами маркграфскую деревню. Там же на пирушке отец произнес веселую речь, в которой, к моему восхищению, обнаружился беззаботный дух его студенческого прошлого. Тогда стало понятно, что с окончанием университета его жизнь как бы остановилась и застыла, и мне припомнилась студенческая песня:

*Опустив глаза, они бредут назад,  
В страну филистеров,  
Увы, все меняется!*

Ее слова оставили во мне тяжелый осадок. Ведь когда-то отец тоже был юным студентом, ему тоже открывался целый мир — неисчислимые сокровища знаний. Что же случилось? Что надломило его, и почему все ему опротивело? Я не находил ответа. Речь, произнесенная отцом в тот летний вечер, была последним его воспоминанием о времени, когда он был тем, кем хотел. Вскоре его состояние ухудшилось. Поздней осенью 1895 года он уже был прикован к постели, а в начале 1896 года — умер.



После лекций я пришел домой и спросил, как он. «Ах, как всегда. Очень плохо», — ответила мать. Отец что-то прошептал ей, и она, намекая взглядом на его лихорадочное состояние, сказала: «Он хочет знать, сдал ли ты государственный экзамен?» Я понял, что должен солгать: «Да, все хорошо». Отец вздохнул с облегчением и закрыл глаза. Немного погодя, я подошел к нему снова. Он был один, мать чем-то занималась в соседней комнате. Его тяжелое и хриплое дыхание не оставляло надежды — началась агония. Я стоял у его постели, оцепенев, мне еще никогда не приходилось видеть, как умирают люди. Вдруг он перестал дышать. Я все ждал и ждал следующего вдоха, но его не было. Тут я вспомнил о матери и вышел в соседнюю комнату, она вязала там у окна. «Он умер», — сказал я. Мать подошла вместе со мной к постели, отец был мертв. «Как быстро все-таки это случилось», — произнесла она как будто с удивлением.

За этим последовали мрачные и тягостные дни, и в моей памяти мало что от них осталось. Однажды мать сказала своим «вторым» голосом, обращаясь то ли ко мне, то ли в пространство: «Для тебя он умер как раз вовремя», — что, как мне казалось, означало: «Вы не понимали друг друга, и он мог бы стать тебе помехой». Это, должно быть, соответствовало ее «номеру 2».

Но это «для тебя» было ужасно, вдруг я ощутил, что некая часть моей жизни безвозвратно уходит в прошлое. С другой стороны, я сразу повзрослел, я стал мужчиной, стал свободным. После смерти отца я переселился в его комнату, а в семье занял его место. Теперь моей обязанностью было каждую неделю давать матери деньги на хозяйство, сама она не умела экономить, да и вообще не умела их считать.

Спустя шесть недель, отец мне приснился. Он появился передо мной внезапно и сказал, что приехал с каникул, что хорошо отдохнул и теперь возвращается домой. Я ожидал от него упреков, зачем занял его комнату, но об этом речь не зашла. И мне стало стыдно, что я считал его мертвым. Через несколько дней сновидение повторилось: мой отец выздоровел и вернулся домой. И опять я винил себя за то, что думал о нем, как о мертвом. Я спрашивал себя снова и снова: «Что означает это его постоянное возвращение? Почему во сне он кажется таким реальным?» Мое ощущение было настолько сильным, что я впервые в жизни задумался о жизни после смерти.

\* \* \*

Со смертью отца возникло множество проблем, связанных с продолжением моей учебы. Некоторые родственники матери считали, что мне следует подыскать себе место продавца в одном из торговых домов и как можно быстрее начать зарабатывать. Матери обещал помочь ее младший брат, так как денег на жизнь не хватало, а дядя с отцовской стороны предложил помощь мне. Под конец учебы мой долг ему составлял 3000 франков. Остальные деньги я заработал сам, устроившись младшим ассистентом, кроме того я занимался распродажей небольшой коллекции антиквариата, которую унаследовал от одной из теток.

Я не жалею о тех днях бедности — они научили меня ценить простые вещи. Помните, как однажды я получил роскошный подарок — коробку сигар. Их мне хватило на целый год: я позволял себе только одну по воскресеньям.

Оглядываясь назад, могу сказать лишь одно: студенческие годы были прекрасным временем. Все было одухотворено, и все было живо. У меня появились друзья. Я иногда выступал с докладами по психологии и богословию на собраниях «Zofingia». Помню наши горячие споры, и не только о медицине. Мы говорили о Шопенгауэре и Канте, разбирались в стилистике Цицерона, мы занимались, наконец, философией и теологией. Короче говоря, мы пользовались всем, что могли дать нам классическое образование и культурная традиция.

Самым близким моим другом сделался Альберт Оэри. Наша дружба прекратилась лишь с его смертью, в 1950 году. Наши отношения были на двадцать лет старше нас самих, они начались задолго до нашего знакомства, в конце 60-х годов прошлого столетия, когда познакомились и подружились наши отцы. Но их судьба разлучила довольно рано, тогда как мы с Оэри держались вместе всю жизнь.

Я познакомился с Оэри в «Zofingia». Веселый и дружелюбный, он имел репутацию великолепного рассказчика. На меня произвело огромное впечатление то, что он приходился внучатым племянником Якобу Буркхардту, которого мы, юные базельские студенты, считали великим человеком; нам казалось невероятным, что этот почти легендарный человек жил и работал где-то рядом. Оэри даже внешне чем-то напоминал его: чертами лица, походкой, манерой говорить. Во многом благодаря моему другу я узнал и Бахофена, которого, как и Буркхардта, встречал иногда на улице. Но более, нежели эта, внешняя сторона нашего знакомства, меня привлекала вдумчивость Альберта, его образ мыслей, его знание истории и неожиданная зрелость политических суждений, меткость его оценок и характеристик — зачастую убийственная. Он как никто умел разглядеть тщеславие и пустоту за пышной риторикой.

Третьим в нашей компании был, увы, рано умерший Андреас Вишер, долгое время он возглавлял госпиталь в Урфе (Малайзия). До хрипоты мы спорили обо всем на свете, прихлебывая пиво. Эти беседы, наверное, лучшее, что осталось в моей памяти от студенческих лет.

Профессия и место жительства послужили причиной тому, что в последующие десять лет мы виделись не часто. Но мы с Оэри были безмерно обрадованы, когда уже в зрелые годы параллельные прямые вдруг пересеклись, и судьба снова свела нас вместе.

Когда нам было по тридцать пять, мы решили совершить «морское» путешествие на моей яхте; морем для нас стало Цюрихское озеро. В нашу команду вошли три молодых врача, работавшие со мной в то время. Мы доплыли до Валенштадта и вернулись обратно, подгоняемые свежим ветром. Оэри взял с собой «Одиссею» в переводе Фосса и читал нам о волшебнице Цирцее и ее острове. Блестела под солнцем прозрачная гладь озера, и берега были окутаны серебристой дымкой.

*Был нам по темным волнам провожатым надежный попутный*

*Ветер, пловцам благовеющий друг, парусов надуватель*

*Послан приветоречивою, светлокудрявой богиней...*

Неподвижным видением представляли перед нами зыбкие гомеровские образы, как мысли о будущем, о великом путешествии в *pelagus mundi* (мирское море. — *лат.*), которое нам еще предстояло. Оэри, который долго медлил и колебался, вскоре после этого женился, мне же судьба подарила — как и Одиссею — путешествие в царство мертвых.\*

Потом началась война. Мы виделись редко и говорили только о том, что волновало всех, что было «на переднем плане». Но в то же время не прерывалась другая наша беседа, «без слов», когда я угадывал, о чем он хотел меня спросить. Мудрый друг, он хорошо меня знал, его молчаливое понимание и неизменная верность зна-

---

\* Этот гомеровский образ имел для Юнга то же значение, что и аналогичный сюжет в «Божественной комедии» или Вальпургиева ночь в «Фаусте». Странствие в царство мертвых, погружение в Аид, было для Юнга тем же обращением к темному миру бессознательного. Этот же образ он использует в главе «Встреча с бессознательным». — *ред.*

чили для меня очень много. В последние десять лет его жизни мы вновь стали встречаться как можно чаще, поскольку оба знали, что тени становятся все длиннее.

Студенческие годы дали мне возможность безбоязненно обсуждать столь волновавшие меня религиозные вопросы. В нашем доме часто бывал один богослов, бывший викарий моего отца. Наряду с феноменальным аппетитом (я казался себе тенью рядом с ним) он обладал еще весьма разносторонними знаниями. От него я узнал многие вещи, и не только из области патристики и христианской догматики, но и некоторые новые течения протестантской теологии. В те дни у всех на устах была теология Ричля. Его исторические аналогии раздражали меня, особенно пресловутое сравнение Христа с поездом. Студентов-теологов, которых я знал по «Zofingia», кажется, вполне устраивала его теория об историческом влиянии Христова подвижничества. Мне же это представлялось не просто бессмыслицей, но мертвечиной, к тому же мне вообще не нравилась тенденция придавать Христу слишком большое значение и делать из него единственного посредника между людьми и Богом. Это, на мой взгляд, противоречило собственным словам Христа о Святом Духе, «Которого пошлет Отец во имя Мое» (Ин 14, 26).

В Святом Духе я видел проявление непостижимого Божества. Деяния его представлялись мне не только возвышенными, они обладали странными и сомнительными свойствами, как и поступки Яхве, Которого я наивно идентифицировал с христианским Богом, как меня учили перед конфирмацией. (Я еще не осознавал тогда, что «дьявол», строго говоря, был рожден вместе с христианством.) «Her Jesus» безусловно был человеком, причем сомнительным для меня, являясь всего лишь рупором Святого Духа. Это моя в высшей степени неортодоксальная точка зрения, на 90 градусов (если не на все 180) расходившаяся с традиционным богословием, естественно, натолкнулась на полное непонимание. Разочарование, которое я тогда испытал, постепенно сделало меня странно равнодушным, укрепив мою веру в собственный опыт. Вслед за Кандидом я мог теперь повторить: «Tout cela est bien dit — mais il faut cultiver notre jardin» (Все это верно, но нужно возделывать свой сад. — *фр.*), — подразумеваемая под этим собственные занятия.

В первые годы, проведенные в университете, я открыл, что присущие науке широчайшие возможности познания так или иначе ограничены и касаются главным образом вещей специальных. Из прочитанных мной философских сочинений, следовало все очевиднее, что все дело в существовании души: без нее невозможно никакое глубокое проникновение в сущность явлений. Но об этом нигде не говорилось, подразумевалось, что это нечто, само собой разумеющееся. Даже если кто-то и упоминал о душе, как К. Г. Карус, то это были не более чем философские спекуляции, одинаково легко принимающие ту или иную форму, чего я никак не мог для себя уяснить.

К концу второго семестра я сделал еще одно открытие. В библиотеке одного моего однокурсника, отец которого занимался историей искусств, я наткнулся на маленькую книжку о спиритизме, изданную в 70-х годах. Речь в ней шла о спиритизме и его истоках, автор был теологом. Мои прежние сомнения быстро рассеялись, когда я обнаружил, что эти явления очень напоминают мне истории, которые я слышал в своем деревенском детстве. Материал был, конечно, подлинный, но возникал другой важный вопрос: были ли эти явления правдивы с точки зрения естественных законов, — ответить на него с уверенностью я не мог. Но все же мне удалось установить, что в разное время в разных концах земли появлялись одни и те же истории. Следовательно, должна была существовать какая-то причина, которая не могла быть связана с общими религиозными предпосылками, — случай был явно не тот. Скорее всего, следовало предположить, что здесь не обошлось без определенных объективных свойств человеческой психики. Но вот на этом — на том, что касалось объек-

тивных свойств психики, — я и споткнулся, не найдя абсолютно ничего, кроме разве что всякого рода измышлений философов о душе.

Наблюдения спиритов, какими бы странными и сомнительными они ни казались мне поначалу, были тем не менее первым объективным свидетельством о психических явлениях. Мне запомнились имена Крукса и Целльнера, и я прочел всю доступную на тот момент литературу по спиритизму. Разумеется, я пытался обсудить это с друзьями, но к моему удивлению они реагировали отчасти насмешливо, отчасти недоверчиво, а иногда и с некоторой настороженностью. Они с поразительной уверенностью утверждали, что это принципиально невозможно и видели трюкачество во всем, что связано с привидениями и столоверчением. Но, с другой стороны, я чувствовал очевидную напряженность в их тоне. Я тоже не был уверен в совершенной правдивости подобного рода явлений, но почему, в конце концов, привидений не должно быть? Как мы узнаем, что нечто такое «невозможно»? А главное, почему это вызывает страх? Я находил здесь для себя множество интересных возможностей, вносящих разнообразие и некую скрытую глубину в мое существование. Могли ли, например, сновидения иметь какое-то отношение к призракам? Кантонские «Сновидения духовидца» пришлись здесь очень кстати. А вскоре я открыл для себя такого писателя, как Карл Дюпрель, который рассматривал эти явления с точки зрения философии и психологии. Я раскопал Эшенмайера, Пассавана, Юстинуса Кернера и Герреса и одолел семь томов Сведенборга.

«Номер 2» моей матери полностью разделял мой энтузиазм, но все остальные явно меня не одобряли. До сих пор я наткнулся на каменную стену общепринятых традиций, но только теперь в полной мере ощутил всю твердость человеческих предрассудков и очевидную неспособность людей признать существование сверхъестественных явлений; причем я столкнулся с такого рода неприятием даже среди близких друзей. Для них это все выглядело куда хуже, чем мое увлечение теологией. Мне показалось, будто весь мир выступил против меня: все, что вызывало у меня жгучий интерес, другим казалось туманным, несущественным и, как правило, настораживало.

Но чего же они боялись? Этому я не находил объяснения. В конце концов, в том, что существуют вещи, которые не укладываются в ограниченные категории пространства, времени и причинности, не было ничего невозможного и предосудительного. Известно ведь, что животные заранее чувствуют приближение шторма или землетрясения, что бывают сновидения, предвещающие смерть других людей, что часы иногда останавливаются в момент смерти, а стаканы разбиваются на мелкие кусочки. В мире моего детства подобные явления воспринимались как совершенно естественные. А сейчас я, похоже, оказывался единственным человеком, который когда-либо о них слышал. Совершенно серьезно я спрашивал себя: что же это за мир, куда я попал? Городской мир явно ничего не знал о деревенском мире, о мире гор, лесов и рек, животных и «не отделившихся от Бога» (читай: растений и кристаллов). С таким объяснением я был полностью согласен. Оно прибавляло мне самоуважения, я понял, что, позволяя осознавать, несмотря на всю свою ученость, городской мир довольно ограничен. Эта моя убежденность была отнюдь не безопасной: я стал важничать, стал скептическим и агрессивным, что меня безусловно не украшало. Наконец, ко мне снова вернулись старые сомнения и депрессии, чувство собственной неполноценности — тот порочный круг, из которого я решил вырваться любой ценой. Мне больше не хотелось быть изгоем и пользоваться сомнительной репутацией чудака.

После первого вводного курса я стал младшим ассистентом на кафедре анатомии, и в следующем семестре профессор назначил меня ответственным по курсу гистоло-

гии, что меня вполне устраивало. Более всего меня интересовали, причем с чисто морфологической точки зрения, эволюционная теория и сравнительная анатомия, я также был знаком и с неовитализмом. Иначе обстояло дело с физиологией: мне были глубоко неприятны все эти вивисекции, которые производились, по-моему, исключительно в целях наглядной демонстрации. Меня не покидала мысль, что животные сродни нам, что они не просто автоматы, используемые для демонстрации экспериментов. Поэтому я пропускал лабораторные занятия, так часто, как только мог. Я понимал, что опыты на животных бесполезны, но их демонстрация казалась мне жуткой и варварской, а главное, я не видел в ней необходимости. Мое чересчур развитое воображение вполне позволяло представить всю процедуру по одному лишь скупому описанию. Мое сочувствие к животным было основано вовсе не на аллюзиях шопенгауэровой философии, а имело более глубокие истоки — на восходящее к давним временам бессознательное отождествление себя с животными. В то время, конечно, я ничего не знал об этом психологическом факторе. Мое отвращение к физиологии было настолько велико, что экзамен я сдал с большим трудом. Но все-таки сдал.

В последующие клинические семестры я был так загружен, что у меня совершенно не оставалось времени ни на что другое. Я мог читать Канта лишь по воскресеньям, тогда же моим увлечением стал и Гартман. Включив в свою программу также и Ницше, я так и не решился приступить к нему, чувствуя себя недостаточно подготовленным. О Ницше тогда говорили всюду, причем большинство воспринимало его враждебно, особенно «компетентные» студенты-философы. Из этого я заключил, что он вызывает неприязнь в академических философских кругах. Высшим авторитетом там считался, разумеется, Якоб Буркхардт, чьи критические замечания о Ницше передавались из уст в уста. Более того, в университете были люди, лично знававшие Ницше, которые могли порассказать о нем много нелестного. В большинстве своем они Ницше не читали, а говорили в основном о его слабостях и чудачествах: о его желании изображать «денди», о его манере играть на фортепиано, о его стилистических несуразностях — о всех тех странностях, которые вызывали такое раздражение у добропорядочных жителей Базеля. Это, конечно, не могло заставить меня отказаться от чтения Ницше, скорее наоборот, было лишь толчком, подогревая интерес к нему и, порождая тайный страх, что я, быть может, похож на него, хотя бы в том, что касалось моей «тайны» и отверженности. Может быть, — кто знает? — у него были тайные мысли, чувства и прозрения, которые он так неосторожно открыл людям. А те не поняли его. Очевидно, он был исключением из правил или по крайней мере считался таковым, являясь своего рода *lusus naturae* (игра природы. — *лат.*), чем я не желал быть ни при каких обстоятельствах. Я боялся, что и обо мне скажут, как о Ницше, «это тот самый...». Конечно, *si parva comproere magnis licet* (если позволено сравнить великое с малым. — *лат.*), — он уже профессор, написал массу книг и достиг недостижимых высот. Он родился в великой стране — Германии, в то время как я был только швейцарцем и сыном деревенского священника. Он изъяснялся на изысканном *Hochdeutsch*, знал латынь и греческий, а может быть, и французский, итальянский и испанский, тогда как единственный язык, на котором с уверенностью говорил я, был *Waggis-Baseldeutsch*. Он, обладая всем этим великолепием, мог себе позволить быть эксцентричным. Но я не мог себе позволить узнать в его странностях себя.

Опасения подобного рода не остановили меня. Мучимый непреодолимым любопытством, и я наконец решился. «Несвоевременные мысли» были первой книгой, попавшей мне в руки. Увлечшись, я вскоре прочел «Так говорил Заратустра». Как и гётевский «Фауст», эта книга стала настоящим событием в моей жизни, Заратустра был Фаустом Ницше, и мой «номер 2» стал теперь очень походить на Заратустру, хо-

тя разница между ними была как между кротовой норой и Монбланом. В Заратустре, несомненно, было что-то болезненное. А был ли болезненным мой «номер 2»? Мысль об этом переполняла меня ужасом, и я долгое время отказывался признать это; но она появлялась снова и снова в самые неожиданные моменты, и каждый раз я ощущал физический страх. Это заставило меня задуматься всерьез. Ницше обнаружил свой «номер 2» достаточно поздно, когда ему было за тридцать, тогда как мне он был знаком с детства. Ницше говорил наивно и неосторожно о том, о чем говорить не должно, говорил так, будто это было вполне обычной вещью. Я же очень скоро заметил, что такие разговоры ни к чему хорошему не приводят. Как он мог, при всей своей гениальности, будучи еще молодым человеком, но уже профессором, — как он мог приехать в Базель, не предполагая, что его здесь ждет? Как человек гениальный, он должен был сразу почувствовать, насколько чужд ему этот город. Я видел какое-то болезненное недопонимание в том, что Ницше, беспечно и ни о чем не подозревая, позволил «номеру 2» заговорить с миром, который о таких вещах не знал и не хотел знать. Ницше, как мне казалось, двигала детская надежда найти людей, способных разделить его экстазы и принять его «переоценку ценностей». Но он нашел только образованных филистеров и оказался в трагикомическом одиночестве, как всякий, кто сам себя не понимает и кто свое сокровенное обнаруживает перед темной, убогой толпой. Отсюда его напыщенный, восторженный язык, нагромождение метафор и сравнений — словом, все, чем он тщетно стремился привлечь внимание мира, сделаться внятным для него. И он упал — сорвался как тот акробат, который пытался выпрыгнуть из себя. Он не ориентировался в этом мире — «dans ce meilleur des mondes possibles» (лучшем из возможных миров. — *фр.*) — и был похож на одержимого, к которому окружающие относятся предупредительно, но с опаской. Среди моих друзей и знакомых нашлись двое, кто открыто объявил себя последователями Ницше, — оба были гомосексуалистами. Один из них позже покончил с собой, второй постепенно опустился, считая себя непризнанным гением. Все остальные попросту не заметили «Заратустры», будучи в принципе далекими от подобных вещей.

Как «Фауст» в свое время приоткрыл для меня некую дверь, так «Заратустра» ее захлопнул, причем основательно и на долгое время. Я очутился в шкуре старого крестьянина, который, обнаружив, что две его коровы удавились в одном хомуте, на вопрос маленького сына, как это случилось, ответил: «Да что уж об этом говорить».

Я понимал, что, рассуждая о никому неизвестных вещах, ничего не добьешься. Простодушный человек не замечает, какое оскорбление он наносит людям, говоря с ними о том, чего они не знают. Подобное пренебрежение прощают лишь писателям, поэтам или журналистам. Новые идеи, или даже старые, но в каком-то необычном ракурсе, по моему мнению можно было излагать только на основе фактов: факты долговечны, от них не уйдешь, рано или поздно кто-нибудь обратит на них внимание и вынужден будет их признать. Я же за неимением лучшего лишь рассуждал вместо того, чтобы приводить факты. Теперь я понял, что именно этого мне и недостает. Ничего, что можно было бы «взять в руки», я не имел более, чем когда-либо нуждаюсь в чистой эмпирии. Я отнес это к недостаткам философов — их многословие, превышающее опыт, их умолчание там, где опыт необходим. Я представлялся себе человеком, который, оказавшись неведомо как в алмазной долине, не может убедить в этом никого, даже самого себя, поскольку камни, что он захватил с собой, при ближайшем рассмотрении оказались горстью песка.

В 1898 году я начал всерьез задумываться о своем будущем. Нужно было выбрать специальность, и выбор лежал между хирургией и терапией. Я больше склонялся к хирургии, так как получил специальное образование по анатомии и отдавал предпочтение анатомической патологии, и, вероятно, стал бы хирургом, если бы располагал необходимыми финансовыми средствами. Меня постоянно тяготило то,

что ради учебы придется залезать в долги. После выпускного экзамена я должен был как можно скорее начать зарабатывать себе на хлеб. Поэтому самой предпочтительной мне казалась хорошо оплачиваемая должность ассистента в какой-нибудь провинциальной больнице, а не в клинике. Более того, получить место в клинике возможно было лишь по протекции или при особом расположении заведующего. Зная свои сомнительные способности по части общительности и привлечения всеобщих симпатий, я не рассчитывал на подобную удачу и тешил себя скромной перспективой устроиться в какую-нибудь скромную больницу. Все остальное зависело только от моего трудолюбия и моих способностей.

Но во время летних каникул произошло событие, которое буквально потрясло меня. Однажды днем я занимался в своей комнате, в соседней сидела с вязанием мать. Это была наша столовая, где стоял старый круглый обеденный стол орехового дерева еще из приданого моей бабушки по отцовской линии. Мать устроилась у окна, примерно за метр от стола, сестра была в школе, а служанка на кухне. Внезапно раздался треск. Я вскочил и бросился в столовую. Мать в замешательстве застыла в кресле, вязание выпало у нее из рук. Наконец она выговорила, заикаясь: «Что случилось? Это было прямо возле меня», — и показала на стол. Тут мы увидели, что произошло: столешница раскололась до середины, причем трещина, не задев ни одного места склейки, прошла по сплошному куску дерева. Я лишился речи. Как такое могло случиться? Стол из прочного орехового дерева, который сох в течение семидесяти лет, — как мог он расколоться в летний день при более чем достаточной влажности? Если бы он стоял рядом с горячей плитой в холодный, сухой зимний день, тогда это было бы объяснимо. Что же такого необычайного должно было произойти, чтобы вызвать взрыв? «Странные вещи случаются», — подумал я. Мать покачала головой и сказала своим «вторым» голосом: «Да, да, это что-то да значит». Я же, находясь под сильным впечатлением от случившегося, злился на себя более всего за то, что мне нечего сказать.

Каких-нибудь две недели спустя, придя домой в шесть вечера, я нашел всех обитателей нашего дома — мою мать, четырнадцатилетнюю сестру и служанку — в сильном волнении. Примерно час назад снова раздался грохот; на этот раз причиной был не стол, звук послышался со стороны буфета, тяжелого и старого, ему было без малого сто лет. Они оглядели его, но не нашли ни единой трещины.

Я тут же снова обследовал буфет и все, что было поблизости, но безуспешно. Тогда я открыл его и стал перебирать содержимое. На полке для посуды я нашел хлебницу, а в ней буханку хлеба и нож с разломанным лезвием. Рукоять ножа лежала в одном из углов хлебницы, в остальных я обнаружил осколки лезвия. Ножом пользовались, когда пили кофе, и затем спрятали сюда. С тех пор к буфету никто не подходил.

На следующий день я отнес разломанный нож к одному из лучших литейщиков города. Он осмотрел изломы в лупу и покачал головой: «Этот нож в полном порядке, в стали нет никаких дефектов. Кто-то умышленно отламывал от него кусок за куском. Это можно сделать, если зажать лезвие в щели выдвижного ящика или сбросить его с большой высоты на камень. Хорошая сталь не может просто так расколоться. Кто-то подшутил над вами».

Мать и сестра были в тот момент в комнате, внезапный треск их напугал, «номер 2» моей матери с напряжением всматривался в меня, а мне снова нечего было сказать. Совершенно растерянный, я не находил никакого объяснения случившемуся, и злился на себя, тем более что был буквально потрясен всем этим.

Почему и каким образом раскололся стол и разломалось лезвие ножа? Предположить здесь обыкновенную случайность было бы слишком легкомысленно. Это казалось столь же невероятным, как если бы вдруг Рейн потек вспять — просто так, по

прихоти случая. Все остальные возможности исключались *eo ipso* (в силу этого. — лат.). Так что же это было?

Через несколько недель я узнал, что кое-кто из наших родственников увлекается столоверчением, у них есть медиум — пятнадцатилетняя девушка. По слухам, она впадает в транс и якобы общается с духами. Услышав об этом, я вспомнил о последних событиях в нашем доме и подумал, что это может иметь какое-то отношение к «медиуму». Так я стал регулярно — каждую субботу — бывать на спиритических сеансах. Духи общались с нами посредством «постукивания» по столу и стенам. То, что стол двигался независимо от медиума, показалось мне сомнительным. Вскоре я обнаружил, что условия эксперимента слишком ограничены, поэтому принял как очевидность лишь самовозникновение звуков и сосредоточился на содержании сообщений медиума. (Результаты наблюдений были представлены в моей докторской диссертации.) Сеансы наши продолжались года два, мы все устали. И однажды я заметил, как медиум пытается имитировать спиритический феномен, т. е. попросту мошенничает. После этого я перестал ходить туда, о чем сейчас сожалею, потому что на этом примере понял, как формируется «номер 2», как входит в детское сознание *alter ego* и как оно растворяется в нем. Девушка-медиум была «акселераткой». Я видел ее еще раз, когда ей было 24, и мне она показалась человеком чрезвычайно независимым и зрелым. В 26 лет она умерла от туберкулеза. После ее смерти ее родные рассказали мне, что в последние месяцы жизни характер ее стал быстро меняться: перед концом она впала в состояние, аналогичное состоянию двухлетнего ребенка. Тогда она и заснула в последний раз.

В целом все это явилось для меня важным опытом, благодаря которому от юношеского своего философствования я перешел к психологическому объяснению духовных феноменов, обнаружив нечто объективное в области человеческой психики. И все же эти опыты были такого свойства, что я не представлял, кому бы мог рассказать все обстоятельства дела. Поэтому мне снова пришлось забыть на время о предмете моих размышлений. Диссертация моя появилась лишь спустя два года.

\* \* \*

В клинике, где я работал, место старого Иммермана занял Фридрих фон Мюллер. В нем я нашел человека, близкого мне по складу ума. Мюллер умел с необыкновенной проницательностью ухватить суть проблемы и формулировать вопросы так, что они уже наполовину содержали в себе решение. Он, со своей стороны, похоже, симпатизировал мне, потому что после окончания университета предложил переехать с ним в Мюнхен в качестве его ассистента. Я уже готов был принять его предложение и стал бы терапевтом, если бы не произошло событие, не оставившее у меня никаких сомнений относительно выбора будущей специальности.

Я, конечно, слушал лекции по психиатрии и практиковался в клинике, но тогдашний наш преподаватель ничего из себя не представлял. А воспоминания о том, как подействовало на моего отца пребывание в психиатрической лечебнице, менее всего располагали специализироваться в данной области. Поэтому, готовясь к государственному экзамену, учебник по психиатрии я раскрыл в последнюю очередь. Я ничего от него не ожидал и до сих пор помню, как, открывая пособие Краффта-Эбинга, я подумал: «Ну-ну, посмотрим, что ценного скажут нам психиатры». Лекции и клинические занятия не произвели на меня ни малейшего впечатления, а от демонстрации клинических случаев у меня не осталось ничего, кроме скуки и отвращения.

Я начал с предисловия, рассчитывая узнать, на что опираются психиатры, чем они вообще оправдывают существование своего предмета. Чтобы мое высокомерное отношение к психиатрии не вызвало упреков, я должен пояснить, что медики в то



время, как правило, относились к психиатрии с пренебрежением. Никто не имел о ней реального представления, и не существовало такой психологии, которая бы рассматривала человека как единое целое, не было еще описаний разного рода болезненных отклонений, так что нельзя было судить о патологии вообще. Директор клиники был обычно заперт в одном помещении со своими больными, сама же лечебница, отрезанная от внешнего мира, размещалась где-нибудь на окраине города, как своего рода лепрозорий. Никому не было до этих людей дела. Врачи — как правило, дилетанты — знали мало и испытывали по отношению к своим больным те же чувства, что простые смертные. Душевное заболевание считалось безнадежным и фатальным, и это обстоятельство бросало тень на психиатрию в целом. На психиатров в те дни смотрели косо, в чем я вскоре убедился лично.

Итак, я начал с предисловия, в котором сразу же натолкнулся на следующую фразу: «Вероятно, в силу специфики предмета и его недостаточной научной разработки учебники по психиатрии в той или иной степени страдают субъективностью». Несколько ниже автор называл психоз «болезнью личности». Внезапно мое сердце сильно забилося, в волнении я вскочил из-за стола и глубоко вздохнул. Меня будто озарило на мгновение, и я понял: вот она, моя единственная цель, — психиатрия. Только здесь могли соединиться два направления моих интересов. Именно в психиатрии я увидел поле для практических исследований, как в области биологии, так и в области человеческого сознания, — такое сочетание я искал повсюду и не находил нигде. Наконец, я нашел область, где взаимодействие природы и духа становилось реальностью.

Мысль моя мгновенно отозвалась на фразу о «субъективности» учебников по психиатрии. Итак, думал я, этот учебник — своего рода субъективный опыт автора, со всеми присущими ему предрассудками, со всем его «собственным», что в книге выступает как объективное знание, со всеми «болезнями личности» — читай: его собственной личности. Наш университетский преподаватель никогда не говорил ничего подобного. И, хотя этот учебник ничем существенно не отличался от других подобных пособий, он прояснил для меня многое в психиатрии, и я безвозвратно попал под ее обаяние.

Выбор состоялся. Когда я сообщил о своем решении преподавателю терапии, он был ошарашен и огорчен. Мои старые раны, мое проклятое «отличие», снова дали о себе знать, но теперь я понимал, в чем дело. Никто из близких мне людей, и даже я сам, и предположить не могли, что однажды я рискну ступить на этот окольный путь. Друзья были, неприятно удивлены и смотрели на меня как на глупца, который отказался от счастливого шанса — сделать карьеру в терапии, что было более чем реально и не менее заманчиво. И ради чего — ради какой-то психиатрической несуразицы.

Стало ясно, что я вновь попал на боковую дорогу и вряд ли у кого-нибудь возникнет желание последовать за мной. Но я твердо знал, что никто и ничто не заставит меня изменить мое решение и мою судьбу. Получилось так, будто два потока слились воедино и неумолимо несли меня к далекой цели. Уверенное ощущение себя как «цельной натуры» словно на магической волне перенесло меня через экзамен, который я сдал одним из лучших. Дела шли великолепно, когда я вдруг неожиданно споткнулся, причем на том самом предмете, который на самом деле знал блестяще, — на патологической анатомии. Из-за нелепой ошибки я не заметил на предметном стекле микроскопа, где, казалось, находились лишь разрозненные клетки эпителия, клеток, пораженных плесенью. В других дисциплинах я даже интуитивно угадывал вопросы, которые мне станут задавать, благодаря чему успешно избежал нескольких

опасных подводных камней и шел вперед «под гром фанфар». Похоже, все дело в моей излишней самоуверенности. Не случись этого, я получил бы высший балл.

Теперь же выяснилось, что еще у одного студента оказался такой же балл, как у меня. Это была «темная лошадка», какой-то одиночка, выглядевший подозрительно заурядным. Он мог говорить исключительно «по предмету» и отвечал на все вопросы с таинственной улыбкой античной статуи. Он старался казаться уверенным, но за этим крылось смущение и неумение себя вести. Я не мог его понять. Одно можно было сказать совершенно точно — он производил впечатление почти маниакального карьериста, которого, казалось, ничто не интересовало, кроме его медицинской специальности. Спустя несколько лет он заболел шизофренией. Я вспомнил этот случай по ассоциации. Моя первая книга, как известно, была посвящена психологии *dementia praecox* (шизофрении), и в ней я, вооружась «своими собственными пред-рассудками», пытался определить эту «болезнь личности». Психиатрия в широком смысле — это диалог между больной психикой и психикой «нормальной» (причем под «нормальной» принято понимать психику самого врача), это взаимодействие больного с тем, кто его лечит, — существом в известной мере субъективным. Я поставил перед собой задачу доказать, что ложные идеи и галлюцинации являются не столько специфическими симптомами умственного заболевания, сколько присущи человеческому сознанию вообще.

Вечером после экзамена я впервые в жизни позволил себе роскошь сходить в театр. До этого состояние моих финансов не располагало к подобной экстравагантности. У меня еще остались деньги от продажи антиквариата, так что я смог позволить себе не только билет в оперу, но и путешествие: я съездил в Мюнхен и Штутгарт.

Бизе подействовал на меня совершенно опьяняюще, я будто плыл по волнам безбрежного моря. На следующий день, когда поезд нес меня через границу навстречу широкому миру, мелодии «Кармен» все еще звучали во мне. В Мюнхене я впервые увидел настоящую античность, и в соединении с музыкой Бизе это погрузило меня в особую атмосферу, о глубине и значении которой я лишь смутно догадывался. Ощущение весны и влюбленности — так бы я охарактеризовал тогдашнее состояние. Погода между тем стояла унылая — была первая неделя декабря 1900 года. В Штутгарте я последний раз встретился с фрау Раймер-Юнг, моей теткой, дочерью моего дедушки, профессора К. Г. Юнга, от его первого брака с Вирджинией де Лассоль. Это была очаровательная пожилая дама с блестящими голубыми глазами, очень живая и стремительная. Ее муж был психиатром. Сама она казалась погруженной в мир неясных мимолетных фантазий и таинственных воспоминаний. На меня в последний раз повеяло прошлым, безвозвратно исчезающим, уходящим в небытие. Я окончательно попрощался с ностальгическими тревогами моего детства.

\* \* \*

С 10 декабря 1900 года началась моя работа ассистентом в клинике Бургхольцли в должности ассистента. Я был рад, что поселился в Цюрихе, Базель казался мне уже тесным. Для жителей Базеля не существовало другого города, кроме Базеля, только в Базеле все было «настоящее», а на противоположном берегу реки Бирс начиналась земля варваров. Мои друзья не могли понять, зачем я уезжаю, и надеялись на мое скорое возвращение. Но это было абсолютно исключено — в Базеле меня знали не иначе как сына пастора Юнга и внука профессора Карла Густава Юнга. Я принадлежал к местной элите, был, так сказать, заключен в своего рода «рамки». Во мне это рождало внутренний протест, я не мог и не хотел быть прикованным к чему бы то ни было.

В интеллектуальном отношении атмосфера Базеля была вполне космополитична, однако на всем лежала печать традиции, и это было нестерпимо. Приехав же в Цю-

рих, я мгновенно почувствовал огромную разницу. Связи Цюриха с миром строились не на культуре, а на торговле, но здесь я дышал воздухом свободы и очень этим дорожил. Здесь люди не ощущали духоты тяжелого коричневого тумана многовековой традиции, хотя культурной памяти Цюриху, безусловно, не доставало. И все же по Базелю я до сих пор скучаю, хотя знаю, что он уже не тот, что был. Я все еще помню дни, когда по улицам его неспешно прогуливались Бахофен и Буркхардт, что позади кафедрального собора стоял дом настоятеля, мост через Рейн был наполовину деревянный.

Мать тяжело переживала мой отъезд. Но я не мог поступить иначе, и она перенесла это с присущим ей мужеством. Она осталась с моей младшей сестрой, созданием хрупким и болезненным, ни в чем на меня не похожим. Сестра словно родилась для того, чтобы прожить жизнь старой девой, она так и не вышла замуж. Но у нее был удивительный характер, и я всегда поражался ее выдержке. Она была прирожденная «леди» и такой умерла — не пережила операции, исход которой не предвещал никакой опасности. Я был потрясен, когда обнаружил, что сестра заранее привела в порядок все свои дела, позаботилась обо всем до последней мелочи. Мы никогда не были близки, но я всегда испытывал к ней глубокое уважение. Я был слишком эмоциональным, она же — всегда спокойной, хотя обладала очень чувствительной натурой. Мне всегда казалось, что сестра проведет остаток дней в приюте для благородных девиц, как это было с младшей сестрой моего дедушки.

Работа в клинике Бургхольцли наполнила мою жизнь новым содержанием, появились новые замыслы, заботы, укреплялось чувство долга и ответственности. Это был как бы постриг в миру, я словно дал обет верить лишь в возможное, обычное, заурядное; все невозможное исключалось, все необыкновенное сводилось к обыкновенному. С этого времени передо мной было лишь то, что на поверхности, только начала без продолжений, события без их внутренней связи, знания, ограничиваемые все более узким кругом специальных вопросов. Мелкие неудачи вытеснили серьезные проблемы, горизонты сужались, духовная пустота и рутина казались непреодолимыми. На полгода я сознательно заключил себя в этот монастырь. Познавая жизнь и дух психиатрической лечебницы, я от корки до корки прочел все пятьдесят томов «Allgemeinen Zeitschifte fur Psychiatrie», чтобы ориентироваться в существовавшей на тот момент научной ситуации. Я хотел выяснить, как человеческий дух реагирует на собственные расстройства и разрушения, поскольку психиатрия казалась мне ярким выражением той биологической реакции, которая завладевала так называемым здоровым сознанием при контакте с сознанием расстроенным. Коллеги по работе казались мне не менее интересными, чем пациенты. Впоследствии я втайне обработал сводную статистику моих швейцарских коллег по наследственности, что способствовало моему пониманию психических реакций.

Моя крайняя сосредоточенность и добровольное заточение отдалили меня от коллег. Они не представляли, какой странной казалась мне психиатрия и как настойчиво я стремился проникнуть в ее суть. В тот период я еще не интересовался терапией, увлекшись патологией так называемой нормальности — это позволяло мне глубже проникнуть в человеческую психику.

Именно так начиналась моя карьера в психиатрии — мой субъективный эксперимент, из которого и складывалась моя жизнь.

У меня нет ни желания, ни способности отстраниться от себя и взглянуть на собственную судьбу со стороны. Поступая так, я совершил бы ошибку (известную мне по другим автобиографиям), либо погружаясь в иллюзию того, как должно было быть, либо создавая некую апологию pro vita. В конечном счете, это тот самый слу-

чай, когда мы не в состоянии судить себя, право судить нас дано другим — for better or worse (плохо или хорошо. — *англ.*) — и этого достаточно.

### Психиатрическая практика.

Годы работы в Бургхольцли, психиатрической клинике при Цюрихском университете, были годами ученичества, когда главным для меня вопросом был единственный: что же происходит с душевнобольным человеком? Тогда я не мог на него ответить, а никого из моих коллег, похоже, эта проблема не занимала. Работа психиатра заключалась в следующем: абстрагировавшись в возможно большей степени от того, что говорит пациент, врач должен был поставить диагноз, описать симптомы и составить статистику. С так называемой клинической точки зрения, которая тогда господствовала, врач занимался больным не как отдельным человеком, обладающим индивидуальностью, а как пациентом Икс с соответствующей клинической картиной. Пациент получал ярлык, ему приписывался диагноз, чем обычно все и заканчивалось. Психология душевнобольного никого не интересовала.

В этом отношении велика роль Фрейда, и прежде всего его фундаментальных исследований по психологии истерии и сновидений. Его концепции указали мне путь и помогли как в моих последующих исследованиях, так и в понимании каждого конкретного случая. Фрейд подошел к психиатрии именно как психолог, хотя сам был вовсе не психологом, а невропатологом.

\* \* \*

Я до сих пор отлично помню случай, который тогда произвел на меня сильное впечатление. В клинику привезли молодую женщину, страдающую меланхолией, она поступила в мое отделение. Обследование проводилось с обычной тщательностью: анамнез, исследование, анализ физического состояния и т. д. Диагноз: шизофрения (или, как тогда говорили, *dementia praecox*). Прогноз: негативный.

Поначалу я не осмеливался усомниться в диагнозе, молодому человеку, и тем более новичку, не пристало высказывать свою точку зрения. Но случай показался мне странным. У меня возникло подозрение, что это не шизофрения, а обыкновенная депрессия, и я решил применить собственный метод. В то время моим увлечением был ассоциативный метод в диагностике, и я попытался провести ассоциативный эксперимент с этой пациенткой. Мы много говорили о и ее снах, что позволило мне узнать нечто существенное о ее прошлом, нечто такое, чего анамнез прояснить не мог. Таким образом я получил информацию непосредственно из бессознательного, и мне открылась история мрачная и трагическая.

До замужества у этой женщины был знакомый, сын богатого промышленника. В него были влюблены все девушки в округе, но моя пациентка была очень привлекательной и считала, что у нее есть шанс. Он же, казалось, ею не интересовался, и она вышла замуж за другого.

Пять лет спустя к ней зашел давний приятель. Они вспоминали прошлое, когда вдруг тот сказал: «Когда ты вышла замуж, кое-кто был в шоке — этот ваш NN». С этого момента и началась ее депрессия, а спустя несколько недель это привело к несчастью.

Она купала своих детей, четырехлетнюю дочь и двухлетнего сына. Семья жила в деревне, где вода не отвечала гигиеническим стандартам: чистую родниковую воду пили, речную использовали для купания и стирки. Заметив, что дочь сосет мочалку, она не придавала этому значения, сыну же разрешила выпить стакан речной воды. Ес-

тественно, она не вполне отдавала себе отчет в том, что делает, ее сознание уже было омрачено тенью надвигающейся депрессии.

Когда прошел инкубационный период, девочка заболела брюшным тифом и умерла. Она была любимицей матери. Мальчик не пострадал. В состоянии острой стадии депрессии женщина попала в клинику.

Проведя ассоциативный тест, я выяснил, что пациентка считала себя убийцей. Таким образом, у ее депрессии была серьезная причина. По сути это было психогенное расстройство.

Встал вопрос, как ее лечить. Прежде ей давали снотворное и наркотики, чтобы предотвратить попытки самоубийства. Ничего другого не делалось. Физическое ее состояние было вполне удовлетворительным.

Я долго размышлял над проблемой, возможно ли и стоит ли мне поговорить с ней откровенно? Должен ли я вмешаться, имею ли на это право? Это было вопросом моей совести, и решить его мог только я. Обратись я к коллегам, они, вероятно, предупредили бы меня: «Ради Бога, не говорите женщине ничего подобного. Она окончательно сойдет с ума». Но на мой взгляд, эффект мог быть и противоположным. В психологии вообще нет однозначных истин — ответы на любой вопрос могут быть самыми различными. Все зависит от того, принимаем ли мы во внимание фактор бессознательного. Конечно, я знал, что рискую и что если пациентка сорвется, то я последую за ней.

Тем не менее я решился, хотя уверенности в благополучном исходе у меня не было. Я рассказал ей все, что выяснил благодаря ассоциативному эксперименту. Можно себе представить, как это было тяжело. Это не пустяк — взвалить на человека убийство. И каково было больной выслушать и принять все это. Но эффект был поразительный: через две недели она выписалась из клиники и никогда больше туда не возвращалась.

Коллегам я ничего не рассказал, и на то были причины. Я опасался, что, обсудив этот случай, они сделают его достоянием общественности, что может привести к осложнениям. Конечно, доказать что-либо вряд ли возможно, но для пациентки все эти разбирательства могли оказаться фатальными. Куда важнее было, чтобы она вернулась к нормальной жизни. Судьба и так достаточно наказала ее! Выписавшись из клиники, она уехала домой с тяжелым сердцем. Ей предстояло пережить все это. Ее наказание уже началось ее болезнью, а потеря ребенка причинила ей глубокие страдания.

В психиатрии пациент нередко скрывает свою историю. Для меня же собственно терапия начинается с изучения этой — очень личной — истории. Ибо в ней заключена самая тайна, которая явилась причиной болезни и разрушила психику. Если я открою ее, то получу ключ к лечению. Иными словами, задача врача заключается в том, чтобы узнать историю пациента, причем он может задавать вопросы, касающиеся личности пациента в целом, а не только симптомов его болезни. Нередко того, что лежит на поверхности сознания, оказывается мало. А ассоциативный тест может открыть какой-нибудь ход. Иногда помогает толкование сновидений или длительный и терпеливый человеческий контакт с пациентом.

\* \* \*

В 1905 году я читал курс психиатрии в Цюрихском университете и в том же году стал главврачом университетской клиники. Я занимал эту должность четыре года, но в 1909 году подал в отставку — у меня просто не хватало времени. Из-за обширной частной практики я уже не справлялся со своими обязанностями в клинике, но в должности приват-доцента оставался до 1913 года. Я читал курс психопатологии и

основы фрейдовского психоанализа и, кроме того, психологию примитивов. Такими были мои основные предметы. Первые семестры я отводил в основном лекциям по гипнозу, а также теориям Жана и Флурнуа, затем на первый план вышли проблемы фрейдовского психоанализа.

В лекциях по гипнозу я приводил истории моих пациентов, которых обычно представлял студентам. Один такой случай очень хорошо мне запомнился.

Как-то раз ко мне обратилась очень религиозная пожилая женщина (ей было 58 лет). Она пришла на костылях, с трудом передвигалась на них с помощью служанки. Уже семнадцать лет она страдала от паралича. Я усадил женщину в удобное кресло и попросил рассказать о себе. Она со слезами начала говорить, и вся история ее болезни разворачивалась передо мной в мельчайших подробностях. Не выдержав, я оставил ее: «Достаточно, у нас мало времени. Сейчас мы проведем сеанс гипноза». Едва я успел произнести эти слова, она закрыла глаза и впала в глубокий транс — без всякого гипноза! Я был крайне изумлен, но не стал прерывать больную, которая говорила, не умолкая, о своих снах, весьма выразительных. Значение их стало мне ясно лишь через несколько лет. Тогда же я решил, что это своего рода бред. Ситуация становилась все более неловкой, — ведь передо мной были студенты.

Попытка разбудить пациентку через полчаса не удалась — она не просыпалась. Я не на шутку испугался, что своими расспросами спровоцировал у больной скрытый психоз. Лишь через 10 минут мне удалось разбудить ее. Мне стоило огромных усилий скрыть от студентов свое волнение. Когда женщина пришла в себя, у нее кружилась голова, она была растеряна. Я бросился успокаивать ее: «Я ваш доктор, все в порядке». В ответ она воскликнула: «И я теперь здорова!» Отбросив костыли, она без посторонней помощи встала на ноги. Я постарался как можно спокойнее обратиться к студентам: «Теперь вы видите, на что способен гипноз!» Хотя на самом деле я и понятия не имел, что же произошло.

Это был один из опытов, заставивших меня отказаться от гипноза. Ничего еще не понимая, я увидел, что женщина действительно исцелилась и была совершенно счастлива. Ожидая наступления рецидива самое позднее через 24 часа, я попросил ее связаться со мной. Но боли больше не повторялись. И мне пришлось признать, что она вылечилась.

На первую лекцию летнего семестра следующего года она пришла опять, на этот раз с жалобами на сильные боли в спине, которые, по ее словам, начались совсем недавно. Естественно, что мне пришла мысль, не связано ли это с началом моих занятий. Похоже, она прочла в газете объявление о лекциях. Я заинтересовался, когда начались боли и чем они были вызваны. Она не вспомнила ничего определенного, и ничего не могла объяснить. Наконец мне удалось все-таки выяснить, что боли фактически начались в тот самый день и час, когда газета с объявлением попала ей на глаза. Это подтверждало мои подозрения, однако мне по-прежнему была неизвестна причина ее неожиданного исцеления. Я загипнотизировал ее снова — то есть она снова, как и тогда, спонтанно впала в транс — и после этого боли исчезли.

После лекции я остался, чтобы подробнее побеседовать с ней. Выяснилось, что сын ее страдал слабоумием и содержался в этой клинике, в моем отделении. Я об этом не догадывался, поскольку она носила фамилию второго мужа, сын же был ребенком от первого брака. Других детей у нее не было, и она, естественно, надеялась, что ее сын талантлив и добьется успеха в жизни. Для нее было ужасным ударом, когда в раннем детстве у него обнаружилось душевное заболевание. Я тогда был совсем еще молодым врачом и воплощал в себе, как ей казалось, все то, что она мечтала найти в сыне. Ее неумное желание быть матерью выдающегося человека сфокуси-

ровалось на мне — она мысленно сделала меня своим сыном, рассказывая о своем чудесном исцелении *urbi et orbi* (городу и миру. — *лат.*).

И получилось так, что я благодаря ей приобрел популярность как врач и обзавелся первыми частными пациентами, поскольку история передавалась из уст в уста. Итак, моя психотерапевтическая практика началась с того, что в воображении любящей матери я занял место ее сумасшедшего сына! Все эти механизмы я попытался объяснить ей, и она отнеслась к этому с большим пониманием. Рецидивы у нее больше не повторялись.

Таким был мой первый настоящий терапевтический опыт и, можно сказать, мой первый психоанализ. Я отлично помню эту женщину и нашу беседу, она была довольно умна и испытывала чрезвычайную благодарность за участие в ее судьбе и судьбе ее сына. В конечном счете это помогло ей.

Поначалу я применял гипноз и в частной практике, но вскоре отказался от него, потому что не хотел больше действовать вслепую, наугад. Никогда нельзя было сказать, как долго продлится улучшение, и внутренне я противился этой неопределенности. Кроме того, мне не нравилось решать самому, что должен делать пациент, я предпочитал узнавать от него самого, куда ведут его собственные склонности. Но для этого был необходим тщательный анализ сновидений и других проявлений бессознательного.

В 1904 — 1905 годах я создал при клинике лабораторию экспериментальной психопатологии. С группой студентов я изучал психические реакции (как то: ассоциации и т. д.). Со мной работал и Франц Риклин-старший. Людвиг Биневангер готовил тогда докторскую диссертацию о связи ассоциативных экспериментов с психогальваническими эффектами, а я — работу «О сущности психологической диагностики». С нами сотрудничали и американцы, среди них Карл Петерсен и Чарльз Рикшер, публиковавшиеся в американских научных журналах.

Именно исследованиям ассоциативных механизмов я обязан приглашением в один из американских университетов (университет Кларка, 1909), где прочел доклад о своей работе. В то же время туда независимо от меня пригласили Фрейда. Нам обоим присвоили степень доктора *honoris causa*.

Благодаря ассоциативным и психогальваническим экспериментам я стал известен в Америке, и вскоре оттуда ко мне стали обращаться пациенты. Один из первых случаев хорошо сохранился в моей памяти.

Один из американских психиатров направил ко мне больного с диагнозом: «алкоголическая неврастения». В прогнозе значилось: «неизлечим». Из предосторожности мой коллега порекомендовал больному обратиться еще к одному авторитетному невропатологу в Берлине, опасаясь, видимо, что мои попытки ни к чему не приведут. Больной пришел ко мне на консультацию. Из беседы с ним я понял, что он страдает обычным неврозом, не имея никакого представления о психологических предпосылках своей болезни. Ассоциативный тест показал, что он страдает материнским комплексом в весьма тяжелой форме. Выходец из семьи богатой и почтенной, он был женат на прекрасной женщине и не имел никаких проблем — вот то, что лежало на поверхности. Но его что-то угнетало, и он слишком много пил, отчаянно пытаясь одурманить себя, чтобы это забыть, естественно, безуспешно.

Его мать владела крупной компанией, и он занимал в ней один из важных постов. Собственно, он уже давно мог освободиться от этой тягостной подчиненности. Но, не решаясь оставить высокий пост, он оставался в зависимости от матери, которой был обязан положением. Находясь рядом с ней и будучи вынужденным терпеть ее вмешательство в свои дела, он начинал пить, чтобы как-то забыться или скрыть свое раздражение. В глубине души он вовсе не желал оставлять тепленькое местечко, от-

казаться от комфорта и стабильности. Он предпочитал поддерживать этот status quo, даже вопреки собственному внутреннему дискомфорту.

После короткого курса лечения больной бросил пить и считал себя вполне здоровым. Но, я предупредил его: «Нет гарантии, что вы не вернетесь к прежнему состоянию, если окажетесь в привычной ситуации». Он не поверил мне, поскольку чувствовал себя хорошо, и уехал в Америку.

Но стоило ему вновь ощутить материнскую опеку, все вернулось на свои места. Теперь в Швейцарию прибыла его мать и обратилась ко мне за консультацией. В этой неглупой женщине я сразу ощутил какую-то прямо-таки дьявольскую силу. Понял, с чем приходилось бороться ее сыну, осознал, что у него нет шансов. Он был хрупкого сложения и даже физически не выдерживал сравнения с матерью. Я решил на насильственный шаг: сказал матери, что алкоголизм ее сына напрямую связан с тем постом, который он занимает, и порекомендовал его уволить. Мать приняла мой совет — сын, естественно, был вне себя.

Подобный поступок в нормальной ситуации считается неэтичным — врач не должен позволять себе такое. Но я знал, что вынужден был пойти на это ради самого пациента.

Как сложилась его дальнейшая жизнь? Расставание с матерью позволило его собственной индивидуальности раскрыться в полной мере. Он сделал блестящую карьеру — вопреки, а может быть, благодаря моему «лечению». Чувство благодарности его жены ко мне невозможно передать: ее муж не только справился с алкоголизмом, но и нашел себя, свою собственную дорогу, причем сделал это чрезвычайно успешно.

Тем не менее некоторое время меня мучило чувство вины перед этим человеком — диагноз был поставлен за его спиной. Но я был твердо убежден, что только так — насильственным образом — возможно помочь ему. И он действительно излечился от невроза.

\* \* \*

У меня был еще один аналогичный случай, который я вряд ли когда-нибудь забуду. Ко мне обратилась дама, отказавшись назвать себя. Он заявила, что хочет только проконсультироваться. Похоже, она принадлежала к высшим кругам общества. По ее словам, она тоже была врачом. То, что я услышал от нее, было признанием: около 20 лет назад она совершила убийство — отравила свою лучшую подругу, потому что была влюблена в ее мужа. Ей казалось, что раз убийство не раскрыто, то оно не имеет никакого значения. Она мечтала выйти замуж за мужа подруги и нашла, как ей думалось, простейший путь — убийство. Таков был мотив, а моральная сторона дела ее не волновала.

И что же? Она действительно вышла замуж за этого молодого человека, но он вскоре умер. Но позже с ней стали происходить странные вещи. Дочь от этого брака оставила ее, едва повзрослев. Она рано вышла замуж и старалась не встречаться с матерью. Наконец она вовсе исчезла из поля зрения матери — утратила с ней всякий контакт.

Эта дама владела несколькими скаковыми лошадьми. Увлечение верховой ездой поглощало ее полностью. И вот в какой-то момент она обнаружила, что лошади под ней начинают нервничать, даже ее любимец однажды сбросил ее. В итоге ей пришлось отказаться от верховой езды. Привязанность к собакам не принесла ей облегчения. У нее был замечательный волкодав, которого она просто обожала. И снова удар судьбы: именно эту собаку разбил паралич. Это стало последней каплей: она почувствовала, что «морально разбита»; ей нужно было кому-то исповедаться, и она пришла ко мне. Она была убийцей, но не только: она стала и самоубийцей, потому



что тот, кто совершил преступление, разрушает и свою душу. Убийца судит себя сам. Когда преступление, раскрыто, преступник несет наказание согласно закону. Если преступление осталось тайной и человек совершил его без нравственных колебаний, наказание все равно настигнет его, о чем и свидетельствует этот случай, — просто оно придет днем позже. Нередко бывает, что животные и растения знают о преступлении.

Из-за убийства от этой женщины отвернулись даже ее животные. Не в силах вынести одиночества, в котором она оказалась, эта женщина, чтобы как-то справиться с ним, сделала меня своим исповедником. Она искала человека нейтрального, без предрассудков, который не был бы убийцей, кому она могла бы признаться и тем самым восстановить утраченную связь с людьми. Она нуждалась во враче больше, нежели в священнике, испытывая страх, что последний выслушает ее из чувства долга, но в душе вынесет моральный приговор. Она видела, что люди и животные отвернулись от нее, и была настолько подавлена, что не могла более выносить это проклятие.

Я так и не узнал, кто она, и даже не знаю, правдива ли ее история. Временами вспоминая об этом, я размышлял, что с ней стало, ведь на нашей встрече история не закончилась. Возможно, она покончила с собой. Не могу себе представить, что можно жить дальше в таком предельном одиночестве.

\* \* \*

Клинические диагнозы важны, поскольку каким-то образом ориентируют врача, но помочь пациенту они не могут. Все зависит от «истории» последнего, ибо только она способна выявить внутренние причины человеческого поведения и человеческих страданий и только она открывает возможность эффективного лечения. Вот еще один случай, который служит достаточно убедительным доказательством.

Речь идет об одной 75-летней пациентке, которая с 40 лет находилась в клинике. Не осталось уже никого, кто бы мог вспомнить, при каких обстоятельствах она сюда попала. Все, кто был при этом, умерли, лишь старшая сестра, которая работала здесь 35 лет, что-то смутно припоминала. Старушка не могла говорить и ела исключительно полужидкую и протертую пищу, причем ела руками — из ладошки. Иногда она тратила почти два часа на то, чтобы выпить чашку молока. Во время еды ее руки как-то странно и ритмично двигались, смысл этих движений был абсолютно неясен. Я был поражен тем, насколько разрушительно сказалась на ней болезнь, но объяснить этого не мог. На лекциях в клинике ее обычно представляли как пример кататонической формы *dementia praecox*, но мне это ничего не говорило. Этот диагноз никоим образом не проливал свет на смысл и происхождение ее странных жестов.

Мои впечатления от этого случая характеризуют мой взгляд на тогдашнюю психиатрию. Став ассистентом, я совершенно не представлял, зачем вообще нужна психиатрия. Мне было крайне неловко рядом с моим научным руководителем и коллегами, которые, казалось, ни в чем не сомневались, тогда как я блуждал в потемках. Главную задачу психиатрии я видел в объяснении явлений, происходивших в сознании больного, явлений, о которых я еще ничего не знал. Выходило, что я занимаюсь делом, смысла которого мне не дано постичь.

Однажды, во время вечернего обхода, я вновь обратил внимание на старушку с загадочными жестами и вновь спросил себя: «Что бы это значило?» Я зашел к старшей сестре и постарался выяснить, всегда ли пациентка так вела себя. «Да, — отвечала та, — но моя предшественница рассказывала, что когда-то эта старушка воображала себя сапожником». Я вновь перелистал пожелтевшую историю ее болезни и действительно нашел там подтверждающую запись. Раньше сапожники зажимали

обувь между коленями и тянули дратву через кожу именно такими движениями. (Даже сегодня можно увидеть, как это делают деревенские сапожники.) Вскоре старушка умерла и на похоронах я увидел ее старшего брата. «Как заболела ваша сестра?» — спросил я его. Он рассказал, что в молодости она была влюблена в сапожника, и когда тот по какой-то причине не захотел на ней жениться, она «свихнулась». И до конца своих дней она повторяла движения сапожника, чтобы продлить свою связь с возлюбленным.

Именно тогда у меня появились первые подозрения о психологических предпосылках так называемой *dementia praecox*, и я все свое внимание направил на выяснение смысловой обусловленности психозов.

\* \* \*

Мне вспоминается другая пациентка, история которой прояснила для меня значение психологических причин психоза и прежде всего «бессмысленных» галлюцинаций. Тогда же я впервые стал понимать «бессмысленный» язык шизофреников. Речь идет о Бабетте З., историю которой я уже однажды описывал. В 1908 году в Цюрихе я сделал доклад об этом.

Больная жила раньше в старой части города, в узком и грязном переулке. Она росла в нищете. Ее сестра была проституткой, отец — алкоголиком. В 39 лет Бабетта заболела параноидной формой *dementia praecox* с характерной манией величия. Она находилась в клинике уже 20 лет, когда я впервые увидел ее. Сотни студентов изучали на ее примере тяжелые последствия психического расстройства, она представляла собой классический случай. Бабетта была абсолютно сумасшедшая и, как правило, несла всякую околесицу. Любая попытка понять ее изначально казалась бессмысленной. Я приложил немало усилий, чтобы прояснить для себя смысл ее безумных построений. Например, она говорила: «Я — Лорелея», и когда врач спрашивал у нее, что это значит, обычно отвечала: «Я не знаю». Или она могла пожаловаться: «Я как Сократ». Это, насколько я понял, должно было значить: «Меня, как Сократа, несправедливо обвиняют». Совершенно абсурдные высказывания, вроде: «Я — двойной незаменимый политехникум», или «Я — сливовый пирог, приготовленный из гречневой муки и кукурузных зерен», или «Я — Германия и Швейцария исключительно на нежном масле», «Неаполь и я — мы должны обеспечить всех макаронами» — все это означало ее высокую самооценку, то есть компенсацию определенного чувства собственной неполноценности.

Занимаясь Бабеттой и другими сходными случаями, я убедился, что многое из того, что говорили больные и что до сих пор считалось бессмысленным, вовсе не так «безумно», как кажется на первый взгляд. Не раз я замечал, что даже у таких пациентов всегда как бы в тени прячется их эго, которое можно считать относительно нормальным. Эго в какой-то мере наблюдает со стороны. Временами — вслух или про себя — оно делает вполне разумные замечания или оговорки, более того, иногда, например при серьезных физических поражениях, оно может снова выдвинуться на передний план, тогда пациент производит впечатление почти нормального.

У меня была пациентка — старая женщина, страдавшая шизофренией, у которой нормальное эго проявлялось довольно отчетливо. Ей требовалось не столько лечение, сколько уход. Как у любого врача, у меня были безнадежные больные, которым можно было лишь облегчить путь к смерти. Эта женщина слышала голоса, они звучали во всем ее теле, и голос в ее груди был «Божьим гласом». «Мы должны полагаться на этот голос», — сказал я ей, и сам удивился своей дерзости. Этот голос был относительно разумен, и с его помощью мне как-то удавалось справляться с пациенткой. Однажды голос предложил: «Пусть он почитает с тобой Библию!» Больная принесла старую, зачитанную Библию, я каждый раз поручал ей прочитать одну

главу. При следующей встрече я экзаменовал ее по заданной главе. Эти библейские чтения продолжались почти 7 лет, раз в 2 недели. Вначале я чувствовал себя неловко в этой роли, но спустя некоторое время понял, что означают наши уроки. Они помогали держать внимание больной в постоянном напряжении, не позволяя ему погружаться в разрушительный хаос бессознательного. В результате через 6 лет голоса, которые прежде звучали повсюду, остались лишь в левой половине ее тела, в то время как правая — совершенно освободилась от них. При этом интенсивность явлений в левой части не удвоилась, а осталась прежней. Можно сказать, что пациентка по крайней мере наполовину вылечилась. Я не ожидал такого успеха и даже представить себе не мог, что наши чтения могли иметь какой-то терапевтический эффект.

Моя практика работы с больными позволила мне понять, что бред и галлюцинации, как правило, содержат некоторое разумное зерно. За ними стоит личность, ее история, ее надежды и желания. И если мы не находим в этом смысла, то, видимо, дело в нас — нашем нежелании понять и неумении объяснить. За психозом, я считаю, стоит общая психология личности. Мы находим здесь все те же вечные человеческие проблемы. Больной может казаться тупым, апатичным, вялым или совершенно слабоумным, но это лишь видимость. При детальном изучении в основе умственных расстройств мы не обнаружим ничего нового и неожиданного, а столкнемся с теми же вещами, которые лежат в основе нашего собственного существования. И это открытие имело для меня огромное значение.

Я всегда поражался, почему психиатрии потребовалось столько времени, чтобы проникнуть в содержание психозов. Причем никто почему-то и вопроса себе не задавал, что означают фантазии больных, почему фантазия одного совершенно отлична от фантазии другого: один, например, воображает, что его преследуют иезуиты, другой убежден, что его хотят отравить евреи, а третий — что его разыскивает полиция. Игру больного воображения не принимали всерьез, все это называя «манией преследования». Точно так же меня удивляет, что мои тогдашние исследования почти забыты в наши дни. Уже в начале века я использовал психотерапевтические методы при лечении шизофрении, — это не сегодняшнее открытие. На самом же деле потребовалось много времени, прежде чем медики осознали необходимость применять психологию при лечении душевных заболеваний.

Работая в клинике, я был очень осторожен с пациентами-шизофрениками, иначе меня непременно обвинили бы в заведомой фальсификации. Шизофрения, или, как ее тогда называли, *dementia praecox*, считалась неизлечимой. Если же кто-то добивался успеха в лечении таких больных, считалось, что это была не шизофрения.

Когда Фрейд в 1908 году посетил меня в Цюрихе, я продемонстрировал ему случай Бабетты. После он сказал: «Знаете, Юнг, то, что вы узнали об этой пациентке, безусловно, очень интересно. Но как вы могли убить столько времени на общение с такой феноменально безобразной женщиной?» Я растерялся, подобная мысль ни разу не приходила мне в голову. Я считал ее милой старушкой с необыкновенно богатыми галлюцинациями, и она говорила такие интересные вещи. Я радовался, когда сквозь туман гротесковой нелепицы проглядывало человеческое существо. Вылечить Бабетту было невозможно — слишком давно она болела. Но ведь были у меня и другие случаи, когда подобным образом, вникая во все подробности, удавалось добиваться существенного улучшения.

\* \* \*

Если наблюдать душевное расстройство со стороны, то мы увидим лишь трагедию разрушения личности, нам редко удается рассмотреть жизнь той стороны души, которая отвернулась от нас. Внешность зачастую обманчива, в чем я не без удивления убедился на случае с одной молодой пациенткой, страдающей кататонией. Это была

восемнадцатилетняя девушка из интеллигентной семьи. В 15 лет ее совратил брат, потом изнасиловал одноклассник. С 16 лет она совершенно замкнулась. Девушка отвернулась от людей, единственным живым существом, к которому она привязалась, была соседская сторожевая собака. Она вела себя все более странно, и в 17 лет была помещена в психиатрическую клинику, где провела полтора года. Ее беспокоили голоса, она отказывалась от пищи, ни с кем не разговаривала и в конце концов впала в характерное кататоническое состояние. Такой я впервые ее увидел.

Только спустя несколько недель мне удалось ее разговорить. Не без внутреннего сопротивления она призналась, что жила на Луне. Луна, в ее воображении, была обитаема, но сначала ей встречались там только мужчины. Они увели ее с собой, переместив в некую «подлунную» обитель, где находились их жены и дети. Причиной «подлунного» их существования был вампир, поселившийся высоко в горах. Он похищал женщин и детей и убивал их.

Моя пациентка решила помочь обитателям Луны и придумала, как ей уничтожить вампира. После долгих приготовлений она стала стеречь его на площадке башни, построенной специально для этой цели. В одну из ночей над ней появилась огромная черная птица. Девушка схватила длинный жертвенный нож, спрятала его в складках платья и стала ждать. И вот вампир предстал перед ней. У него было несколько пар крыльев, закрывавших лицо и фигуру так, что кроме перьев она не видела ничего. Пораженная — ей нестерпимо захотелось увидеть его, — она двинулась к нему, сжимая рукоять ножа. В этот момент крылья распахнулись и перед ней предстал юноша неземной красоты. Своими крылатыми руками он стиснул ее так, что нож выпал из рук, взгляд вампира буквально зачаровал девушку, и она не могла нанести удара. Он легко поднял ее над землей и взмыл вверх.

После этой «исповеди» пациентка вновь смогла свободно общаться. Но чуть позже опять возникли трудности. Возвратиться на Луну я ей, кажется, помешал, но земной мир показался ей уродливым и неприятным. Зато на Луне все прекрасно, и жизнь там полна смысла. Несколько позже у больной произошел рецидив кататонии, на какое-то время она даже впала в буйство.

Через несколько месяцев она выписалась. С ней уже можно было разговаривать, и она постепенно привыкала к мысли о неизбежности земного существования. Но преодолеть отчаянное внутреннее сопротивление она не смогла, и ее снова пришлось поместить в клинику. Однажды я зашел к ней в палату и сказал: «Помочь вам невозможно, боюсь, на Луну вы уже не вернетесь!» Она приняла это молча и безучастно. Вскоре она выписалась и, казалось, примирилась со своей судьбой, устроившись работать няней в каком-то санатории. Тамшний ассистент довольно неосторожно попытался сблизиться с ней, и она чуть не застрелила его из револьвера. К счастью, рана оказалась легкой. При этом выяснилось, что револьвер у нее был всегда при себе. Перед самой выпиской она сказала мне об этом и на мой удивленный вопрос ответила: «А я застрелила бы вас, если бы вы подвели меня!»

Когда улеглись неприятности, связанные с ее выстрелом, пациентка вернулась в свой город. Она вышла замуж, родила нескольких детей, пережила две мировые войны. Болезнь ее больше не возвращалась.

Как и чем были вызваны ее фантазии? Из-за инцеста она ощущала себя униженной и только в мире фантазий обретала чувство собственного достоинства. Она переживала своего рода миф, а инцест в мифологии традиционно считается прерогативой королей и богов. Следствием стал психоз и совершенное отчуждение от мира. Девушка создала своего рода *extramunde* (отдельный мир. — *лат.*) и утратила всякую связь с людьми, пребывая где-то в космических далях, где встретила крылатого демона. В период, когда я ее лечил, этот образ, как обычно бывает в подобных слу-

чаях, у нее идентифицировался со мной. На меня была автоматически перенесена угроза смерти, как, впрочем, и на любого другого, кто стал бы уговаривать ее вернуться к нормальной человеческой жизни. Раскрыв мне тайну о демоне, она как бы предала его и тем самым установила связь с земным человеком. Потому она смогла вернуться к жизни и даже выйти замуж. С тех пор я стал смотреть на душевнобольных людей по-другому. Теперь я понимал, сколь насыщена их внутренняя жизнь.

\* \* \*

Меня часто спрашивают о моем психотерапевтическом или психоаналитическом методе. Здесь трудно ответить однозначно, каждый случай диктует свою терапию. Когда я слышу от какого-нибудь врача, что он «строго придерживается» того или иного метода, у меня возникают сомнения в успехе его лечения. В литературе тогда так много говорилось о внутреннем сопротивлении больного, что можно подумать, будто врач силой пытается ему нечто навязать, тогда как лечение и выздоровление должно происходить естественно, само собой. Психотерапия и психоанализ предполагают индивидуальный подход к каждому. Каждого пациента я лечил единственно возможным для него образом, потому что решение проблемы всегда индивидуально. Общее правило можно принять только *cum grano salis* (с известной оговоркой. — *лат.*). Истина в психологии лишь тогда имеет ценность, когда ей возможно найти применение. Поэтому неприемлемое для меня решение вполне может подойти для кого-то другого.

Конечно, врач должен владеть так называемыми «методами», но ему следует быть чрезвычайно осмотрительным, чтобы не пойти по привычному, рутинному пути. Вообще нужно с некоторой опаской относиться к теоретическим спекуляциям — сегодня они кажутся удовлетворительными, а завтра их сменят другие. Для моего психоанализа подобные вещи ничего не значат, я намеренно избегаю педантизма в этих вопросах. Для меня прежде всего существует индивидуум и индивидуальный подход. И для каждого пациента я стараюсь найти особый язык. Поэтому одни говорят, что я следую Адлеру, другие — что Фрейду.

А принципиально лишь то, что я обращаюсь к больному как человек к другому человеку. Психоанализ — это диалог, и он требует партнерства. Психоаналитик и пациент сидят друг против друга, глаза в глаза. И врачу есть что сказать, и больному — в той же степени.

Поскольку суть психотерапии не в применении какого-то определенного «метода», то одних специальных психиатрических знаний здесь явно недостаточно. Я очень долго работал, прежде чем смог набрать необходимый багаж. Уже в 1909 году мне стало ясно, что лечить скрытые психозы я не смогу, если не пойму их символики. Так я начал изучать мифологию.

В работе с интеллектуально развитыми и образованными пациентами психиатру мало одних профессиональных знаний. Кроме всякого рода теоретических положений он должен выяснить, чем на самом деле руководствуется пациент, иначе преодолеть его внутреннее сопротивление невозможно. В конце концов, главное не в том, подтвердилась ли та или иная теория, а в том, что представляет собой больной, каков его внутренний мир. Последнее не поддается пониманию без знания привычной для него среды со всеми ее установлениями и предрассудками. Одной лишь медицинской подготовки недостаточно еще и потому, что пространство человеческого сознания безгранично и вмещает оно гораздо больше, нежели кабинет психиатра.

Человеческая душа безусловно более сложна и менее доступна для исследования, нежели человеческое тело. Она, скажем так, начинает существовать в тот момент, когда мы начинаем осознавать ее. Поэтому здесь сталкиваешься с проблемой не

только индивидуального, но и общечеловеческого порядка, и психиатру приходится иметь дело со всем многообразием мира.

Сегодня, как никогда прежде, становится очевидным, что опасность, всем нам угрожающая, исходит не от природы, а от человека, она коренится в психологии личности и психологии массы. Психическое расстройство представляет собой грозную опасность. От того, правильно или нет функционирует наше сознание, зависит все. Если определенные люди сегодня потеряют голову, завтра будет взорвана водородная бомба!

Но психотерапевт должен понимать не только своего пациента, в такой же степени он должен понимать и себя. Поэтому — *conditio sine qua non* (необходимое условие. — *лат.*) — не менее важным является обучение собственно анализу, или так называемому тренировочному психоанализу, тому, что можно назвать «Врачу, исцелился сам». Только в том случае, если врач способен справиться с собственными проблемами, он может научить этому пациента. И только так! В ходе тренировочного анализа аналитик должен постичь свою собственную психику и проделать это со всей серьезностью. Если сам он с этим не справится, пациенту он ничего не даст. Не сумев объяснить себе какую-то часть своего сознания, психотерапевт точно так же теряет часть сознания пациента. Поэтому в тренировочном психоанализе недостаточно руководствоваться некоей системой понятий. Психоаналитик должен уяснить прежде всего для себя, что анализ имеет самое прямое отношение к нему самому, что этот анализ — часть реальной жизни, а никакой не метод, и его нельзя (в буквальном смысле!) заучить наизусть. Врача, терапевта, который не осознал этого в процессе собственного тренировочного анализа, в будущем ждут неудачи.

При том что существует так называемая «малая психотерапия», собственно психоанализ требует всего человека, без каких бы то ни было ограничений, будь то врач или пациент. Бывают случаи, когда врач не в состоянии помочь больному, пока не ощутит себя соучастником его драмы, пока не избавится от груза собственной авторитарности. При серьезных кризисах, в экстремальных ситуациях, когда решается вопрос «быть или не быть», не помогают всякие там гипнотические фокусы, здесь испытанию подвергаются внутренние духовные ресурсы врача.

Терапевт должен ежеминутно отслеживать то противостояние, которое возникает у него с пациентом. Ведь наши реакции обусловлены не только сознанием. Мы постоянно должны задаваться вопросом: «А каким образом переживает эту ситуацию мое бессознательное?» Нужно стараться понять собственные сны и самым пристальным образом изучать себя — с тем же вниманием, с каким мы изучаем пациента, иначе мы рискуем пойти по ложному пути. Я попытаюсь показать это на примере.

У меня была пациентка, очень развитая в умственном отношении женщина, но по ряду причин мне не удавалось установить с ней тесный контакт. Сперва все шло хорошо, но через какое-то время у меня возникло впечатление, что я не совсем верно толкую ее сны, что наши беседы принимают все более расплывчатый характер. Я решил обсудить это с ней, тем более что и она не могла не почувствовать что-то неладное.

Ночью, накануне очередного сеанса, мне приснился сон. Я шел по проселку через залитую предвечерним солнцем долину. Справа от меня возвышался крутой обрывистый холм. Наверху был замок, на самой высокой башне которого, на чем-то вроде балюстрады, сидела женщина. Чтобы хорошенько разглядеть ее, мне пришлось запрокинуть голову. Проснулся я от судорожной боли в затылке. Еще во сне я узнал в этой женщине свою пациентку.

И сразу все стало на свои места: если во сне мне пришлось смотреть на пациентку снизу вверх, то в действительности я, похоже, смотрел на нее свысока. Ведь сны — это компенсация сознательной установки. Я рассказал ей этот сон, объяснив его смысл. Ситуация мгновенно переменялась, и процесс лечения опять вошел в свое нормальное русло.

Как врач, я все время задавал себе вопрос, какую «весть» несет мой пациент? Что она означает? Коль для меня это ничего не значит, то я не смогу найти точку приложения своих сил и, естественно, ничем не смогу помочь больному. Лечение дает эффект лишь тогда, когда сам врач чувствует себя задетым. Лишь «уязвленный» исцеляет. Если же врач — «человек в панцире», он бессилён. Так было и в случае, который я привел. Возможно, я был поставлен перед такой же проблемой, что заставило меня серьезно отнестись к пациентке. Нередко бывает, что больной чувствует уязвимые места самого врача, и он способен ему помочь. Так возникают щекотливые ситуации — и для врача тоже, или, точнее, — именно для врача.

Каждый терапевт должен находиться под контролем некоего «третьего», тем самым он обретает еще одну, иную точку зрения. Даже Папа имеет своего духовника. Я всегда советую психоаналитикам: «Ищите себе исповедника или исповедницу!» Для этой роли лучше подходят именно женщины, они часто обладают особой интуицией, им ведомы все слабые стороны мужчины и все происки его анимы. Они проницательны, как гадалки на картах, и видят то, о чем мужчины даже не догадываются. Вероятно, поэтому еще ни одной женщине не приходило в голову считать собственного мужа сверхчеловеком!

\* \* \*

Если у кого-либо развивается невроз, то его обращение к психоаналитику вполне понятно и обоснованно, но для «нормального» человека в этом вроде бы нет никакой необходимости. Однако я должен отметить, что с так называемой «нормальностью» мне приходилось проделывать удивительнейшие опыты. Таким совершенно «нормальным» человеком был один из моих учеников. Сам он был врачом и пришел ко мне с отличными рекомендациями от моего давнишнего коллеги, у которого работал ассистентом и практика которого позже перешла к нему. У этого человека была нормальная карьера, нормальная практика, нормальная жена, нормальные дети, жил он в нормальном доме и в нормальном небольшом городе, он получал нормальные деньги и, вероятно, нормально питался! Но ему захотелось стать психоаналитиком. Я тогда сказал ему: «Знаете ли вы, что это значит? А значит это вот что: прежде всего вы должны понять самого себя. Если же с вами не все в порядке, что же говорить о вашем пациенте? Если вы не убеждены сами, как вы сможете убедить пациента? Вы сами — свой инструмент. И вы сами — свой материал. В противном же случае — сохрани вас Бог! Вы просто обманете пациента. Итак, вы должны начать с себя!» Он не возражал, но тотчас же заявил: «У меня нет проблем, мне нечего рассказать вам!» Меня это насторожило. Я сказал ему: «Ну что ж, давайте тогда займемся вашими сновидениями». Он ответил: «Я не вижу снов». Я: «Ничего, скоро увидите». Другому на его месте, вероятно, уже на следующую ночь что-нибудь да приснилось бы, он же не мог вспомнить ничего. Так продолжалось недели две, и мне даже стало как-то не по себе.

Наконец ему приснился примечательный сон. Он ехал по железной дороге. Поезд на два часа остановился в каком-то неизвестном ему городе. Он захотел посмотреть его и направился к центру. Там он увидел средневековое здание — похоже, это была ратуша — и зашел внутрь. Он бродил по длинным коридорам, заходил в прекрасные залы, где на стенах висели старинные картины и гобелены. Повсюду стояли дорогие антикварные вещи.

Внезапно он заметил, что уже стемнело. «Нужно возвращаться на вокзал», — подумал он и вдруг сообразил, что заблудился и не знает, где выход. В панике он бросился в разные стороны, но не встретил ни единого человека. Это было и странно, и страшно. Он пошел быстрее, надеясь хоть кого-нибудь встретить. Но никого не было. Затем он набрел на большую дверь и с облегчением подумал: вот выход. Но открыв ее, он попал в огромный зал, где было так темно, что нельзя было разглядеть стены напротив. Перепуганный, он побежал через этот зал, решив, что на противоположной стороне есть дверь и он сможет выйти. Вдруг он увидел прямо в центре зала на полу что-то белое. Он подошел ближе и обнаружил ребенка лет двух с признаками идиотизма на лице. Ребенок сидел на горшке и обмазывал себя фекалиями. В этот момент он закричал и в ужасе проснулся.

Итак, все необходимое я узнал, — это был скрытый психоз! Должен заметить, что я сам вспотел, пытаясь как-то отвлечь его от этих болезненных образов. Я старался говорить бодрым голосом и представить все как можно более благополучным образом, не вдаваясь в детали.

Сон означал приблизительно следующее: путешествие, в которое он отправился, — его поездка в Цюрих. Но он пробыл там недолго. Ребенок, обмазывающий себя фекалиями, — он сам. Такие вещи с маленькими детьми не часто, но иногда случаются. Фекалии, их цвет и запах вызывают у них определенный интерес. Городской ребенок, да еще воспитанный в строгих правилах, легко может вспомнить такую свою провинность.

Но сновидец не был ребенком, он — взрослый человек. Потому главный образ его сновидения показался мне зловещим знаком. Когда он пересказал мне свой сон, я понял, что его «нормальность» имела компенсаторную природу. Это всплыло как раз вовремя — его скрытый психоз мог вот-вот проявиться. Это нужно было предотвратить. Я попытался перевести разговор на какой-то другой сон и тем самым неловко замял этот неудачный опыт тренировочного анализа. Мы оба были рады покончить с этим. Я не стал говорить с ним о своем диагнозе, но он вероятно ощутил приближение панического страха, ему снилось, что его преследует опасный маньяк. Вскоре он уехал домой и больше никогда не делал попыток заглянуть в свое подсознание. Его демонстративная «нормальность» находилась в конфронтации с его подсознанием, обратная тенденция привела бы не столько к развитию, сколько к разрушению его личности. Такие скрытые психозы — «*betes noires*» (кошмар. — *фр.*) психотерапевтов, зачастую их очень трудно распознать. И в этих случаях многое зависит от толкования сновидений.

Итак, мы остановились на проблеме «любительского» психоанализа. Тот факт, что люди, далекие от медицины, изучают психотерапию и занимаются ею, можно только приветствовать, но в случаях со скрытыми психозами им очень легко ошибиться. Ничего не имею и против того, чтобы дилетанты занимались психоанализом, но при условии, что они это делают под контролем специалиста. В каждом сомнительном случае совет последнего им просто необходим. Даже врачу трудно бывает распознать скрытую шизофрению и подобрать соответствующее лечение, а тем более сложно это для непрофессионала. И тем не менее мой опыт свидетельствует: непрофессионалы, которые годами занимаются психотерапией и сами проходили курс психоанализа, кое-что знают и кое-что могут. Кроме того, практикующих психотерапевтов-медиков не так уж много. Это требует длительной и основательной подготовки, достаточно широких, а не только специальных, знаний — таким багажом обладают немногие.

\* \* \*



Отношения между врачом и пациентом, особенно когда они строятся по направлению от пациента к врачу или когда пациент бессознательно отождествляет себя с врачом, такие отношения иногда порождают явления парапсихологического характера. Я сам часто сталкивался с подобным. В моей памяти остался случай с пациентом, которого я вывел из состояния психогенной депрессии. Он вернулся домой и женился. Однако жена его мне не понравилась, после нашего знакомства мне стало как-то не по себе. Я заметил, что мое влияние на ее мужа и то чувство благодарности, которое он ко мне испытывал, — для нее как кость в горле. Так бывает, когда женщина на самом деле не любит мужа — она ревнует его к друзьям и старается разрушить его дружбу с кем бы то ни было. Такая женщина хочет, чтобы муж принадлежал ей всецело, и именно потому, что сама она мужу не принадлежит. В основе любой ревности я вижу недостаток любви.

Отношение жены было невыносимо тягостным для моего пациента. Через год после женитьбы, скорее всего, из-за этого, он снова впал в депрессию. Я предполагал, что такое может случиться, и условился с ним, что он сразу же свяжется со мной, как только заметит в своем состоянии что-то неладное. Но он не сделал этого, отчасти из-за насмешек жены, не известил меня.

В то время я был в Б., выступал там с лекцией. Вернувшись в гостиницу около полуночи, я посидел немного с друзьями и пошел спать, но заснуть никак не мог. Часа в два ночи, едва начав засыпать, я пробудился от страха: мне показалось, будто кто-то зашел в комнату, резко открыв дверь. Я тотчас зажег свет, но все было в порядке. Решив, что кто-то перепутал двери, я выглянул в коридор. Но там стояла мертвая тишина. «Странно, — подумал я, — ведь кто-то же заходил в комнату!» Я лег, стараясь припомнить, что же случилось, и понял, что проснулся от боли, — как если бы что-то, ударив меня по лбу, затем отозвалось тупой болью в затылке. Назавтра мне принесли телеграмму: мой пациент покончил с собой. Он застрелился. Позже я узнал, что пуля застряла у него в затылке.

Этот опыт — настоящий феномен синхронности, подобная связь нередко возникает в архетипических ситуациях, здесь такой ситуацией была смерть. Время и пространство относительны, и вполне возможно, что бессознательно я ощутил то, что в действительности случилось совсем в другом месте. Коллективное бессознательное присуще всем, оно лежит в основе того, что древние называли «связью всего со всем». В этом случае мое бессознательное знало о состоянии моего пациента. В тот вечер я испытывал странное беспокойство и нервозность, что мне обычно несвойственно.

Я никогда не пытался склонить или принудить к чему-либо своих пациентов. Важнее всего было, чтобы пациент сам определился в своих установках. Пусть язычник остается язычником, христианин — христианином, иудей — иудеем, как определила ему судьба.

Мне запомнился случай с одной еврейкой, которая отошла от своей религии. А началось все с моего сна, в котором ко мне обратилась неизвестная девушка и стала рассказывать мне о своих проблемах. И пока она говорила, я думал: «Я ее совсем не понимаю. Я совершенно не понимаю, в чем дело». Но внезапно мне пришло в голову, что у нее особого рода отцовский комплекс. Таков был мой сон.

На следующий день в моей регистрационной книге я нашел запись: консультация на 4 часа. Пришла девушка. Она была дочерью богатого еврейского банкира, хорошенькая, элегантная и неглупая. Она уже обращалась к психоаналитику, но тот влюбился в нее и попросил больше не приходить — это могло разрушить его семью.

Девушка не один год переживала невротические страхи, а после неудачного опыта с психоаналитиком ее состояние ухудшилось. Я начал с анамнеза, но не обнаружил

ничего особенного. Она была вполне ассимилированной еврейкой, европеизированной и утонченной. Поначалу я ничего не понимал, пока мне не вспомнился мой сон. «Бог мой, — подумал я, — да это же та самая девушка». Однако мне не удалось обнаружить у нее ни малейших признаков отцовского комплекса, и я попросил ее, как всегда делаю в подобных случаях, рассказать про своего деда. В какой-то момент она закрыла глаза, и я тотчас понял, что попал в точку. С ее слов выяснилось, что дед ее был раввином и принадлежал к какой-то секте. «Вы полагаете, он был хасидом?» — спросил я. Она кивнула. Я продолжал: «Он был раввином, а не был ли он цадиком?» — «Да, — ответила она, — говорили, что он был в своем роде святой и еще ясновидящий. Но это же совершенная чушь. Такого быть не может!»

Итак, с историей ее невроза уже все было понятно. Я сказал ей: «Теперь я сообщу вам нечто такое, с чем вы, возможно, не согласитесь. Ваш дед был цадиком. А ваш отец отказался от своей религии, он выдал тайну и забыл Бога. И ваш невроз — это страх перед Богом». Она была потрясена.

В следующую ночь я снова увидел сон. У меня в доме собрались гости и среди них моя маленькая пациентка. Она подходит ко мне и спрашивает: «Нет ли у вас зонтика? Идет такой сильный дождь». Я нахожу зонт, неуклюже пытаюсь открыть его и уже собираюсь отдать ей. Но что это? Я опускаюсь перед ней на колени, словно перед божеством.

Я рассказал ей об этом сне, и через неделю ее невроз исчез. Сон объяснил мне, что за внешними проявлениями, за легким покровом, скрыта некая сакральность. Но сознание девушки не было мифологическим, и потому ее глубинная сущность не могла себя выразить. Вся ее сознательная жизнь уходила на флирт, секс и наряды, но лишь потому, что она не знала ничего другого. Ей хватало здравого смысла, и жизнь ее была бессмысленна. Но в действительности она была Божье дитя, и ей предстояло исполнить Его тайную волю. Я видел свою задачу в том, чтобы пробудить в ней религиозное и мифологическое сознание, поскольку она принадлежала к тому типу людей, которым необходима некая духовная работа. Таким образом, в ее жизни появился смысл, и от невроза не осталось следа.

В этом случае я не прибегал к какому-либо определенному «методу», поскольку чувствовал присутствие нумена. Я вылечил пациентку, объяснив ей это. Дело здесь было не в «методе», а в «страхе Божьем».

Мне часто приходилось видеть, как люди становились невротиками, оттого что довольствовались неполными или неправильными ответами на те вопросы, которые ставила им жизнь. Они искали успеха, положения, удачного брака, славы, а оставались несчастными и мучались от неврозов, даже достигнув всего, к чему так стремились. Этим людям не хватает духовности, жизнь их обычно бедна содержанием и лишена смысла. Как только они находят путь к духовному развитию и самовыражению, невроз, как правило, исчезает. Поэтому я всегда придавал столько значения самой идее развития личности.

Мои пациенты, как правило, люди, утратившие веру. Ко мне приходят «заблудшие овцы». Церковь и сегодня живет символикой. Вспомним хотя бы причастие и крещение, разного рода обозначения Христа и т. д. Но такое переживание символа предполагает воодушевленное соучастие верующего, то, чего сегодня так часто не хватает людям. А невротикам этого не хватает практически всегда. В итоге приходится ждать, не появятся ли бессознательно спонтанные символы взамен отсутствующих. Но и тогда остается вопрос: способен ли человек воспринимать соответствующие сны и видения, понять их смысл и отвечать за последствия?

Похожий случай я описал в работе «Об архетипах коллективного бессознательного». Некий человек, он был теологом, часто видел один и тот же сон. Ему снилось,

что он стоит на склоне, а далеко внизу открывается прекрасная долина. Во сне он знал, что там есть озеро, но что-то всегда удерживало его, мешало спуститься. Тем не менее однажды он решился. По мере приближения к озеру ему все больше становилось не по себе. Вдруг легкий порыв ветра прошел по поверхности воды, подняв темную рябь. Он проснулся от ужаса и собственного крика.

Поначалу этот сон казался неясным. Но как теолог он должен был вспомнить это озеро, воды которого покрылись рябью от внезапного ветра, воды которого исцеляли страждущих, — это купальня у Вифсаиды. Ангел спустился на воды, и они обрели целительную силу. Легкий ветер был Духом, что веет, где хочет. Отсюда смертельный страх сновидца — он происходил от неясного присутствия Духа, что живет Своей жизнью, и это ощущение чего-то невидимого рядом способно напугать человека до дрожи. Но мой пациент не пожелал признать, что видел во сне купальню у Вифсаиды. Он предпочел бы, чтобы вещи, которые существуют в Библии, оставались там или, по крайней мере, были предметом воскресной проповеди. О Духе Святом следует говорить, лишь когда подобает, но он не может быть чем-то, что можно пережить.

Я знал, что моему пациенту необходимо преодолеть страх, избавиться от панического состояния. Но я никогда не позволяю себе спорить с тем, кто хочет идти своей собственной дорогой и принимает на себя всю ответственность за это. Однако было бы легкомысленным полагать, что в подобных случаях речь идет об обычном сопротивлении больного и ни о чем другом. Внутреннее сопротивление, тем более упорное, заслуживает внимания, оно зачастую предупреждает о вещах, которыми опасно пренебрегать. Лекарство, если оно противопоказано, может стать ядом, операция — смертельной.

Когда дело доходит до глубоких внутренних переживаний, до самой сути человеческой личности, люди в большинстве своем начинают испытывать страх, и многие не выдерживают — уходят. Так было и с этим теологом. Понятно, что теологам, безусловно, труднее, чем другим, — с одной стороны, они ближе к религии, с другой же — в большей степени ограничены церковью и догмой. Риск внутреннего переживания, своего рода духовный авантюризм, как правило, людям не свойственен; возможность психической реализации невыносима для них. Такие вещи могут иметь место в «сверхъестественном» или, по крайней мере, в «историческом» проявлении, но к собственной психике люди почему-то относятся с удивительным пренебрежением.

\* \* \*

Современная психотерапия, как правило, не рекомендует перебивать пациента в его так называемом «эмоциональном потоке». Не думаю, что это всегда правильно. Активное вмешательство врача в ряде случаев не просто возможно, но и крайне необходимо.

Однажды ко мне на прием записалась дама, у которой была болезненная привычка раздавать пощечины слугам, и врачам в том числе. Она страдала навязчивым неврозом и уже проходила курс лечения в какой-то клинике. Разумеется, она немедленно отвесила оплеуху главврачу, в ее глазах он был чем-то вроде старшего камердинера. Так она считала! Этот врач направил ее к другому, и сцена повторилась. На самом деле эта дама не была сумасшедшей, хотя обращаться с ней следовало чрезвычайно осторожно. В конце концов не без некоторого смущения последний врач направил ее ко мне.

Это была очень крупная статная женщина, под два метра ростом, — думаю, она могла и прибить. Итак, она явилась, и мы с ней отлично поладили. Но наступил момент, когда я сказал ей что-то неприятное. В бешенстве она вскочила и замахнулась.

Вскочил и я, заявив ей: «Ладно, вы — дама, у вас право первого удара. Но потом бить буду я». Я сказал это вполне серьезно. И дама тут же опустилась на стул, успокоилась — прямо на глазах. «Со мной так никогда не разговаривали!» — пожаловалась она. С того момента лечение стало приносить плоды.

Ей явно не хватало мужской реакции, и в этом случае было бы ошибкой «не перебивать» ее, идти у нее на поводу, что ей не только не помогло бы, но повредило. Невроз у нее развился потому, что ей не удавалось установить для себя определенные этические границы. Такие люди по природе своей требуют ограничения — если не внутреннего, то насильственного.

\* \* \*

Я как-то поднял статистику результатов моего лечения. Уже не припомню точные цифры, но с некоторой долей осторожности могу сказать, что треть случаев закончилась полным излечением, в еще одной трети удалось добиться серьезного улучшения, но в остальных случаях никаких существенных изменений не было. Но именно последние оценивать труднее всего, потому что многое осознается лишь спустя годы и только тогда оказывает действие. Как часто мои бывшие пациенты писали мне: «Только сейчас, через 10 лет после нашей встречи, я понял, что же собственно произошло».

У меня было не так много случаев, когда я испытывал непреодолимые затруднения и вынужден был отказаться от пациента. Но и тогда бывало, что я получал известия о положительных результатах. Поэтому трудно делать заключения об успешности лечения.

\* \* \*

В жизни врача присутствует некая обязательная закономерность, суть которой заключается в том, что люди, обращающиеся к нему за помощью, становятся частью его собственной жизни. Люди, которые приходят к нему, — к счастью или нет, — никогда не находились в центре всеобщего внимания, но это люди по разным причинам необыкновенные, с неординарной судьбой, — пережившие ни с чем не сравнимые внутренние катастрофы. Часто они обладают выдающимися способностями, такими, за которые не жаль отдать жизнь, — но эти таланты развиваются на такой странной и психологически неблагоприятной почве, что мы зачастую не можем сказать, гений перед нами или это лишь какие-то крупинки одаренности. Нередко в самых невероятных обстоятельствах вдруг сталкиваешься с таким душевным богатством, которое менее всего ожидаешь встретить среди людей невыдающихся, социально приниженных. Психотерапия лишь в том случае приведет к успеху, если врач не позволит себе отстраниться от человеческих страданий. Врач обязан вести постоянный диалог с пациентом, постоянно сравнивать себя с ним, свое душевное состояние — с его состоянием. Если по какой-то причине этого не происходит, психотерапевтический процесс становится неэффективным, и состояние пациента не меняется. Если один из этих двоих не станет проблемой для другого, решения они не найдут.

Среди так называемых невротиков есть много людей, которые, если бы родились раньше, не были бы невротиками, то есть не ощущали бы внутреннюю раздвоенность. Живи они тогда, когда человек был связан с природой и миром своих предков посредством мифа, когда природа являлась для него источником духовного опыта, а не только окружающей средой, у этих людей не было бы внутренних разладов. Я говорю о тех, для кого утрата мифа явилась тяжелым испытанием и кто не может обрести свой путь в этом мире, довольствуясь естественнонаучными представлениями о нем, причудливыми словесными спекуляциями, не имеющими ничего общего с мудростью.

Наши страдающие от внутренних разладов современники — только лишь «ситуативные невротики», их болезненное состояние исчезает, как только исчезает пропасть между эго и бессознательным. Кто сам ощутил внутреннюю раздвоенность и побывал в подобном положении, сможет лучше понять бессознательные процессы психики и будет застрахован от опасности преувеличивать размеры невроза, чем часто грешат психологи. Кто на собственном опыте не испытал нуменозное действие архетипов, вряд ли сможет избежать путаницы, когда столкнется с этим на практике. И переоценки, и недооценки этого приведут к одному: его критерии будут иметь исключительно рациональный, а не эмпирический характер. Именно отсюда берут начало губительные заблуждения (и этим страдают не только врачи), первое из них — предпочтение рационального пути остальным. За такого рода попытками прячется тайная цель — по возможности отгородиться от собственного подсознания, от архетипических состояний, от реального психологического опыта и заменить его с виду надежной, но искусственной и ограниченной, двухмерной идеологической действительностью, где настоящая жизнь со всеми ее сложностями заслонена так называемыми «отчетливыми понятиями» — идеологемами. Таким образом, значение приобретает не реальный опыт, а пустые имена, которые замещают его. Это ни к чему не обязывает и весьма удобно, поскольку защищает нас от испытания опытом и осознания последнего. Но ведь дух обитает не в концепциях, а в поступках и реальных вещах. Слова никого не согревают, тем не менее эту бесплодную процедуру повторяют бесконечно.

Подводя итог, скажу, что самыми трудными, как и самыми неблагодарными для меня пациентами (за исключением «патологических фантазеров»), являются так называемые интеллектуалы. У них, как правило, правая рука не знает, что делает левая. Они исповедуют своего рода *psychologie r compartiments* (психологию «в футляре». — *фр.*), не позволяя себе ни единого чувства, не контролируемого интеллектом, то есть пытаются все уладить и причесать, но в результате больше, чем остальные, подвержены разнообразным неврозам.

Благодаря моим пациентам и той ни с чем не сравнимой череде психологических явлений, что прошли передо мной, я прежде всего очень много узнал о самом себе, и зачастую шел к этому через ошибки и поражения. В основном моими пациентами были женщины, в большинстве своем, они были умны, впечатлительны и проницательны. И если мне посчастливилось найти какие-то новые пути в терапии, то в этом, безусловно, и их заслуга.

Некоторые из пациентов стали в буквальном смысле слова моими учениками, они распространили мои идеи по всему миру. Среди них были люди, с которыми я десятилетиями поддерживал дружеские отношения. Пациенты заставили меня вплотную столкнуться с реалиями человеческой жизни, мне удалось испытать и понять очень многое. Встречи с людьми, такими разными, с таким различным психологическим опытом, значили для меня несравненно больше, чем эпизодические беседы со знаменитостями. Самый волнующий и памятный след в моей душе оставило общение именно с безвестными людьми.

### Зигмунд Фрейд.

Наиболее плодотворный период моей внутренней жизни наступил после того, как я стал психиатром. Я начал исследовать душевные болезни, их внешние проявления без какой бы то ни было предвзятости. В результате мне удалось столкнуться с такими психическими процессами, природа которых меня поразила: я понял, что в

суть их никто никогда не пытался вникнуть, их просто классифицировали как «патологические». Со временем я сосредоточил свое внимание на случаях, в которых, как полагал, был способен разобраться; это были паранойя, маниакально-депрессивный психоз и психогенные расстройства. С работами Брейера и Фрейда я познакомился уже в самом начале моей психиатрической деятельности, и наряду с работами Пьера Жане они оказались для меня чрезвычайно полезными. Прежде всего я обнаружил, что основные принципы и методы фрейдовского толкования сновидений исключительно плодотворны и способны объяснить шизофренические формы поведения. «Толкование сновидений» Фрейда я прочел еще в 1900 году. Тогда я отложил книгу в сторону, поскольку не понял ее. Мне было 25 лет, и мне еще не хватало опыта, чтобы оценить значение теории Фрейда. Это случилось позже. В 1903 году я снова взялся за «Толкование сновидений» и осознал, насколько идеи Фрейда близки моим собственным. Главным образом меня заинтересовал так называемый «механизм вытеснения», заимствованный Фрейдом из психологии неврозов и используемый им в толковании сновидений. Всю важность его я оценил сразу. Ведь в своих ассоциативных тестах я часто встречался с реакциями подобного рода: пациент не мог найти ответ на то или иное стимулирующее слово или медлил более обычного. Затем было установлено, что такие аномалии имеют место всякий раз, когда стимулирующие слова затрагивают некие болезненные или конфликтные психические зоны. Пациенты, как правило, не осознавали этого и на мой вопрос о причине затруднений обычно давали весьма странные, а то и неестественные ответы. Из «Толкования сновидений» я выяснил, что здесь срабатывает механизм вытеснения и что наблюдаемые мной явления вполне согласуются с теорией Фрейда. Таким образом, я как бы подкреплял фрейдовскую аргументацию.

Иначе было с тем, что же именно «вытеснялось», здесь я не соглашался с Фрейдом. Он видел причины вытеснения только в сексуальных травмах. Однако в моей практике я нередко наблюдал неврозы, в которых вопросы секса играли далеко не главную роль, а на передний план выдвигались совсем другие факторы: трудности социальной адаптации, угнетенность из-за трагических обстоятельств, понятия престижа и т. д. Впоследствии я не раз приводил Фрейду в пример подобные случаи, но он предпочитал не замечать никаких иных причин, кроме сексуальных. Я же был в корне не согласен с этим.

Поначалу я не мог четко определить, какое же место занимает Фрейд в моей жизни, и найти верный тон в отношениях с ним. Открывая для себя его труды впервые, я только начинал заниматься наукой и дописывал работу, которая должна была способствовать моему продвижению в университете. Фрейд же был, вне всякого сомнения, *persona non grata* в тогдашнем академическом мире, и всякое упоминание о нем носило скандальный характер. «Великие мира сего» говорили о нем украдкой, на конференциях о нем спорили только в кулуарах и никогда — публично. Так что совпадение моих результатов с выводами Фрейда не сулило мне ничего хорошего.

Однажды, когда я работал, не иначе как дьявол шепнул мне, что можно опубликовать результаты моих экспериментов и мой вывод, не упоминая имени Фрейда. В конце концов, я получил эти результаты задолго до того, как понял значение его теории. Но тут заговорило мое второе «я». «Если ты сделаешь вид, что не знаешь о Фрейде, это будет заведомый обман. Нельзя строить жизнь на лжи». С этого момента я открыто принял сторону Фрейда.

Впервые я выступил в его защиту на конгрессе в Мюнхене, где обсуждался обсессивный невроз, и где имя Фрейда упорно избегали даже упоминать. В 1906 году я написал статью для мюнхенского медицинского еженедельника о фрейдовской теории неврозов, которая существенно углубляла понимание обсессивных неврозов. После

этого я получил предостерегающие письма от двух немецких профессоров. «Если Вы, — писали они, — будете продолжать заступаться за Фрейда, вряд ли Вы сможете рассчитывать на академическую карьеру». Я ответил: «Если то, что утверждает Фрейд, правда — я с ним. Чего стоит карьера, которую нужно строить, ограничивая исследования и замалчивая факты», — и продолжал выступать на стороне Фрейда. Но мои результаты по-прежнему противоречили утверждениям Фрейда, что все невроты обусловлены исключительно подавленной сексуальностью или связанными с ней эмоциональными травмами. Иногда это так, но не всегда. Однако Фрейд открыл новые пути для исследований, и отрицать это, на мой взгляд, было абсурдом.\*

\* \* \*

Идеи, содержащиеся в моей работе «Психология dementia praecox», не встретили понимания — коллеги посмеивались надо мной. Но благодаря этой работе я познакомился с Фрейдом, он пригласил меня к себе. Наша первая встреча состоялась в Вене, в феврале 1907 года. Мы начали беседу в час пополудни и проговорили практически без перерыва тринадцать часов. Фрейд был первым действительно выдающимся человеком, встретившимся мне. Никого из моих тогдашних знакомых я не мог сравнить с ним. В нем не было ничего тривиального. Это был необыкновенно умный, проницательный и во всех отношениях замечательный человек. И тем не менее мое первое впечатление от него было довольно расплывчатым, что-то от меня ускользало.

Изложенная им сексуальная теория меня поразила. Правда, он не сумел окончательно рассеять мои сомнения. Я пытался, и не единожды, изложить ему эти сомнения, но всякий раз Фрейд не воспринимал их серьезно, считая что они вызваны отсутствием у меня необходимого опыта. И он был прав: тогда мне действительно не хватало опыта для обоснованных возражений. Я видел, что его сексуальная теория чрезвычайно важна для него и в личном, и в общефилософском смысле. Но я не мог решить, насколько это было связано с переоценкой его собственных утверждений, а насколько — опиралось на результаты экспериментов.

Более всего меня настораживало отношение Фрейда к духовным проблемам. Там, где находила свое выражение духовность — будь то человек или произведение искусства — Фрейд видел подавленную сексуальность. А для того, что нельзя было объяснить собственно сексуальностью, он придумал термины «психосексуальность». Я пытался возражать ему, что если эту гипотезу довести до логического конца, то вся человеческая культура окажется не более чем фарсом, патологическим результатом подавленной сексуальности. «Да, — соглашался он, — именно так, это какое-то роковое проклятие, против которого мы бессильны». Я не был готов согласиться с этим и еще менее готов был с этим смириться. Но я пока не чувствовал себя достойным оппонентом Фрейда.

В этой нашей первой встрече было и еще что-то, что обрело для меня смысл позже, что я сумел продумать и понять только тогда, когда нашей дружбе пришел конец. Несомненно, Фрейд необычайно близко к сердцу принимал все, что касалось его сексуальной теории. Когда речь заходила о ней, тон его, обычно довольно скептический, становился вдруг нервным и жестким, а на лице появлялось странное, взволнованное выражение. Я поначалу не мог понять, в чем же причина этого. Но у меня возникло предположение, что сексуальность для него была своего рода *numinosum* (божественное. — *лат.*). Это впечатление подтвердилось позже при нашей встрече в Вене спустя три года (в 1910 году).

\* В 1906 году, после того как Юнг послал Фрейду письмо о результатах своих ассоциативных экспериментов, между ними завязалась оживленная переписка, продолжавшаяся до 1913 года. В 1907 году Юнг послал Фрейду свою работу «Психология dementia praecox». — *ред.*

Я до сих пор помню, как Фрейд сказал мне: «Мой дорогой Юнг, обещайте мне, что вы никогда не откажетесь от сексуальной теории. Это превыше всего. Понимаете, мы должны сделать из нее догму, неприступный бастион». Он произнес это со страстью, тоном отца, наставляющего сына: «Мой дорогой сын, ты должен пообещать мне, что будешь каждое воскресенье ходить в церковь». Скрывая удивление, я спросил его: «Бастион — против кого?» — «Против потока черной грязи, — на мгновение Фрейд запнулся и добавил, — оккультизма». Я был не на шутку встревожен — эти слова «бастион» и «догма», ведь догма — неоспоримое знание, такое, которое устанавливается раз и навсегда и не допускает сомнений. Но о какой науке тогда может идти речь, ведь это не более чем личный диктат.

И тогда мне стало понятно, что наша дружба обречена; я знал, что никогда не смогу примириться с подобными вещами. К «оккультизму» Фрейд, по-видимому, относил абсолютно все, что философия, религия и возникшая уже в наши дни парапсихология знали о человеческой душе. Для меня же и сексуальная теория была таким же «оккультизмом», то есть не более чем недоказанной гипотезой, как всякое умозрительное построение. Научная истина, в моем понимании, — это тоже гипотеза, которая соответствует сегодняшнему дню и которая не может остаться неизменной на все времена.

Многое еще не было доступно моему пониманию, но я отметил у Фрейда нечто похожее на вмешательство неких подсознательных религиозных факторов. По-видимому, он пытался защититься от этой подсознательной угрозы и вербовал меня в помощники.

После нашего разговора я чувствовал себя совершенно растерянным: мне и в голову не приходило рассматривать теорию сексуальности как некое рискованное предприятие, которому, однако, следует хранить верность. Очевидно, что для Фрейда сексуальность значила больше, чем для других людей, она была для него своего рода *res religiose observanda* (вещью, достойной религиозного благоговения. — *лат.*). Столкнувшись с подобными идеями, обычно теряешься. Поэтому все мои робкие попытки выглядели довольно неуверенно, и наши беседы вскоре прекратились.

Я был ошеломлен, смущен и озадачен, будто передо мной открылась новая, неведомая страна, а я ведь мечтал о новых идеях. Однако выяснилось и другое: Фрейд, который всегда так высоко ценил толерантность, свободу от догматизма, теперь создал свою догму. Более того, на место утраченного им грозного бога он поставил другой кумир — сексуальность. И этот кумир оказался не менее капризным, придиричвым, жестоким и безнравственным. Так же как необычайную духовную силу в страхе наделяют атрибутами «божественного» или «демонического», так и «сексуальное либидо» стало играть роль *deus absconditus*, некоего тайного бога. Такая «замена» дала Фрейду очевидное преимущество: он получил возможность рассматривать новый нуминозный принцип как научно безупречный и свободный от груза религиозной традиции. Но в основе-то все равно лежала нуминозность — общее психологическое свойство двух противоположных и несводимых рационально полюсов — Яхве и сексуальности. Переменилось только название, а с ним, соответственно, и точка зрения: теперь утраченного бога следовало искать внизу, а не наверху. Но если некая сила все же существует, то есть ли разница в том, как ее называть? Если бы психологии не существовало вовсе, а были лишь конкретные вещи, ничего не стоило бы разрушить одну из них и заменить другой. Но в реальности, то есть в психологическом опыте, остаются все те же настойчивость, робость и принуждение — ничто бесследно не исчезает. Никуда не денутся и вечные проблемы: как преодолеть страх или избавиться от совести, чувства долга, принуждения или подсознательных желаний.



И раз мы не в состоянии их решить, опираясь на нечто светлое и идеальное, то, не следует ли обратиться к силам темным, биологическим?

Эта мысль пришла ко мне неожиданно. Но ее смысл и значение я понял гораздо позже, когда анализировал в своей памяти характер Фрейда. У него была одна отличительная черта, которая более всего меня занимала: в нем ощущалась какая-то горечь. Она поразила меня еще в первый мой приезд в Вену. И я не находил этому объяснения, пока не увидел здесь связь с его представлением о сексуальности. Хотя для Фрейда сексуальность, безусловно, означала своего рода *puniosum*, тем не менее и в терминологии, и в самой теории он, казалось, описывал ее исключительно как биологическую функцию. И только волнение, с которым он говорил о сексуальности, показывало, насколько глубоко это его затрагивало. Суть его теории состояла в том — как мне, во всяком случае, казалось, — что сексуальность содержит в себе духовную силу или имеет тот же смысл. Но слишком конкретная терминология оказалась слишком ограниченной для этой идеи. Мне подумалось, что Фрейд на самом деле двигался в направлении прямо противоположном собственной цели, действуя, таким образом, против самого себя, — а нет ничего горше, нежели сознание, что ты сам свой злейший враг. По его же словам, Фрейд постоянно испытывал ощущение, что на него вот-вот обрушится некий «поток черной грязи», — на него, который более, чем кто-либо, погружался в самые темные его глубины.

Фрейд никогда не задавался вопросом, почему ему постоянно хочется говорить именно о сексе, почему в мыслях он все время возвращается к одному и тому же предмету. Он так и не понял, что подобная однообразность толкования означает бегство от самого себя или, может быть, от иной, возможно мистической, стороны своего «я». Не признавая ее существования, он не мог достичь душевного равновесия. Его слепота во всем, что касалось парадоксов бессознательного и возможностей двойного толкования его содержимого, не позволяла ему осознать, что все содержимое бессознательного имеет свой верх и низ, свою внешнюю и внутреннюю стороны. И если мы говорим о внешней его стороне — а именно это делал Фрейд, — мы имеем в виду лишь половину проблемы, что вызывает нормальное в такой ситуации бессознательное противодействие.

С этой фрейдовской односторонностью ничего нельзя было поделать. Возможно, его мог бы «просветить» какой-нибудь внутренний опыт, как мне думается, и тогда его разум счел бы любой подобный опыт проявлением исключительно «сексуальности» или, на худой конец, «психосексуальности». В каком-то смысле он потерпел поражение. Фрейд представляется мне фигурой трагической. Он, вне всякого сомнения, был великим человеком, и еще — трогательно беззащитным.

\* \* \*

После той второй встречи в Вене я начал понимать концепцию власти Альфреда Адлера, которую и прежде считал заслуживающей внимания. Адлер как всякий «сын» перенял от своего «отца» не то, что тот *говорил*, а то, что тот *делал*. Теперь же я открыл для себя проблему любви — эроса и проблему власти — власти как свинцового груза, камня на душе. Сам Фрейд, в чем он признался мне, никогда не читал Ницше. Теперь же я увидел фрейдовскую психологию в культурно-исторической последовательности, как некую компенсацию ницшеанского обожествления власти. Проблема явно заключалась не в противостоянии Фрейда и Адлера, а в противостоянии Фрейда и Ницше. Поэтому я полагаю, что это не просто «семейная ссора» психопатологов. Мое мнение таково, что эрос и влечение к власти — все равно что двойня, сыновья *одного* отца, производное от одной духовной силы, которая, как положительные и отрицательные электрические заряды, проявляет себя в противоположных ипостасях: одна, эрос, — как некий *patiens*, другая, жажда власти, — как

agens, и наоборот. Эросу так же необходима власть, как власти — эрос, одна страсть влечет за собой другую. Человек находится во власти своих страстей, но вместе с тем он пытается овладеть собой. Фрейд рассматривает человека как игрушку, которой управляют ее собственные страсти и желания, Адлер же показывает, как человек использует свою страсть для того, чтобы подчинить себе других. Беспомощность перед неумолимым роком вынудила Ницше выдумать для себя «сверхчеловека», Фрейд же, как я понимаю, настолько подчинил себя Эросу, что считал его aere perrenius (прочнее бронзы. — *лат.*), сделал из него догму, подобно религиозному нумену. Не секрет, что «Заратустра» выдает себя за Евангелие, и Фрейд на свой лад пытался превзойти церковь и канонизировать свое учение. Он, конечно, старался избежать огласки, но подозревал во мне намерение сделаться его пророком. Его попытка была трагичной, и он сам ее обесценивал. Так всегда происходит с нуменом, и это справедливо, ибо то, что в одном случае представляется верным, в другом оказывается ложным, то, что мы мыслим как свою защиту, таит в себе вместе с тем и угрозу. Нуминозный опыт и возвышает и унижает одновременно. Если бы Фрейду хоть раз пришло в голову представить себе, что сексуальность несет в себе *puminosum*, что она — и Бог и дьявол в одном лице, что с точки зрения психологии это не вызывает сомнения, он не смог бы ограничиться узкими рамками биологической концепции. И Ницше, может быть, не воспарил бы в своих спекуляциях и не утратил бы почвы под ногами, держись он более твердо основных условий человеческого существования.

Всякий нуминозный опыт таит в себе угрозу для человеческой психики, он как бы раскачивает ее так, что в любую минуту эта тонкая нить может оборваться, и человек потеряет спасительное равновесие. Для одних этот опыт означает безусловное «Да», для других — безусловное «Нет». С Востока к нам пришло понятие нирваны (*nirdvanda* — отсутствие двойственности). Я никогда не забываю об этом. Но маятник нашего сознания совершает свои колебания между смыслом и бессмыслицей, а не между справедливостью и несправедливостью. Опасность нуминозных состояний таится в соблазне экстремальности, в том, что маленькую правду принимают за истину, а мелкую ошибку расценивают как фатальную. *Tout passe* (прошлое. — *фр.*), что было истиной вчера, сегодня может показаться заблуждением, но то, что считалось ошибочным позавчера, явится откровением завтра. Именно это является одной из тех психологических закономерностей, о которых в действительности «мы еще очень мало знаем. Мы по-прежнему далеки от понимания того, что *нечто* не существует до тех пор, пока какое-нибудь бесконечно малое и, увы, столь краткое и преходящее сознание не отметит его как *что-то*.

Беседуя с Фрейдом, я узнал о его страхе: он боялся, что нуминозное «сияние» его теории может померкнуть, если его захлестнет некий «поток черной грязи». Таким образом, возникла совершенно мифологическая ситуация: *борьба между светом и тьмой*. Это объясняет нуминозные комплексы Фрейда и то, почему в момент опасности он обращался к чисто религиозным средствам защиты — к догме. В моей книге «Метаморфозы и символы либидо» (1912), в которой говорилось о психологии аскетизма, я попытался объяснить причины его странного поведения, мифологические связи. Сексуальные толкования, с одной стороны, и властные притязания догматиков — с другой, натолкнули меня на проблему типологии. Предметом моего научного интереса стали полярные характеристики психики, а также исследование «потока черной грязи — оккультизма», чему я посвятил несколько десятилетий. Я попытался понять сознательные и бессознательные исторические предпосылки этого с точки зрения современной психологии.

Не меньшее любопытство вызывали у меня взгляды Фрейда на экстрасенсорное восприятие и парапсихологию в целом. В 1909 году, во время нашей встречи в Вене,

я поинтересовался его мнением об этих явлениях. По причине своих материалистических предрассудков он заявил, что все мои вопросы бессмысленны и проявил при этом столь поверхностный позитивизм, что мне стоило большого труда не ответить ему резкостью. Это случилось за несколько лет до того, как сам Фрейд признал серьезность парапсихологии и фактическую достоверность «окультурных» феноменов.

Но в тот момент, когда я выслушивал его аргументы, у меня возникло странное ощущение, будто моя диафрагма вдруг сделалась железной и раскалилась докрасна, она, как мне показалось, даже стала светиться. И в этот миг из находившегося рядом книжного шкафа раздался страшный грохот. Мы оба в испуге отскочили — показалось, что шкаф вот-вот опрокинется на нас. Я, опомнившись, сказал Фрейду: «Вот вам пример так называемой каталитической экстериоризации». «Оставьте, — разозлился он, — это совершеннейшая чушь». «Нет, профессор, — воскликнул я, — вы ошибаетесь! И я это вам докажу: сейчас вы услышите точно такой же грохот!» И действительно, как только я произнес эти слова, из шкафа снова раздался грохот.

До сих пор не понимаю, откуда взялась моя уверенность. Но я был убежден, что это произойдет. Фрейд ошеломленно посмотрел на меня. Не знаю, что он подумал и что увидел. Знаю одно — этот случай спровоцировал его подозрительность, а у меня появилось ощущение, будто я причинил ему боль. Мы никогда больше не обсуждали с ним это.

\* \* \*

Год 1909 стал для нас переломным. Меня пригласили прочесть курс лекций об ассоциативных экспериментах в университет Кларка (Вустер, штат Массачусетс). Независимо от меня Фрейд также получил туда приглашение. Решено было отправиться вместе. Мы встретились в Бремене, где к нам присоединился Ференци. Там же произошел инцидент, о котором потом много говорили: у Фрейда случился обморок. И поводом, похоже, послужил мой интерес к «болотным трупам». Мне было известно, что в некоторых районах северной Германии находили так называемые «болотные трупы» — сохранившиеся с доисторических времен останки людей, которые или утонули в болоте, или были в нем похоронены. В болотной воде содержится сапрогеновая кислота, которая растворяет кости, но выдубливает кожу, которая, как и волосы, превосходно сохраняется. По сути это естественное мумифицирование, когда трупы расплющиваются под давлением торфа. Время от времени они обнаруживаются на торфяных разработках в Дании, Швеции и Голландии.

Именно эти «болотные трупы», и вспомнились мне в Бремене. (Я был настолько поглощен собственными делами, что спутал их с мумиями из бременских «свинцовых подвалов».) Мое любопытство раздражало Фрейда. «Что вы нашли в этих трупах?» — постоянно спрашивал он, находясь в чрезвычайно нервном состоянии. И как-то за столом, когда опять заговорили о трупах, Фрейд упал в обморок. Позже он признался мне в своей тогдашней уверенности в том, что вся эта болтовня о трупах была затеяна мной, поскольку я будто бы желал его смерти. Я был ошарашен. Меня испугала мощь его фантазий, которая, на мой взгляд, и послужила причиной обморока.

Я был свидетелем еще одного его обморока в подобной ситуации. Это случилось на съезде психоаналитиков в Мюнхене в 1912 году. Кто-то вспомнил о фараоне Аменхотепе IV, о том, что из ненависти к отцу он уничтожил картуши на стелах и что за всеми его великими религиозными сооружениями стоял отцовский комплекс. Я возмутился и начал спорить, доказывая, что Аменхотеп был творческой и глубоко религиозной личностью, чьи действия нельзя объяснять только личной неприязнью к отцу. Напротив, он чтит имя своего отца, а его страсть к разрушению была нацелена лишь на то, что было связано с именем бога Амона. Это имя он стремился

уничтожить везде, и не его вина, что оно было высечено на могильной плите его отца, почитавшего Амона. Более того, многие другие фараоны тоже заменяли имена своих фактических или божественных предков на монументах и статуях своими собственными, так как считали себя законным олицетворением соответствующего божества. Но они не были основоположниками ни нового стиля в архитектуре, ни основателями новой религии.

В этот момент Фрейд потерял сознание и упал со стула. Все растерянно засуетились вокруг него. Я взял его на руки, отнес в соседнюю комнату и положил на диван. Пока я нес его, он стал приходить в себя, и я никогда не забуду его взгляда. Слабый и беспомощный, он смотрел на меня так, будто я его отец. Каковы бы ни были другие причины его обморока (атмосфера на конгрессе была более чем напряженной), в обоих случаях его навязчивой идеей было отцеубийство.

Фрейд и раньше намекал, что видит во мне своего преемника. Меня это крайне смущало, я уже осознавал, что никогда не смогу должным образом отстаивать его взгляды, хотя в то время опровергнуть их достойным образом я не мог. Мое уважение к нему было слишком велико, чтобы желать окончательного размежевания наших позиций. Меня вовсе не привлекала перспектива стать во главе некой партии, чтобы возглавить целое направление в психоанализе. Душа моя противилась подобной деятельности: жертвовать своей интеллектуальной независимостью — это было не для меня. Кроме того, все эти «игры» уводили бы меня от моих настоящих целей — я стремился найти истину, а не достичь личного престижа.

Наше путешествие в США заняло несколько недель. Все это время мы были вместе и пересказывали друг другу свои сновидения. Несколько моих сновидений я считал важными для себя, но Фрейд не сумел их объяснить. Упрекнуть его в этом я не смею — подчас лучшие аналитики не способны уловить скрытый смысл сна. Иногда такое просто невозможно, но это не значит, что нужно перестать этим заниматься. Напротив, беседы с Фрейдом дали мне очень много, и я дорожил нашими отношениями. Я внимал Фрейду, как внимают человеку старшему и опытному, я испытывал к нему сыновнее чувство. Но случилось нечто, что нанесло нашей дружбе тяжелый удар.

Фрейд увидел сон: о чем он был — рассказывать не буду. Я объяснил его, как сумел, но добавил, что сказал бы много больше, если бы Фрейд поведал мне о некоторых обстоятельствах своей личной жизни. Фрейд бросил на меня странный подозрительный взгляд и сказал: «Но я ведь не могу рисковать своим авторитетом!» В этот момент его авторитет рухнул. Эта фраза осталась на дне моей памяти, она явилась концом наших отношений. Фрейд поставил личный авторитет выше истины.

Как уже упоминалось, Фрейд лишь частично мог объяснить мои тогдашние сновидения или не мог объяснить их вообще. Эти сны были наполнены неким коллективным содержанием и символикой. Один из них я считаю особенно важным: он привел меня к понятию «коллективного бессознательного» и положил начало моей книге «Метаморфозы и символы либидо».

Вот содержание этого сна. Я находился один в незнакомом двухэтажном доме, и это был «мой дом». На верхнем этаже было что-то вроде гостиной с прекрасной старинной мебелью в стиле рококо. На стенах висели старинные картины в дорогих рамах. Я удивился, что этот дом — мой, и подумал: «Ничего себе!». Затем, вспомнив, что еще не был внизу, я спустился по ступенькам и оказался на первом этаже. Здесь все выглядело гораздо старше, похоже, что эта часть дома существовала с XV или XVI века. Средневековая обстановка, пол, выложенный красным кирпичом, — все казалось тусклым, покрытым патиной. Я переходил из комнаты в комнату и думал: «Нужно осмотреть весь дом». Очувтившись перед массивной дверью, я открыл ее и

увидел каменную лестницу, ведущую в подвал. Спустившись, я оказался в красивом старинном сводчатом зале. В кладке стен я обнаружил слой кирпича, в строительном растворе тоже были кусочки кирпича. Так я догадался, что стены были возведены еще при римлянах. Мое любопытство возросло. Я стал внимательно осматривать каменные плиты пола: в одной из них оказалось кольцо. Я потянул за него — плита приподнялась, открывая узкую каменную лестницу, ступени которой вели в глубину. Я спустился вниз и попал в пещеру с низким сводом. Среди толстого слоя пыли на полу лежали кости и черепки, словно останки какой-то примитивной культуры. Я нашел там два очень древних полуистлевших человеческих черепа — и в этот момент проснулся.

Фрейд больше всего заинтересовался двумя черепами. Он постоянно возвращался к ним, уверяя, что я должен обнаружить связанное с ними *желание*. Что я о них думаю? Чьи они? Я, разумеется, отлично понимал, к чему он клонит, — он и здесь подразумевал тайное желание смерти. «Чего он, собственно, хочет? — спрашивал я себя. — Кому я должен желать смерти?» Такое объяснение меня не устраивало. Я и сам пытался разгадать, что бы это значило на самом деле. Но в то время я еще не доверял себе и хотел услышать мнение Фрейда. Мне хотелось у него учиться, поэтому, приняв его установку, я ответил: «Моя жена и свояченица». Нужно же было назвать кого-нибудь, кому можно было бы пожелать смерти и главное придать этому какой-то смысл!

Женат я был недавно и точно знал, что никаких подобных желаний у меня не возникало. Но предложить Фрейду мое толкование я не мог, он бы меня по меньшей мере не понял, а сил спорить с ним еще не доставало. Более того, если бы я стал настаивать на своей точке зрения, то потерял бы его дружбу, а этого я тогда очень боялся. Но с другой стороны, мне очень хотелось узнать, какой смысл увидит он в моем ответе, как это впишется в его доктрину. Таким образом, я обманул его.

Я сознавал, что мое поведение небезупречно с точки зрения морали, но не мог позволить ему проникнуть в мой внутренний мир. Пропасть между нами была слишком велика. А так, после моего ответа, Фрейд вроде бы успокоился. Стало понятно, что перед такими снами он бессилен, почему и пытается спрятаться за свою теорию. Мне же нужно было найти истинное объяснение моему сну.

Я понял, что дом — это в каком-то смысле образ души, то есть образ тогдашнего состояния моего сознания, которое выглядело как жилое пространство, вполне обустроенное, хотя и несколько архаичное.

На нижнем этаже начиналось бессознательное. И чем глубже я спускался, тем более чуждым и мрачным оно представлялось. В пещере я обнаружил остатки примитивной культуры, то есть то, что оставалось во мне от дикаря и что вряд ли когда-нибудь могло быть постигнуто или освещено сознанием. Душа примитивного человека и души животных пограничны, ведь в пещерах в древности, прежде чем их заняли люди, жили животные.

Именно тогда мне стало совершенно ясно, насколько велика разница между нашими с Фрейдом духовными установками. Я рос в исторической атмосфере Базеля конца прошлого века и благодаря моему интересу к философии кое-что знал из истории психологии. Размышляя над сновидениями и содержанием бессознательного, я неизбежно обращался к историческим аналогиям, а в студенческие годы часто заглядывал в старый философский словарь Круга. Мне были лучше знакомы философы XVIII века и частично XIX. Их мир и сформировал атмосферу верхнего этажа. Для Фрейда же, как я считал, история развития мысли начиналась с Бюхнера, Молешотта, Дюбуа-Реймона и Дарвина.

Если судить по моему сну, то, помимо собственно сознания, существовало еще несколько нижних уровней: необитаемый «средневековый» первый этаж, затем «римский» подвал и, наконец, доисторическая пещера. Это были вехи сознательной истории человечества и вехи в истории развития человеческого сознания.

В дни, предшествовавшие сну, я о многом размышлял, мучительно пытаюсь понять, каковы предпосылки фрейдовской психологии и каким образом она соотносится с другими категориями мышления. Как теория Фрейда, при своем крайнем персонализме, выглядит в свете универсальных понятий? Ответ содержался в моем сне. Основные положения культурной истории представлены в нем в виде уровней сознания: снизу вверх. Мой сон, таким образом, представлял собой структурную диаграмму человеческого сознания, выстроенную на обратных Фрейду *безличных* основаниях. Эта идея стала в каком-то смысле «it clicked» (наиболее подходящей. — *англ.*), как говорят англичане. Образы сна не оставляли меня и в дальнейшем. Я не понимал как, но они утвердились в моем сознании. Здесь впервые четко высветилась идея «коллективного бессознательного» (то, что я принял за останки примитивной культуры), составляющая a priori основу индивидуальной психики. Много позже, имея уже немалый опыт и более глубокие знания, я увидел здесь инстинктивные формы — архетипы.

Я никогда не соглашался с Фрейдом в том, что сон — это некий заслоняющий смысл «фасад» — когда смысл существует, но он будто бы нарочно скрыт от сознания. Мне кажется, что природа сна не таит в себе намеренного обмана, в ней нечто выражается возможным и наиболее удобным для нее образом — так же как растение растет или животное ищет пищу. В этом нет желания обмануть нас, но мы сами можем обмануться, если будем слепы. Можно слушать и не слышать, если заткнуть уши, но это не значит, что наши уши намеренно обманывают нас. Задолго до того, как я узнал Фрейда, бессознательное и сны, непосредственно его выражающие, казались мне естественными процессами, в которых нет ничего произвольного и тем более намеренно вводящего в заблуждение. Нет причин предполагать, что существует некое бессознательное природное коварство, по аналогии с коварством сознательным. Напротив, житейский опыт свидетельствует, насколько бессознательное противится этим сознательным влечениям.

Сновидение о доме имело необычные последствия: я вновь увлекся археологией. По возвращении в Цюрих я прочел несколько книг по мифологии и вавилонским раскопкам. Тогда мне попала на глаза книга Фридриха Крейцера «Мифы и символы древности», она сыграла роль искры попавшей в сухую солому! Я с лихорадочным интересом перелопатил горы мифологического и научного материала и в конце концов совершенно запутался. Моя беспомощность была сродни той, которую я в свое время испытывал в клинике, когда стремился проникнуть в смысл психического расстройства. Я чувствовал себя так, будто находился в воображаемом сумасшедшем доме, пытаюсь «лечить» всех кентавров, нимф, богов и богинь из книги Крейцера. Тем не менее я не мог не уловить связи между античной мифологией и психологией примитивных народов, которой позже и стал заниматься. Работы Фрейда в этой же области несколько меня озадачили, поскольку я уже знал, до какой степени его теория подавляет собственно факты.

Тогда же я наткнулся на работу, описывающую фантазии молодой американки, некой мисс Миллер. Материал был опубликован в «Архивах психологии» (Женева) моим уважаемым другом Теодором Флурнуа. Меня поразил мифологический характер этих фантазий, которые стали своего рода катализатором для моих беспорядочных умозаключений. Так постепенно начала складываться книга «Метаморфозы и символы либидо». Пока шла работа над ней, я увидел сон, предрекавший будущий

разрыв с Фрейдом. События в нем происходили в горной местности на границе Австрии и Швейцарии. В сумерках я увидел пожилого человека в форме австрийских имперских таможенников. Он, немного сутулясь, миновал меня молча, даже не взглянув в мою сторону. В нем было что-то гнетущее, он казался расстроенным и раздраженным. Тут были и другие люди, и кто-то сказал мне, что этот старик — лишь призрак таможенного чиновника, сам же он умер много лет назад. — «Он из тех, кто не может умереть».

Так выглядела первая часть сна.

Я стал его анализировать, уловив в слове «таможня» ассоциацию с «цензурой». «Граница» могла означать, с одной стороны, границу между сознанием и бессознательным, с другой же — наши с Фрейдом расхождения. Таможенный досмотр, необыкновенно тщательный, можно было сравнить с психоанализом — на границе чемоданы открывают, проверяя их содержимое. Анализ так же раскрывает содержимое бессознательного. Что же касается старого таможенника, то его работа приносила ему, похоже, больше горечи, нежели удовлетворения — отсюда и раздраженное выражение лица. Трудно было здесь не провести аналогию с Фрейдом.

В то время (в 1911 году) Фрейд уже не был для меня непререкаемым авторитетом, но по-прежнему оставался человеком, на которого я взирал снизу вверх, проецируя на него образ отца, — тогда это было именно так. Подобное проецирование исключает объективность, двойственность в оценках в данном случае неизбежна. С одной стороны, мы ощущаем свою независимость, с другой — внутреннее сопротивление. Когда мне приснился этот сон, я все еще глубоко чтил Фрейда, хотя уже начал оценивать его критически. Вероятно, я просто еще не мог осознать сложившуюся ситуацию и пытался каким-то образом найти решение — это характерно для ситуаций проецирования. Сон же поставил меня перед необходимостью сделать выбор.

Находясь под влиянием личности Фрейда, я, насколько это удавалось, старался не навязывать ему собственных оценок и подавлял в себе критицизм. Это было необходимым условием нашего сотрудничества. Я убеждал себя: «Фрейд гораздо проницательнее и опытнее. Тебе же пока следует слушать и учиться». И представьте себе, мне снится Фрейд — раздраженный австрийский чиновник, призрак покойного таможенного инспектора. Действительно ли я желал его смерти, как думал Фрейд? Ничего подобного! Ведь я старался использовать любую возможность, чтобы работать с ним, причем с целью откровенно эгоистичной — пользоваться его богатым опытом. Наша дружба значила для меня очень много, и причин желать его смерти, естественно, не было. Но сновидение могло быть своего рода коррекцией, компенсацией моей сознательной оценки, моего восхищения — невольного и в дальнейшем, видимо, нежелательного.

Сон как бы представлял критическую установку моего подсознания. Это смутило меня, хотя последняя фраза сна показалась мне намеком на потенциальное бессмертие Фрейда.

За эпизодом с таможенным чиновником последовало довольно примечательное продолжение сна. Я находился в каком-то итальянском городе, время было обеденное — где-то между двенадцатью и часом дня. Жаркое полуденное солнце заливало светом узкие улицы. Город, возвышавшийся на холме, напомнил мне одно из предместий Базеля — Коленберг. Переулки здесь террасами спускались к долине, один из них выходил на Барфюцер-платц. Это был и Базель, и одновременно итальянский город, что-то вроде Бергамо. Летнее солнце стояло в зените. Навстречу мне двигалась толпа. Было понятно, что в эти часы закрываются магазины и люди идут обедать. И неожиданно в людском потоке показался рыцарь в полном облачении, кото-

рый поднимался ко мне по ступенькам. На нем были шлем и кольчуга, а поверх — белая туника с вышитыми по обеим сторонам большими красными крестами.

Можно представить, что я испытал, увидев в современном городе в полдень, в час пик, идущего мне навстречу крестоносца. И самое удивительное, что никто вокруг, похоже, не замечал его. Никто не обернулся, не глянул ему вслед, казалось, вижу его только я. Я задумался, что бы это значило, и вдруг кто-то сказал мне (хотя поблизости никого не было): «А это наше привидение! Рыцарь всегда проходит здесь между двенадцатью и часом, его все знают».

Этот сон озадачил меня, но я тогда не смог его понять. Я был и удивлен, и смущен, чувствуя себя совершенно беспомощным.

Рыцарь и таможенник в моем сне были антиподами: призрачный таможенник, некто такой «кто не мог умереть», безмолвное видение, и полный жизни, совершенно реальный рыцарь. Вторая часть сновидения носила в высшей степени нуминозный характер, тогда как эпизод на границе выглядел приземленным и невыразительным. Гораздо большее впечатление на меня производили мои собственные размышления о нем.

Загадочный образ рыцаря в течение нескольких дней стоял у меня перед глазами. Объяснить себе его значение я не мог. Все прояснилось много позже, но уже во сне я понял, что рыцарь этот из XII века — из эпохи зарождения алхимии и поисков чаши святого Грааля. Легенда о Граале очень много значила для меня. Впервые я услышал о ней, когда мне было лет 15. От незабываемого чувства, которое я тогда испытал, я до сих пор не могу освободиться. Мне кажется, она таит в себе что-то, что невозможно объяснить. Встречу во сне с рыцарем из того мира я считал вполне естественной, ведь это был мой собственный внутренний мир, вряд ли имевший что-то общее с миром Фрейда. Все мое существо жаждало чего-то доселе неизвестного — того, что могло бы придать какой-то смысл житейской обыденности.

Меня раздражало, что все усилия разума проникнуть вглубь сознания наталкивались всего лишь на тривиальные, само собой разумеющиеся истины. Я вырос в деревне, среди крестьян, и если чего-то не мог увидеть в конюшне, то узнавал это из Рабле и фривольной фантазии крестьянского фольклора. Инцест и сексуальные извращения не были для меня тайной и какого-то особого толкования не требовали. Вместе с преступлениями они являлись темным дном человеческого бытия, обнажая все его безобразие и бессмысленность, отравляя вкус жизни. То, что капуста хорошо растет на навозе, для меня всегда было самоочевидным. Но, несмотря на все мои усилия, я не мог понять, что же здесь сверхъестественного. «Все потому, что эти люди выросли в городе и ничего не знают о природе», — думал я с усталостью и брезгливостью.

Естественно, что среди невротиков чаще встречаются люди, далекие от природы, а посему и менее приспособленные к жизни. Они во многом наивны как дети, им даже приходится объяснять, что они ничем не отличаются от всех остальных. Избавиться от неврозов и вновь обрести психическое здоровье можно, лишь выкарабкавшись из обыденной житейской грязи. Они же предпочитают погружаться в те ощущения, которые прежде подавляли. Да и вообще могут ли они выбраться из этого, психоаналитик отнимает у них возможность узнать что-то другое, лучшее, если сама теория не предлагает ничего взамен инфантильности, кроме банального «здорового смысла»? Они, утратив твердую почву под ногами, на это неспособны. Человек не может так просто отказаться от привычного образа жизни, он может лишь изменить его. И некий единый «здоровый смысл» тоже, как правило, невозможен, особенно если человек не обладает им с детства, что обычно характерно для невротиков.



Теперь я начал осознавать, почему психология самого Фрейда вызывала у меня такой интерес. Мне хотелось выяснить, каковы его собственные предпосылки, как он сам приходит к пресловутому «разумному решению». Для меня это стало своего рода вопросом жизни и смерти, и я готов был пожертвовать многим ради того, чтобы найти ответ. И теперь я почти уяснил, в чем дело: Фрейд, оказывается, сам страдал от невроза, что установить было совсем несложно, и симптомы его болезни были крайне неприятны, что и проявилось во время нашего путешествия в Америку. Конечно, он убеждал меня, что весь мир в какой-то степени болен и что мы должны быть более терпимыми. Но такое объяснение меня уже не удовлетворяло, я хотел знать, как избежать неврозов. Ни Фрейд, ни его ученики не поняли, к сожалению, что означает для теории и практики психоанализа тот факт, что сам учитель не сумел справиться с собственным неврозом. И, когда Фрейд объявил о намерении объединить теорию и метод, создавая из них своего рода догму, я более уже не мог сотрудничать с ним. Для меня не было иного выбора, как выйти из игры.

Работая над книгой «Метаморфозы и символы либидо» и заканчивая главу «Жертва», я понимал, что публикация ее положит конец моей дружбе с Фрейдом. Я намеревался сформулировать в ней собственную концепцию инцеста, рассмотреть различные трансформации понятия либидо и многое другое, в чем полностью расходился с Фрейдом. Инцест, на мой взгляд, лишь в отдельных случаях можно считать собственно отклонением. В целом же в инцесте основополагающую роль играет религиозное содержание. Не удивительно, что этот мотив и занимал такое важное место во всех космогониях. Но Фрейд, цепляясь за буквальный смысл, не желал понять его символическую суть. И было совершенно ясно, что он никогда не принял бы такое толкование.

Я рассказал о своих опасениях жене. Она пыталась успокоить меня, полагая, что у Фрейда хватит великодушия, чтобы позволить мне иметь собственное мнение, даже если он сочтет его неприемлемым. Но сам я был убежден в обратном и два месяца не решался взяться за перо. Меня мучил вопрос: стоит ли мое молчание нашей дружбы? Но наконец я все же приступил к работе, и это действительно привело к разрыву.

После нашего разрыва все друзья и знакомые отвернулись от меня. Мою книгу объявили бессодержательной, меня — мистиком, тем все и кончилось. Риклин и Мэддер были единственные, кто не покинул меня. Изоляция не стала для меня неожиданностью, никаких иллюзий относительно реакции моих так называемых друзей я не питал. Я все хорошо обдумал, понимая, что за свои убеждения придется расплачиваться, что глава «Жертва» потребует жертв и от меня самого. И хотя я не мог рассчитывать на понимание, работу над книгой все же не прекратил.

Возвращаясь в прошлое, могу сказать, что я исследовал две проблемы, которые в первую очередь интересовали Фрейда, и в определенном смысле отталкивался от его работ. Я имею в виду так называемые архаические «пережитки» и проблему сексуальности. Хочу заметить, что те, кто ставит мне в вину недооценку сексуальности, впадают в широко распространенную ошибку. Напротив, в моей психологии она играет значимую роль, как существенное, хотя и не единственное, выражение психической структуры. Но я ставил перед собой несколько иную задачу, она заключалась в том, чтобы от индивидуального значения и биологических функций этой структуры выйти на духовные аспекты и объяснить ее нуминозное содержание. Другими словами, дать объяснение тому, что так манило Фрейда и чего он не мог понять. В моих работах можно найти некоторые соображения на этот счет. В сексуальности я видел выражение некоего хтонического духа — того самого духа, который я называю злой личиной Бога. Проблема хтонического духа стала занимать меня с тех пор, как я со-

прикоснулся с духовным миром средневековой алхимии. Но первоначальный дали мне беседы с Фрейдом, когда я ощутил необъяснимую притягательность для него феномена сексуальности.

К величайшим достижениям Фрейда я отношу то, что он со всей серьезностью относился к страдающим невротами пациентам и вникал в их индивидуальные психологические особенности. У него достало мужества отбросить казуистику и тем самым вскрыть истинную психологию душевной болезни. Не ошибусь, если скажу, что он смотрел на болезнь глазами пациента, и это позволяло ему понять ее так глубоко, насколько было возможно. В этом смысле он был человеком мужественным и беспристрастным. Подобно библейскому пророку, он взвалил на себя эту ношу, свергая идолов, срывая завесу лжи и лицемерия. Он беспощадно указал миру на всю гниль современного сознания, что, конечно же, не принесло ему популярности. Впрочем, он к этому был готов. Открывая некие подступы к бессознательному, Фрейд тем самым дал нашей цивилизации новый толчок. Называя сновидения наиболее важным источником информации о бессознательных процессах, он вернул людям и науке инструмент, утерянный, казалось, безвозвратно. Он опытным путем продемонстрировал реальность бессознательной части души, существовавшей до этого лишь как философский постулат, главным образом у К. Г. Каруса и Э. фон Гартмана.

В заключение хочу отметить, что современная культура с ее бесконечной рефлексией еще не готова к восприятию идеи бессознательного и всего, что из нее следует, хотя уже почти полвека живет с нею бок о бок. Тот универсальный и основополагающий факт, что психика по сути двуполярна, еще ждет своего признания.

### Знакомство с бессознательным.

После разрыва с Фрейдом для меня наступил период внутренних колебаний, будто я утратил всякие ориентиры и не мог нащупать почву под ногами. Но прежде всего мне необходимо было по-новому подойти к работе с пациентами. Так пришло решение во всем опираться на то, что они сами говорят, не связывая себя каким-то изначальным предубеждением, — т.е. отдаться на волю случая. Наше общение сводилось теперь к следующему: пациенты спонтанно рассказывали мне о своих снах и фантазиях, а я лишь задавал им вопросы: «И что вы в связи с этим вспомнили?» или «Как вы сами это понимаете? Откуда это пришло к вам?» и т.п. Иными словами, объяснение давал сам пациент, оно рождалось из его собственных ответов и ассоциаций. Я старался не пользоваться какими бы то ни было теоретическими установками, а просто помогал пациентам понять самих себя, объяснить возникающие у них бессознательные образы.

Вскоре я убедился, что выбрал верный путь, что сновидения следует воспринимать именно таким образом — как исходный материал для интерпретации бессознательных процессов. Естественно, на этом пути меня подстерегало множество неожиданностей. Я все сильнее ощущал потребность в каком-то объективном критерии, а точнее, — в исходном ориентире.

В тот момент все, чего я достиг до сих пор, предстало передо мной с необычайной ясностью. Я был почти убежден, что нашел наконец ключ к мифу и могу теперь проникнуть в бессознательную область человеческой души. Впрочем, что-то мешало мне утвердиться в собственном всемогуществе, и вот я уже спрашивал себя, каковы мои достижения? Мне удалось объяснить происхождение архаической мифологии, я написал книгу о героях, о тех мифах, в которых когда-то обретал себя человек. Но как выглядит миф современного человека? Можно было бы ответить, что это хри-

стианский миф. «А переживаешь ли ты сам этот миф?» — спросил я себя. — «По правде говоря, нет. Это не мой миф». — «Стало быть, у нас нет больше мифов?» — «Думаю, это не так». — «А каков твой миф? Миф, в котором ты сам живешь?» Но здесь я вынужден был прекратить этот диалог с самим собой — передо мной был тупик.

\* \* \*

В канун Рождества 1912 года мне приснился сон. Я оказался в великолепном итальянском палаццо — с колоннами, мраморным полом и мраморной балюстрадой. Я сидел на золотом стуле эпохи Ренессанса за богато изукрашенным столом. Он был сделан из зеленого камня, похожего на изумруд. Я понял, что нахожусь в замковой башне. Мои дети сидели рядом со мной.

Вдруг сверху спланировала красивая белая птица, похоже, небольшая чайка или голубь. Она грациозно опустилась на стол, и я жестами попросил детей не двигаться, чтобы не спугнуть ее. Неожиданно птица превратилась в маленькую светловолосую девочку лет восьми и побежала вместе с детьми играть в галереях замка.

Я же остался сидеть, размышляя над увиденным. Но тут малышка вернулась и нежно обняла меня, затем внезапно исчезла, и снова появилась птица, которая медленно заговорила человеческим голосом: «Только в первые часы ночи, когда мой муж занят с двенадцатью мертвецами, я могу обрести человеческий облик». После этого она исчезла в синеве, а я проснулся.

Единственное, в чем я уверен, — этот сон был удивительным проявлением бессознательного. Но объяснить его я не мог, поскольку не владел техникой проникновения в бессознательные процессы. Что может быть общего у голубя с двенадцатью мертвецами? Изумрудный стол напомнил мне историю с *tabula smaragdina*. Я подумал и о двенадцати апостолах, о двенадцати месяцах, о двенадцати знаках Зодиака, но отгадки найти не мог. В конце концов я перестал ее искать. Оставалось одно — ждать, жить дальше, доверяясь своим фантазиям.

В их числе была одна — постоянная, пугающе навязчивая: мне являлось что-то мертвое и одновременно живое. Так я видел трупы в печах крематория, но после оказывалось, что это еще живые люди. Эти фантазии достигли пика и наконец разрешились в одном сновидении.

Я находился в месте, напоминавшем Елисейские поля (*Elysamps*) недалеко от Арля, где есть захоронение эпохи Меровингов. Во сне я отошел от города и увидел перед собой аллею, с длинными рядами могил. Это были каменные плиты, на которых лежали мертвецы в своих одеждах, со сложенными на груди руками, напоминая рыцарей в доспехах в старинных склепах. Разница состояла лишь в том, что мертвецы в моем сне были не из камня, а выглядели как особым образом изготовленные мумии. Остановившись перед первой могилой, я внимательно оглядел мертвеца, который похоже, был из 30-х годов прошлого века. Я изучал его одеяние, когда он вдруг зашевелился и разнял руки. Я понял, что это произошло только потому, что я посмотрел на него. Мне стало как-то не по себе; пройдя дальше, я остановился возле следующего, — он был из XVIII века и тоже ожил, как только я взглянул на него. Двигаясь вдоль всего ряда, я добрался до захоронений XII века — до крестоносца в кольчуге, который показался мне вырезанным из дерева. Я смотрел на него довольно долго, чтобы убедиться, что он действительно мертв, и вдруг заметил, как начинают шевелиться пальцы на его левой руке.

Этот сон долгое время не давал мне покоя. Разумеется, я сразу вспомнил идею Фрейда о следах архаического опыта, что таятся в бессознательном современного человека. Но такие сны и мой собственный опыт убеждали меня, что это вовсе не реликвии утраченных форм, но живая составляющая нашего существа. Мои более

поздние исследования подтвердили это предположение, оно стало отправным пунктом учения об архетипах.

Однако потрясающее впечатление, которое произвели на меня эти сны, не помогло избавиться от неуверенности и обрести твердую почву под ногами. Напротив, я испытывал неослабное внутреннее напряжение. В какой-то момент его сила настолько возросла, что мне показалось, будто я схожу с ума. Я начал вспоминать всю свою жизнь, все подробности, особенно детские годы, надеясь в прошлом отыскать причину сегодняшней утраты душевного равновесия. Но эта ретроспектива ни к чему не привела, и мне пришлось расписаться в собственном бессилии. Тогда я сказал себе: «Раз уж я ничего не знаю, все, что мне остается, — это просто наблюдать за происходящим со мной». Таким образом, я намеренно предоставил свободу бессознательным импульсам.

Первое, что всплыло в памяти, это мои ощущения, когда мне было лет десять или одиннадцать. В то время я увлеченно играл в кубики. Хорошо помню, как строил из них замки и домики с воротами и круглыми арками из бутылок. Несколько позже строительным материалом стали обычные камни, когда я использовал грязь вместо раствора. Это увлечение длилось достаточно долго. Странно, но воспоминания оказались очень живыми, эмоциональными и вызвали множество ассоциаций.

«Вот оно что, — подумал я, — стало быть, все это еще имеет для меня значение. Маленький мальчик созидает нечто, живет творческой жизнью, и сейчас мне недостает именно этого. Но я уже не могу оказаться вновь на его месте. Разве можно преодолеть расстояние между взрослым человеком и одиннадцатилетним мальчиком?» И все же, если я хотел восстановить эту связь, мне не оставалось ничего другого, как снова стать ребенком и безмятежно играть в свои детские игры.

Этот экскурс в прошлое во многом повлиял на мою дальнейшую судьбу. После длительного внутреннего сопротивления я в конце концов вернулся к играм, хотя и не без болезненного и унижительного чувства принуждения. Но ведь у меня действительно не было иного выбора.

Я принялся собирать подходящие камни: какие-то находил на берегу озера, какие-то — в воде. Я построил замок и несколько домиков — этакую маленькую деревню. Поняв, что в ней должна быть церковь, я сложил квадратное здание с куполом и колокольней. Оставалось лишь соорудить алтарь, но здесь я заколебался.

Это мучило меня как некая задача, которую необходимо было решить. Однажды я, как обычно, брел вдоль озера, подбирая камни, попадавшие в прибрежном песке, и вдруг увидел красный камень в форме пирамидки, высотой около четырех сантиметров. Камень был отшлифован волнами, его форма была как бы задана самой природой. Я подумал: «Вот и алтарь!» Я поместил его в центре под куполом и, когда устанавливал, вспомнил подземный фаллос из моего детского сна. Такую ассоциацию я нашел вполне удовлетворительной.

Строительством я занимался ежедневно после обеда, если только позволяла погода. Быстро поев, я включался в игру и играл до прихода пациентов. Если удавалось закончить работу раньше, вечером я вновь возвращался к своим камням. Мысли мои при этом становились удивительными, позволяя предаваться фантазиям, которые прежде казались мне туманными, почти неосязаемыми.

Естественно, я много размышлял, пытаясь проникнуть в смысл того, что делал, задавая себе вопрос: «Чем же ты, собственно, занимаешься? Строишь маленькую деревню так, будто совершаешь некий ритуал!» Ответить на этот вопрос я не мог, но почему-то был уверен в том, что нахожусь на пути к своему мифу. Мое строительство послужило началом некоего нового этапа, когда фантазии хлынули нескончаемым потоком. Я старательно их записывал.

«Игры» стали для меня необходимостью. Когда мне приходилось сталкиваться с затруднениями, или с неразрешимой ситуацией, я начинал рисовать или играть с камнями. И всякий раз это было неким *rite d'entree* (ритуальным действием. — *фр.*) — я находил спасительную мысль и возвращался к работе. Все, написанное в этом году, написано благодаря моей работе с камнем. Я целиком отдался этой работе после смерти жены. Последние дни ее жизни, ее смерть и все, что мне пришлось переждать за это время, совершенно выбили меня из колеи. Мне стоило больших усилий вновь прийти в себя, и работа с камнем помогла мне.

Близилась осень 1913 года, и напряжение, которое я ощущал прежде, — нечто мрачное и гнетущее, теперь, казалось, вырвалось наружу, разлилось в самом воздухе. Причиной этого была уже не столько моя личная психологическая ситуация, сколько окружающая меня действительность. И это ощущение нарастало.

В октябре, когда я путешествовал в одиночестве, меня посетило неожиданное видение — чудовищный поток, накрывший все северные земли. Он простирался от Англии до России, от Северного моря до подножий Альп. Когда же он приблизился к Швейцарии, я увидел, что горы растут, становятся все выше и выше, как бы защищая от него нашу страну. Передо мной развернулась картина ужасной катастрофы: я видел могучие желтые волны, несущие какие-то обломки и бесчисленные трупы, потом это море превратилось в кровь. Видение длилось около часа. Я был потрясен, мной овладели дурнота и стыд за мою слабость.

Спустя две недели видение — более кровавое и страшное — повторилось. Тогда же я услышал, как некий внутренний голос произнес: «Смотри, вот что произойдет!»

Помнится, что зимой кто-то поинтересовался, каков мой прогноз на ближайшее будущее. Я ответил, что у меня нет прогнозов, но что я видел потоки крови. Это видение не давало мне покоя.

Задавая себе вопрос, не является ли мое видение предвестником грядущих революционных событий, я все же не мог представить себе ничего подобного и решил, что это касается только меня, что мне угрожает психоз. Мысль о войне даже не приходила мне в голову.

Вскоре после этого, весной и ранним летом 1914 года, мне трижды снился один и тот же сон — что в разгар лета вдруг наступает арктический холод и вся земля покрывается льдом. Я видел замерзшую и совершенно обезлюдевшую Лотарингию с ее каналами, заледеневшие реки и озера, зачоченевшие и погибшие растения. Этот сон я видел в апреле и мае, и в последний раз — в июне 1914 года.

Гибельный вселенский холод я увидел и в моем третьем сне, но заканчивался этот сон неожиданным образом. Перед моими глазами возникло дерево, цветущее, но бесплодное. («Мое дерево жизни», — подумал я.) И вот на морозе его листья вдруг превратились в сладкий виноград, исполненный целительного сока. Я нарвал ягод и отдал их каким-то людям, которые, похоже, ожидал и этого.

В конце июля 1914 года я получил приглашение от Британского медицинского общества приехать на конгресс в Абердин, там я должен был выступить с докладом «О значении бессознательного в психопатологии». Все это время меня преследовало ожидание надвигающейся катастрофы: я знал, что такого рода сны и видения посланы судьбой. Мое тогдашнее состояние, мои страхи заставили увидеть нечто фатальное в том, что сейчас я должен говорить о значении бессознательного.

Первого августа разразилась мировая война. Передо мной возникла проблема: я просто обязан был разобраться, что же произошло и насколько мое состояние было обусловлено неким коллективным духом. Прежде всего нужно было понять самого

себя. И я начал с того, что составил перечень всех фантазий, которые приходили мне в голову, пока я строил свои домики.

Поток фантазии был непрерывным, и я пытался делать все возможное чтобы не заблудиться, чтобы каким-то образом разобраться во всем этом. Я чувствовал себя совершенно беспомощным, уже не веря, что смогу справиться с этим мощным потоком чужеродных образов. Постоянное напряжение не спадало, иногда казалось, будто на меня обрушивались каменные глыбы. Одна буря шла за другой. В состоянии ли я чисто физически вынести то, что погубило других, что надломило Ницше, а в свое время — и Гёльдерлина. Но во мне поселился некий демон, с самого начала внушавший, что я должен добраться до смысла своих фантазий. Я испытал ощущение, что некая высшая воля направляла и поддерживала меня в этом разрушительном потоке бессознательного. И она же в итоге дала мне силы выстоять.

Возбуждение зачастую доходило до такой степени, что я вынужден был прибегать к йоге, дабы как-то обуздать свои чувства. Моей целью было узнать, что же со мной происходит. И как только мне удавалось успокоиться, я снова обращался к своему подсознанию. Вновь ощутив себя самим собой, я давал волю всем звучащим во мне образам и голосам. Индус же занимается йогой с целью прямо противоположной, стремясь полностью освободиться от психической жизни во всем ее непредсказуемом многообразии.

Когда мне удавалось перевести чувства в образы, то есть найти в них какие-то скрытые картины, я достигал покоя и равновесия. Если бы я не сумел объяснить себе собственные чувства, они захлестнули бы меня и в конечном счете разрушили бы мою нервную систему. Возможно, на какое-то время мне и удалось бы отвлечься, но это лишь усугубило бы мой неизбежный невроз. По своему опыту я знал, как полезно, с терапевтической точки зрения, объяснять эмоции, находить скрытые за ними образы и картины.

Я старался записывать свои фантазии так подробно, насколько это было возможно, стараясь выявить их психологические источники. Но адекватного отображения не получалось: мой язык был слишком беспомощным. Поначалу я писал языком темным и архаическим, — архетипы выглядели патетичными и высокопарными, что меня раздражало. (Мне это действовало на нервы, как если бы кто-то скреб ногтем по штукатурке или ножом по тарелке.) Но я не знал, каким языком пользовалось мое бессознательное, и у меня не было выбора: я записывал то, что слышал. Создавалось впечатление, будто мои уши слышат его, мой язык произносит; наконец, я слышал собственный шепот — я повторял вслед за бессознательным.

С самого начала я расценивал свой диалог с бессознательным как научный эксперимент, который проводил сам и в результатах которого был жизненно заинтересован. Сегодня можно сказать, что это был эксперимент, который я поставил на себе. Одна из самых больших сложностей была связана с моими собственными негативными реакциями. Я позволил чувствам овладеть мной. Я — зачастую против воли — записывал фантазии, ошеломлявшие меня своей абсурдностью. Ведь когда не понимаешь их смысла, они кажутся чудовищной смесью высокого и смешного. Это дорого мне обошлось, но это, на мой взгляд, было предназначено мне судьбой. Ценой невероятных усилий мне удалось наконец выбраться из лабиринта моих фантазий.

К этим фантазиям, которые так волновали меня и, можно сказать, управляли мной, я испытывал не только непреодолимое отвращение, они вызывали у меня не-

---

\* Рассказывая об этом, Юнг пришел в сильное волнение. «Froh dem Tode entronnen zu sein» (Счастлив избежавший смерти), — повторял он строки из «Одиссеи», которые выбрал в качестве эпитафии к данной главе. — ред.

описуемый ужас. Больше всего я опасался потерять контроль над собой и сделаться добычей своего бессознательного. Как психиатру мне было слишком хорошо известно, что это значит. И все же я пошел на риск, позволяя этим образам завладеть мной, и главным образом потому, что, не испытав все сам, я не решился бы поставить в подобную ситуацию пациента. Отговорки вроде той, что де рядом с пациентом кроме всего прочего находится еще некий помощник, были для меня неприемлемы. Я был убежден, что этим так называемым помощником являюсь я сам, что у меня нет собственного знания, а есть лишь сомнительной ценности теоретические предрассудки. Мысль о том, что весь риск от этих опасных экспериментов связан не столько со мной лично, сколько с моими пациентами, в критических ситуациях существенно поддерживала меня.

\* \* \*

Это случилось в один из адвентов 1913 года (12 декабря). В этот день я решился на исключительный шаг. Сидя за письменным столом, я погрузился в привычные уже сомнения, когда вдруг все оборвалось, будто земля в буквальном смысле разверзлась у меня под ногами, будто я провалился в ее темные глубины. Меня охватил панический страх, но внезапно и на не такой уж большой глубине я ощутил под ногами какую-то вязкую массу. Мне сразу стало легче, хотя вокруг была крошечная тьма. Потом, когда глаза привыкли, я начал понимать, что это не тьма, а как бы сумерки. Передо мной у входа в темную пещеру стоял карлик, сухой и темный как мумия. Я протиснулся мимо него в узкий проход и побрел по колено в ледяной воде к другому концу пещеры, где на каменной стене светился красный кристалл. Я приподнял камень и увидел под ним щель. Сначала я ничего не мог различить, заглянув в нее, но, присмотревшись, обнаружил воду, а в ней — труп молодого белокурого человека с окровавленной головой. Он проплыл мимо меня, за ним следом плыл огромный черный скарабей. Затем из воды поднялось ослепительно красное солнце. Свет бил в глаза, и я хотел засунуть камень обратно в отверстие, но не успел — поток хлынул наружу. Это была кровь! Она била густой и упругой струей. К горлу у меня подступила тошнота. Поток крови казался нескончаемым. Потом все прекратилось так же внезапно, как и началось.

Это видение привело меня в глубокое смятение. Я догадался, конечно, что *pièce de resistance* (основным блюдом. — *фр.*) был некий солярный героический миф, драма смерти и возрождения, которое символизировал египетский скарабей. Все должно было завершиться рассветом — наступлением нового дня, но вместо этого хлынул кошмарный поток крови, очевидная аномалия. Вспомнив кровавый поток, виденный осенью, я отказался от попыток объяснить это.

Шесть дней спустя (18 декабря 1913 года) мне приснился сон.

Я оказался где-то в горах с незнакомым темнокожим юношей, по-видимому дикарем. Солнце еще не взошло, но на востоке уже посветлело и звезд не было видно. Внезапно раздался звук трубы — это был рог Зигфрида, и я знал, что мы должны убить его. У нас было оружие, мы затаились в засаде, в узкой расселине за скалой.

И вот на краю обрыва в первых лучах восходящего солнца появился Зигфрид. На колеснице из костей мертвецов он стремительно мчался вниз по крутому склону. Как только он появился из-за поворота, мы выстрелили — и он упал лицом вниз — навстречу смерти.

Мучимый раскаянием и отвращением к себе — ведь я погубил нечто столь величественное и прекрасное, — я бросился бежать. Мною двигал страх, что убийство раскроется. И тут обрушился ливень, и я понял, что он уничтожит следы преступления. Итак, я спасен, и жизнь продолжается. Но невыносимое чувство вины осталось.

Проснувшись, я стал раздумывать, что бы это значило, но понять не смог. Я попытался заснуть снова, но услышал некий голос: «Ты должен понять это, должен объяснить это прямо сейчас!» Волнение мое усиливалось, наконец наступил ужасный момент, когда голос произнес: «Если ты не разгадаешь сон, тебе придется застрелиться!» В ящике ночного столика я держал заряженный револьвер, и мне стало страшно. Лихорадочно перебирая в уме все детали сна, я вдруг понял его смысл. Он был о событиях, происходивших в мире. Зигфрид, думалось мне, является воплощением всего того, чего хотела достичь Германия, — навязать миру свою волю, свой героический идеал — «Воля пролагает путь». Таков был и мой идеал. Сейчас он рушился. Сон ясно показывал, что героическая установка более не допустима, — и Зигфрид должен быть убит.

Мое преступление причинило мне такую сильную боль, будто я убил не Зигфрида, а себя самого, фактически отождествляя себя с ним, героем. Я страдал, как страдают люди, жертвуя идеалами. Сон означал мой сознательный отказ от героической идеализации, потому что существует нечто такое, что выше моей воли, и моей власти, и моего «я».

Размышляя так, я успокоился и снова уснул.

Темнокожий дикарь, мой спутник, по сути толкнувший меня на преступление, был моей примитивной архаической тенью. А дождь в моем сновидении как бы «снял» напряжение между сознанием и бессознательным.

Тогда мои возможности объяснения этого сна исчерпывались теми немногими идеями, которые я здесь излагаю. Но это дало мне силы продолжить эксперимент с бессознательным.

\* \* \*

Для того чтобы удержать фантазии, я часто воображал некий спуск и однажды даже попытался дойти до самого низа. Сначала я будто бы спустился метров на 300, но уже в следующий раз оказался на некой космической глубине. Это напоминало путешествие на Луну или погружение в пропасть. Сначала возник образ кратера, и мне почудилось, будто я нахожусь в стране мертвых. Под скалой я увидел двоих — седобородого старика и прекрасную девушку. Я приблизился к ним, словно они были реальными людьми, и стал прислушиваться к их беседе. Старик ошеломил меня, заявив, что он Илья-пророк. Но ответом девушки я был просто возмущен — она назвала себя Саломеей! Девушка была слепой. Что за странная пара: Саломея и Илья-пророк. Но старик заверил, что они вместе уже целую вечность, и это меня окончательно сбilo с толку. С ними жила какая-то черная змея, которая, похоже, отнеслась ко мне благожелательно. Я старался держаться ближе к старику — он выглядел наиболее разумным и здравомыслящим из всей этой компании. К Саломее же я никакого доверия не испытывал. С Ильей мы вели долгие беседы, смысл которых, однако, ускользал от меня.

Разумеется, я старался найти правдоподобное объяснение появлению этих библейских персонажей в моей фантазии, помня и о том, что мой отец был священником. Но это ничего не объясняло. Что такое этот старик? Что такое — Саломея? Почему они вместе? Лишь много позже, когда мне стало известно многое, чего я не знал тогда, связь между стариком и девушкой перестала казаться странной и непонятной.

В подобных снах, равно как и в мифологических путешествиях, старец и девушка нередко появляются в паре. Например, Симон-волхв, по преданию, странствовал с молодой девушкой по имени Елена, взятой им из публичного дома (предполагалось, что в нее вселилась душа Елены Троянской). В этом же ряду — Клингсор и Кундри, Лао-Цзы и следовавшая за ним повсюду молодая танцовщица.



В моей фантазии был еще один образ — большая черная змея. И хотя в мифах змея чаще всего противостоит герою, тем не менее существуют многочисленные признаки их родства. Например, у героя могут быть змеиные глаза, или после смерти он превращается в змею и в этом качестве становится объектом поклонения, наконец, он мог быть рожден змеей и т. д. Присутствие змеи в фантазии свидетельствует о ее связи с героическим мифом.

Саломея — это анима. Она слепа, потому что не видит сути вещей. Илья, напротив, стар и мудр, он — носитель гностического начала, тогда как Саломея — эротического. Можно сказать, что эти образы составляют антитезу — эрос и логос. Но подобные определения выглядят чересчур интеллектуализированными, поэтому их, пожалуй, стоит оставить такими, какими они тогда мне представлялись — некими символами, объясняющими смысл бессознательных процессов.

Несколько позже мое бессознательное явило мне другой образ, он стал развитием и продолжением Ильи-пророка. Я назвал его Филемоном. Будучи язычником, Филемон привнес в мои фантазии некое египетско-эллиническое настроение с оттенком гностицизма. Образ этот впервые явился мне во сне.

Я видел небо, но оно походило на море. Его покрывали не облака, а бурые комья земли, между которыми просвечивала голубизна морской воды, но эта вода была небом. Вдруг откуда-то справа ко мне подлетело крылатое существо — старик с рогами быка. В руках у него была связка ключей, один из них он держал так, будто собирался открывать замок. Окрас его крыльев напоминал крылья зимородка.

Я не понимал этого образа и нарисовал его, чтобы запомнить. И тогда же я наткнулся в своем саду у побережья на мертвого зимородка. Это было странно: зимородки не часто встречаются в окрестностях Цюриха, почему я и был потрясен этим, на первый взгляд, случайным совпадением. Птица умерла незадолго до того, как я ее нашел, — дня за два или за три; никаких внешних повреждений у нее не обнаружилось.

Филемон и другие образы фантазий помогли мне осознать, что они, возникнув в моей психике, созданы тем не менее не мной, а появились сами по себе и живут своей собственной жизнью. Филемон представлял некую силу, не тождественную мне. Я вел с ним воображаемые беседы. Мой фантом говорил о вещах, которые мне никогда не пришли бы в голову. Я понимал, что это произносит он, а не я. Он объяснил, что мне не следует относиться к своим мыслям так, будто они порождены мной. «Мысли, — утверждал он, — живут своей жизнью, как звери в лесу, птицы в небе или люди в некой комнате. Увидев таких людей, ты же не заявляешь, что создал их или что отвечаешь за их поступки». Именно Филемон научил меня относиться к своей психике объективно, как к некой реальности.

Беседы с Филемоном сделали для меня очевидным различие между мной и объектом моей мысли. А поскольку он являлся именно таким объектом и спорил со мной, я понял, что есть во мне нечто, объясняющее вещи, для меня неожиданные, которые я не готов принять.

Психологически я воспринимал Филемона как некий высший разум. Он казался мне фигурой таинственной, временами совершенно реальной. Я гулял с ним по саду, чувствуя что он является для меня чем-то вроде того, что в Индии называют гуру.

Всякое новое порождение фантазии воспринималось мной как личное поражение. Оно означало еще что-то, до сих пор от меня скрытое, и меня охватывал страх: я боялся, что вереница этих образов окажется бесконечной, что я потеряю себя, свое «я», опускаясь все ниже и ниже в бездну бессознательного. Мое собственное «я» переживало унижение, хотя внешне я, похоже, преуспевал и, наверное, заслуживал лучшего.

Но меня окружала тьма. *Horrida nostrae mentis purga tenebras* (Наш суровый разум разгоняет тьму. — *лат.*), и лучшее, что я мог себе пожелать, это иметь настоящего гуру, — чтобы кто-то был рядом со мной — кто-то, превосходящий меня знаниями и опытом, способный разобраться в путанице произвольных созданий моей фантазии. Эту задачу и взял на себя Филемон, которого я *volens-volens* признал своим наставником. Он и в самом деле сумел облегчить мою жизнь.

Помню, как лет через пятнадцать меня посетил пожилой и очень интеллигентный индус, друг Ганди. Мы с ним беседовали о системе образования в Индии и, в частности, об отношениях между гуру и *chelah* (учениками). Я осторожно попросил гостя рассказать что-нибудь о личности и характере его собственного гуру. На это он мне совершенно серьезно ответил: «Это был Чанкарачара». «Не хотите ли вы сказать, что имеете в виду комментатора Вед? Но ведь он давно умер», — поразился я. «Да, речь именно о нем», — подтвердил индус. «Следовательно, это был дух?» — спросил я. «Разумеется», — сказал он. В этот момент мне вспомнился Филемон. «Такие гуру-призраки существуют, — добавил мой гость. — У большинства людей живые гуру, но всегда были люди, у которых наставниками были духи».

Меня это несколько успокоило. Значит, я не совсем утратил связь с миром, что меня постоянно мучило. Выходит, я переживал то же, что и другие, в моих проблемах не было ничего исключительного.

Затем на смену Филемону пришел другой образ, я назвал его Ка. В древнем Египте «царь Ка» был существом, относящимся к стихии земли, ее духом; в моей фантазии дух Ка явился из земли — из глубокой расщелины. Я нарисовал его, попытавшись передать эту его связь с землей; у меня получилось изображение, чем-то напоминающее бюст, с каменным основанием и верхней частью. Верх рисунка венчало крыло зимородка, а между ним и головой Ка находилось нечто вроде искрящейся дымки. В выражении лица Ка угадывалось что-то демоническое, я бы сказал — мэфистофельское. В одной руке он держал какой-то предмет, похожий на пагоду или пеструю шкатулку, в другой — некое стило. Он заявил о себе так: «Я тот, кому боги наказали хранить золото».

Филемон был хромым, но крылатым духом, другой же — Ка — олицетворял собой стихии земли или металла. Филемон являлся духовным, осмысленным началом, Ка — духом природы, как Антропариион в греческой алхимии, о которой в то время я ничего не знал. Ка воплощал нечто реальное, но одновременно он был тем, кто скрывает смысл (дух птицы) или подменяет его красотой (вечным отражением).

Со временем эти образы слились у меня в один — я стал изучать алхимию.

\* \* \*

Записывая эти фантазии, я как-то спросил себя: «А чем я, собственно, занимаюсь?» Все это явно не имеет никакого отношения к науке. Но тогда что же это такое? Ответ мне дал некий голос: «Это искусство». Я удивился, мне и в голову не приходило, что мои фантазии имеют какое-то отношение к искусству. Но я сказал себе: «Возможно, бессознательное формирует личность, которая не является мной и которая пытается себя выразить, подбирая нужные слова». У меня была абсолютная уверенность, что этот внутренний голос принадлежал женщине, и более того — одной моей пациентке, весьма одаренной, но страдавшей психопатией. В наших с ней беседах всегда имелась изрядная доля *переноса*. В этот момент я представлял ее очень ясно.

Конечно, то, что я делал, не имело ничего общего с наукой. Выходит, что это не искусство? Третьего не дано. Но это же типично женский подход.

Я постарался как можно убедительнее втолковать голосу, что мои фантазии не связаны с искусством. Голос молчал, и я вернулся к своим записям. Но он снова двинулся в атаку; твердо заявляя «Это искусство». «Ничего подобного! И вообще, это — природа», — отрезал я, готовясь к спору. Однако возражений не последовало. Тогда мне пришло в голову, что эта «женщина во мне» лишена собственных речевых центров и пытается объясниться с моей помощью. Она говорила со мной не раз, причем довольно обстоятельно.

Меня крайне занимало то, что внутри меня существует какая-то женщина и вмешивается в мои мысли. «Возможно, — размышлял я, — она и есть «душа» в примитивном смысле слова? И почему душу назвали «анима»? Почему ее представляют как нечто женственное?» Много позже я осознал, что «женщина во мне» — это некий типический, или архетипический, образ, существующий в бессознательном любого мужчины. Я назвал его «анима». Аналогичный образ в бессознательном женщины получил имя «анимус».

Поначалу меня заинтересовали негативные аспекты анимы. Я испытывал страх перед ней, как от присутствия чего-то незримого. Затем, взглянув на себя со стороны, я подумал, что все мои записи и наблюдения над собой есть не что иное, как письма, посылаемые ей, — т.е. той части моего «я», чей взгляд на вещи отличался от моего — сознательного — взгляда. Это самому мне казалось необычным и неожиданным. Разговоры с самим собой походили на беседы пациента с психоаналитиком, причем здесь в роли моего пациента выступал некий женственный призрак. Каждый вечер, записывая свои фантазии, я думал об одном: если не запишу, моя анима не запомнит их. Была и другая причина можно назвать и другую причину добросовестности: в записанном уже трудно что-либо исказить или перепутать. Между тем, что сказано, и тем, что записано, существует огромная разница. В «письмах» я, насколько это возможно, старался быть честным, следуя известному античному постулату: «Отдай все, что имеешь, и тогда обретешь то, что желаешь».

Постепенно я научился отличать свои собственные мысли от того, что говорила моя анима. Когда она пыталась приписать мне какую-нибудь банальность, я внушал себе: «Да, раньше я действительно так думал, но я вовсе не обязан думать так сейчас и думать так всегда. Это унижительно. Зачем мне это?»

В чем же заключается главное различие? — В умении отстраниться от бессознательных элементов и как-то их персонифицировать. Тогда наладить с ними сознательную связь будет сравнительно легко. Только так можно лишить бессознательное той власти, которую оно приобретает над нами. Это проще, чем кажется на первый взгляд, поскольку бессознательное по сути всегда в известной степени автономно и обладает некоторой внутренней целостностью. Хотим мы или не хотим, но присутствие некой самостоятельной единицы внутри нас приходится признавать. Но сам факт такой автономии позволяет нам управлять бессознательными процессами.

Пациентка, голос которой говорил во мне, действительно умела заставить мужчину подчиняться ей. Она, например, смогла убедить одного моего коллегу в том, что он непризнанный и непонятый художник. Он поверил, и ни к чему хорошему это не привело. Почему такое стало возможным? Потому, что коллега жаждал признания — не водном, так в другом. Здесь и крылась опасность: он оказался беззащитным перед лживыми заверениями собственной анимы, ведь ее слова зачастую звучат так завлекательно и убедительно.

Если бы только я согласился воспринимать мои бессознательные фантазии как искусство, я стал бы смотреть на них другими глазами — как смотрят, например, кинофильмы. Это, конечно, не сделало бы их более убедительными, не поставило бы меня перед некой моральной проблемой. Но анима могла внушить мне, что я — не-

признанный художник и что моя так называемая «художественная» натура дает мне право уйти от реальности. Если бы я пошел за голосом, то однажды неизбежно услышал бы: «По-твоему, эта ерунда, которой ты занимаешься, — искусство? Ни в малейшей степени!» Эта двойственность анимы, это бессознательное внушение могут в конце концов привести к разрушению самих оснований человеческой личности. Но решающим в конечном итоге является все же сознание. Именно оно должно определиться по отношению ко всякого рода бессознательным проявлениям.

Тем не менее анима обладает и некоторыми положительными свойствами. Она является посредником между сознанием и бессознательным, и в этом мне видится ее преимущество. Я всегда призывал ее на помощь, когда чувствовал, что мое душевное равновесие нарушено, что в моем подсознании что-то происходит. В этот момент я задавал ей вопрос: «Что с тобой? Что ты видишь? Дай мне знать». После некоторого сопротивления анима, как правило, являла мне образ, вполне зримый, и тогда беспокойство и подавленность исчезали. Вся моя эмоциональная энергия обращалась в любопытство, сосредоточивалась на содержании образа. Потом, обсуждая с анимой эти образы, я понимал, что должен объяснить их себе, как в свое время сну.

Сегодня я уже не испытываю нужды в этих беседах, поскольку не переживаю ничего подобного. Но если бы все повторилось, я поступил бы именно так. Сегодня я способен воспринимать подобные идеи непосредственно, поскольку вижу бессознательное таким, как есть, и понимаю его. Я знаю, как следует обращаться с этими образами, и, когда они являются мне в сновидениях, могу сам, без анимы-посредника найти нужное объяснение.

Записи моих тогдашних фантазий я назвал «Черной книгой», которую позже переименовал в «Красную книгу» и сопровождал ее рисунками.\* В нее вошла большая часть моих рисунков с изображением мандалы. В «Красной книге» я попытался облечь мои фантазии в определенную эстетическую форму, но до конца эту работу не довел. Я понял, что не нахожу пока нужных слов и должен выразить это как-то иначе. Поэтому в какой-то момент мне пришлось отказаться от эстетизации, обратившись лишь к смыслу. Я видел, что фантазиям требуется некоторое твердое основание, что мне самому необходимо спуститься на землю — вернуться в реальный мир. Но обрести основание в реальном мире я мог, только научно осмыслив его. Я поставил перед собой цель осмыслить данный мне бессознательным материал. И отныне это стало смыслом всей моей жизни.

Некоторую эстетизацию в «Красной книге» я допускал еще и потому, что бесконечная череда бессознательных видений и образов ужасно раздражала меня, — мне нужно было снять некоторые моральные установки. Все это существенно отразилось на моем образе жизни. Именно тогда я понял, что ничто так не влияет на нашу жизнь, как язык: ущербный язык делает ущербной и жизнь. Дав такое объяснение угнетавшим меня бессознательным фантазиям, я освободился от них, решая одновременно две проблемы — интеллектуальную и моральную.

По иронии судьбы я, психиатр, на каждом шагу обнаруживал в себе тот самый материал, который лежит в основе психозов и с которым можно столкнуться разве что в сумасшедшем доме. Это был мир бессознательных картин и образов, приводивший душевнобольных к роковому безумию. Но в нем же содержались некие мифологические формы, которые нашим рациональным веком уже утрачены. И хотя мифологические фантазии — сами по себе — не являются чем-то исключительным, они вызывают страх, они табуированы. Мы всегда рискуем или пускаемся в сомни-

---

\* «Черная книга» — это маленький томик в черном кожаном переплете. «Красная книга» — своего рода фолиант в сафьяновом переплете, напоминающий по форме средневековые рукописи; и шрифт, и язык стилизованы в нем под готику. — ред.

тельное приключение, ступив на опасный путь, который ведет в глубины бессознательного. Он считается заведомо ложным, неоднозначным и чреватым всяческими недоразумениями. Гёте, помнится, говорил: «Набравшись духу, выломай руками ворота, которых самый вид страшит». Ведь вторая часть «Фауста» — нечто гораздо большее, нежели литературный опыт, она является неким звеном в «*aurea catena*» (золотой цепи. — *лат.*), которая — от алхимиков и гностиков и вплоть до «Заратустры» — представляет собой сомнительный, непопулярный и опасный путь, путь исследований и великих открытий, лежащих по ту сторону обыденной жизни.

\* \* \*

Подвергая себя этому рискованному эксперименту, я понимал, что нужна точка опоры, которая находилась бы в «этом мире», и такой опорой были моя семья и моя работа. Я как никогда нуждался в чем-то нормальном, самоочевидном, что составляло бы противоположность всему странному в моем внутреннем мире. Семья и работа оставались спокойной гаванью, куда я всегда мог вернуться, напоминали мне, что я реально присутствую в этом мире, что я такой же человек, как все. Погружаясь в бессознательное, я временами чувствовал, что могу сойти с круга. Но я знал, что у меня есть диплом врача и я должен помогать больным, что у меня жена и пятеро детей, что я живу в Кюснахте на Озерной улице 228, — все это было той очевидностью, от которой я не мог уйти. Ежедневно я убеждался в том, что на самом деле существую и что я не легкий лист, колеблемый порывами духовных бурь, как это случилось с Ницше. Ницше утратил почву под ногами, поскольку у него не было ничего, кроме собственных мыслей, и те имели над ним куда больше власти, нежели он над ними. У Ницше не было корней, он парил над землей и потому впадал в крайности. Такой неадекватности я страшился, стараясь представить себя в *этом* мире, и в этой жизни. Какой бы бездонной ни была глубина моего погружения в бессознательное, куда бы ни увлекали меня фантазии, я всегда знал: все мной переживаемое — реальная жизнь, и я должен наполнить ее смыслом. Я говорил себе: «*Hic Rhodus, hic salta!*» (Здесь Родос, здесь прыгай! — *лат.*)

Семья и работа всегда оставались надежной реальностью моей жизни, гарантией того, что я нормален и действительно существую.

Происходившие во мне внутренние изменения постепенно начали как-то проявлять себя, оформляться: возникла внутренняя потребность сформулировать и выразить то, что могло быть сказано Филемоном. Так появились в 1916 году «*Septem Sermones ad Mortuos*» с их необычным языком.

А началось все с непонятной мне самому неразберихи: я не имел представления, что все это значит и что я должен делать. Возникло ощущение, что атмосфера вокруг меня сгущается, ее заполняли какие-то диковинные призрачные существа. Так оно и было: в моем доме стали появляться привидения. В одну из ночей моя старшая дочь увидела пересекавшую комнату бледную фигуру, вторая дочь пожаловалась, что дважды за ночь у нее пропадало одеяло, а моему девятилетнему сыну приснился страшный сон. Утром он взял у матери карандаш и, несмотря на то что прежде никогда не рисовал, на сей раз захотел изобразить увиденное. Так появился рисунок под названием «Портрет рыбака». В центре листа были изображены река и рыбак с удочкой на берегу. Он ловит рыбу. На голове его почему-то возвышается труба, из которой вырываются языки пламени и дым. С противоположного берега к нему летит дьявол, проклиная рыбака за то, что тот украл его рыбу. Но над рыбаком парит ангел со словами: «Ты не повредишь ему, он ловит только плохую рыбу!» Все это мой сын нарисовал в субботу утром.

В воскресенье, приблизительно в 5 часов пополудни, неистовой трелью залился дверной колокольчик. Стоял солнечный летний день, обе служанки были на кухне,

откуда хорошо просматривалась открытая площадка перед входом. Услышав звонок, все сразу бросились к двери, но за ней никого не оказалось. Я видел даже, как колокольчик покачивался! Мы молча смотрели друг на друга. Поверьте, все это выглядело тогда очень странным и пугающим! Я знал: что-то должно случиться. Дом наводнили призраки, они бродили толпами. Их было так много, что я едва мог дышать и без конца спрашивал себя: «Бог мой, что же это такое?» Призраки отвечали мне: «Мы вернулись из Иерусалима, там мы не нашли того, что искали». Эти слова я сделал началом «Septem Sermones...».

Затем слова хлынули непрерывным потоком, и за три вечера вещь была написана. И едва я взялся за перо, как весь сонм призраков мгновенно исчез. Наваждение рассеялось, в комнате стало тихо, и воздух очистился. К вечеру снова что-то стало сгущаться, но потом все прошло. Было это в 1916 году.

Это невероятное событие следовало принимать таким, каким оно было, или, по крайней мере, таким, каким я его себе представлял. Оно, вне всякого сомнения, было связано с моим эмоциональным состоянием, которое и спровоцировало парапсихологические феномены. Это скопище бессознательных образов натолкнуло меня на мысль о присутствии некоего архетипического нумена. «Все неспроста и все полно примет».\* Разум, конечно, мог подобрать естественнонаучное объяснение происшедшему, а мог, что куда проще, объявить его не соответствующим законам, следовательно — не существующим. Но если бы все в этом мире соответствовало законам, он, думаю, был бы слишком суров для нас.

\* \* \*

Незадолго до названных событий я записал фантазию, в которой душа покидала меня. Смысл здесь просматривался четко: душа, анима, устанавливала связь с бессознательным, и *это* была связь с миром мертвых — бессознательное соответствует мифологической «стране мертвых», земле предков. И, если в моей фантазии душа отлетала, это означало, что она возвращается в бессознательное, в «страну мертвых». Подобное явление еще называют «потерей души» — оно нередко встречается у примитивных народов. В «стране мертвых» душе дана таинственная способность оживлять призраков и облекать в видимые формы древние инстинкты, т. е. коллективное бессознательное. Подобно медиуму, она дает мертвым возможность соприкоснуться с нашим миром. Поэтому вскоре после исчезновения моей души, явились «мертвые» — и так возникли «Septem Sermones...».

С тех пор мертвые стали для меня неким долженствованием, которое не дает ответа, не имеет решения, от которого не дано избавления. Однако судьбой мне предназначено было отвечать, и эти обязательства я давал своему внутреннему миру, а не миру, окружавшему меня. Общение с мертвыми явилось своего рода прелюдией к моим работам о бессознательном, адресованным этому миру. Они обозначили смысл и определили порядок всему, что есть и было в бессознательном.

Когда я возвращаюсь к прошлому и перебираю в памяти все случившееся со мной тогда, мне кажется, что это было послание — род приказа. Эти образы содержали нечто, относившиеся не только ко мне. Именно тогда я начал сознавать, что отныне не принадлежу себе, что у меня больше нет на это права. Мои научные изыскания относились к областям, в ту пору наукой еще не освоенным. Я экспериментировал над самим собой, но задачу ставил шире — «пересадить» результаты моего субъективного опыта на реальную почву, иначе они останутся фактами моей личной биографии. Тогда же я заставил себя целиком подчиниться собственным психическим состояниям. Я их любил и одновременно с тем ненавидел, но они были моим единст-

---

\* Фауст, ч. II, акт V.

венным достоянием. Посвящая свою жизнь их изучению, я понимал, что лишь таким образом смогу переживать свое бытие как нечто всеобщее.

Сегодня уже можно сказать, что я никогда не забывал о своих первых фантазиях. Все мной передуманное и сделанное имело истоки в тех первых снах и видениях. Это началось в 1912 году, почти 50 лет назад. Все, что произошло в моей жизни после, там уже присутствовало — только поначалу в форме эмоций и образов.

Научные занятия для меня были единственным способом и единственной возможностью преодолеть тот хаос, иначе я потерял бы себя во всем этом нагромождении образов. Ценой огромных усилий я старался осмыслить каждый отдельный образ, каждый устойчивый элемент бессознательного; и настолько, насколько это удавалось, упорядочить их на каком-то рациональном основании, а главное, установить их связь с реальной жизнью. Этими вещами мы обычно пренебрегаем; мы размышляем над ними, конечно, иногда удивляемся — но не более. Мы не даем себе труда понять их, не говоря уже о том, чтобы делать из них моральные выводы. Для нас куда предпочтительнее придумывать пространные отговорки о негативном влиянии бессознательного.

Не менее серьезную ошибку допускают те, по мнению которых достаточно лишь как-то объяснить образ и это уже будет знанием о нем. Если человек не рассматривает это знание как этическую заповедь, он впадает в иллюзию собственной власти над бессознательным, что может привести к опасным последствиям, губительным не только для других людей, но и для того, кто считает себя «посвященным». Образы из бессознательного налагают на человека огромную ответственность. Непонимание этого, равно как и уклонение от морального долга, лишает человека целостности и придает его жизни характер болезненной раздробленности.

Когда меня целиком захватил материал из моего бессознательного, я решил оставить работу в Цюрихском университете, где, будучи приват-доцентом, в продолжение восьми лет (с 1905 года) читал лекции. Мои опыты и уход в мир внутренний препятствовали внешней интеллектуальной деятельности. Закончив «Метаморфозы и символы либидо», я почти три года не мог открыть ни одну научную книгу. Заниматься наукой я больше не мог, рассказать о своих действительных занятиях не осмеливался. Меня угнетали беспомощность перед тем материалом, которым я в тот момент располагал. Я не был способен его понять и, тем более, каким-то образом оформить. В университете со мной считались, меня уважали, и поэтому я понимал, что вначале должен определиться сам. Было бы опасно продолжать учить студентов, обрушивая на них собственные сомнения и тем самым дезориентируя их.

Итак, я стоял перед выбором: или продолжать свою вполне успешную академическую карьеру, или, следуя логике своего внутреннего развития, целям высшего порядка, ценой невероятных усилий двигаться вперед, не прекращать удивительный опыт — диалог с бессознательным.

Таким образом я сознательно отказался от академической карьеры, поскольку знал, что, не закончив опыта, не смогу предстать перед публикой. Со мной происходило нечто важное: мне казалось, что *sub specie aeternitatis* (с точки зрения вечности. — *лат.*) это заполнит всю мою жизнь. Я был готов пойти на любой риск.

Так ли уж важно, в конце концов, сделаюсь я профессором или нет? Правда, я без особой радости принимал свою судьбу, пожалуй, отчасти я сожалел, что не могу жить как все, по общепринятым нормам. Но подобные эмоции преходящи и, по большому счету, мало что значат. То, другое во мне, было важнее. И когда, сосредоточиваясь, я внимал своему внутреннему голосу, досадное чувство отступало. Такое за мной водилось и раньше. Первые подобные опыты я испытал еще в детстве. И в юности мне случалось приходить в бешенство, но как только эмоции достигали пи-

ка, они тут же спадали, наступало затишье. В такие моменты все, что еще недавно волновало меня, оставалось далеко позади и казалось давно пережитым.

Следствием моего решения и моих занятий, предмет которых не был понятен ни мне, ни другим, стало крайнее глубокое одиночество. Это проявилось очень скоро; мне не с кем было поделиться своими размышлениями — они могли быть превратно истолкованы. Я очень болезненно переживал противоречие между окружающим меня миром и тем, что находил в себе. Тогда я еще не знал, что два эти мира могут взаимодействовать, и видел лишь разлад между «внутренним» и «внешним».

Тем не менее главная цель не вызывала у меня никаких сомнений: я смогу вынести свои идеи на суд общества и добиться признания только в том случае, если ценой невероятных усилий сумею доказать реальность моих психологических опытов, суть которых касается не меня лично, и как некий «коллективный» опыт имеет отношение ко всем людям. Позднее я попытался это отразить в моей научной работе, но сперва сделал все возможное, чтобы ознакомить моих близких с новой *manière de voir* (точкой зрения. — *фр.*) Я знал, что, если это не удастся, меня ждет полная изоляция.

\* \* \*

Только к концу первой мировой войны окружавший меня мрак стал постепенно рассеиваться. Причиной тому были две вещи: во-первых, я прекратил общение с женщиной, чей голос пытался внушить мне, будто мои фантазии имеют некую художественную ценность, во-вторых, — и это главное! — я начал понимать, зачем так настойчиво рисовал «мандалы». Это было в 1918 или 1919 году. Первую мандалу я изобразил в 1916, после того как написал «Septem Sermones...»; смысл ее тогда остался неясен.

В 1918 — 1919 годах я был комендантом зоны английских войск в Шато д'Эксе. Каждое утро я рисовал в записной книжке маленький кружок — мандалу, которая в тот момент отражала некое мое внутреннее состояние. Эти рисунки демонстрировали мне, что происходило с моей психикой изо дня в день. Туда мне однажды пришло письмо от той самой эстетствующей особы. Она старалась снова убедить меня в том, что мои бессознательные фантазии имеют художественную ценность и что их следует понимать как искусство. Я занервничал. Письмо оказалось далеко не глупым и потому достаточно провокационным. Современный художник, в конце концов, творит, опираясь на бессознательное, — так считала моя корреспондентка. Тем не менее ее позиция, пусть утилитарная и поверхностная, возродила мои былые сомнения: действительно ли мои фантазии были спонтанными и естественными, или же я допускал некий произвол, предпринимая какие-то особые усилия? Нашему сознанию вообще присущ такой известный предрассудок как самообольщение, когда любую мало-мальски позитивную мысль мы спешим присвоить себе, а всякого рода низменные побуждения рассматриваем как случайные и посторонние. От этого не был свободен и я, что породило во мне раздражение и внутренний разлад, а на следующий день появилась измененная мандала: часть круга была разорвана и симметрия нарушена.

Лишь со временем я понял, чем же на самом деле является мандала: это самодостаточность, внутренняя целостность, что стремится к гармонии и не терпит самообмана. «Так вечный смысл стремится в вечной смене от воплощения к перевоплощению».\*

\* \* \*

---

\* Фауст, ч. II, акт 1.



Мои мандалы были криптограммами, они объясняли состояние моей души и каждый день принимали новую форму. В них я видел себя, то есть все мое существо в его становлении. Вначале мое представление о них было смутным, хотя я уже тогда сознавал, как много они значат, и хранил их как драгоценные жемчужины. Я был убежден, что в них выражена самая суть предмета и что со временем они откроют мне все происходящее со мной. Мне это виделось так, как если бы я и мой внутренний мир — были монадой этого бесконечного мира и мандала составляет эту монаду, микрокосм моей души.

Уже не помню, сколько кругов мандалы я нарисовал тогда — очень много. Все это время я вновь и вновь задавал себе вопрос: «Куда ведет меня эта работа? Какова ее цель?» Я уже знал по опыту, что не имею права поставить перед собой цель, которой мог бы довериться безоговорочно. У меня была возможность убедиться, что мое «я» не имеет достаточных полномочий, я с этим уже сталкивался. Я охотно продолжил бы работу над мифами, начатую в «Метаморфозах и символах...» — такова была моя цель. Но об этом не стоило и думать: я был вынужден пропустить через себя нескончаемый поток бессознательного, который нес меня неизвестно куда. Но когда я начал рисовать мандалы, то заметил, что все пути, по которым я шел, все шаги, которые я совершал, вели назад, к некоему центру. Я понял, что мандала и есть этот центр, средоточие всех путей, т.е. главный путь, что составляет индивидуальность.

Тогда же, в период между 1918 и 1920 годами, ко мне пришло понимание того, что цель психического развития — самодостаточность. Не существует линейной эволюции, есть некая замкнутая «самость». Однонаправленное развитие возможно лишь вначале, затем все отчетливее проступает центр. Сознание этого вернуло мне уверенность в себе и внутреннее равновесие. Когда я выяснил, что выражает мандала, я достиг своего конечного знания. Может, кому-нибудь известно больше, но мне этого было достаточно.

Несколько лет спустя (в 1927 году) я увидел сон, в котором подтвердились мои идеи о центре и замкнутости, самодостаточном развитии. Я выразил содержание этого сна в одной мандале, которую назвал «Окно в вечность». Этот рисунок был воспроизведен в «Тайне Золотого цветка». Через год появился второй рисунок: это тоже была мандала, с золотым дворцом в центре. Закончив ее, я спросил себя: «Почему в ней столько китайского?» Меня самого удивила ее форма и выбор оттенков, они казались мне «китайскими», хотя объективно — ничего «китайского» в мандале не было. Но я воспринимал ее так. По странному совпадению незадолго до этого мне пришло письмо от Рихарда Вильгельма, в которое была вложена рукопись какого-то даосского алхимического трактата под названием «Тайна Золотого цветка» с просьбой его прокомментировать. Я сразу же взялся за рукопись и нашел там неожиданное подтверждение своим идеям о мандале и о центрированном движении. Стало быть, я не одинок, я обнаружил нечто родственное в этой китайской рукописи, — в любом случае она впрямую затрагивала мои идеи.

В память об этом совпадении я написал на рисунке: «Когда рисовал этот золотой дворец, получил от Рихарда Вильгельма из Франкфурта тысячелетней древности китайский текст о золотом дворце — центре всего сущего, начале всех начал».

\* \* \*

А вот мой сон о мандале.

Я увидел себя в каком-то грязном и закопченном городе. Стояла темная зимняя ночь, шел дождь. Это был Ливерпуль. С полудюжиной швейцарцев я шагал по темным улицам. По-моему, мы удалялись от моря и поднимались вверх — сам город стоял на скале. Он чем-то напомнил мне Базель: внизу находился рынок, от которого подымались крутые улочки к собору и площади св. Петра. Поднявшись, мы уви-

дели перед собой широкую слабо освещенную площадь, с множеством выходящих на нее улиц. Город имел радиальную структуру, с площадью в центре. Посреди площади находился круглый пруд, а в центре пруда — маленький остров. В то время как все вокруг скрывала густая пелена дождя и тумана, островок сверкал в солнечных лучах. На нем росло единственное дерево — усыпанная розовыми цветами магнолия. Казалось, что дерево не просто залито светом, но само излучает свет. Мои спутники сетовали на погоду, совершенно не обращая внимания на дерево. Они говорили о каком-то другом швейцарце, жившем в Ливерпуле, и удивлялись, почему он выбрал именно этот город. Я же был так заворожен красотой цветущего дерева и солнечного острова, что подумал: «Я знаю зачем». И в этот момент я проснулся.

Следует упомянуть еще об одной немаловажной детали: часть городских кварталов тоже была выстроена радиально вокруг маленькой открытой площади, освещенной одним большим фонарем; эта площадь представляла собой маленькую копию острова. И я почему-то был уверен, что тот «другой швейцарец» жил рядом с этим вторым центром.

Сон был отражением моего тогдашнего состояния. Я и сейчас, будто наяву вижу свой серо-желтый дождевик, мокрый и скользкий; все вокруг мрачно, темно и мутно — именно так я себя тогда чувствовал. И все же мне открылось нечто прекрасное, благодаря чему я вообще мог жить. Ливерпуль (Liverpool) — это «бассейн жизни», «pool of life». «Liver» — печень, считавшаяся у древних средоточием жизни.

Это сновидение оставило у меня ощущение некой окончательности, завершенности. В нем выражалась цель — тот самый главный путь, которого мне не избежать. Сон объяснил мне, что самодостаточность, самость, — архетипический смысл и принцип определения себя в этом мире. В том сновидении была целительная сила, и тогда ко мне впервые пришло предчувствие моего мифа.

После этого я перестал рисовать мандалы. Сон открыл мне душевное состояние и стал таким образом высшей точкой моего сознательного развития, принес покой и уверенность в себе. Хотя я верил в полезность моих занятий, мне тогда не хватало собственного понимания происходящего, а среди знакомых не было никого, кто был бы способен мне помочь. Сновидение же позволило взглянуть на себя со стороны.

Без этого я, скорее всего, окончательно запутался бы и, возможно, отказался бы от дальнейших экспериментов с бессознательным. Но сновидение открыло мне смысл и значение происходящего. Расставаясь с Фрейдом, я знал, что вторгаюсь в неизведанную область, и все же решился шагнуть в темноту. И, когда этот сон явился мне, я принял его как *actus gratiae* (благодать. — *лат.*).

Мне понадобилось сорок пять лет, чтобы облечь в строгие научные формы все, что я тогда пережил и записал. В молодости я мечтал о научной карьере, но этот пламенный поток, эта страсть захватили меня, преобразив и переплавив в своем огне всю мою жизнь. Именно страсть оказалась первоэлементом, и все мои работы — лишь более или менее удачная попытка сделать ее достоянием современников, частью их мировидения. Первые впечатления и сны были как раскаленный поток базальта — из него выкристаллизовался камень, который я уже мог обрабатывать.

Годы, когда я следовал своим внутренним образам, я считаю самыми важными в моей жизни. Они определили ее смысл, ее основу, а последующие частности — это только дополнения и уточнения. Вся моя дальнейшая деятельность была посвящена последовательной разработке того, что в те годы прорвалось из бессознательного. Это стало первоосновой моей работы и моей жизни.

## Происхождение моих сочинений.

Встреча с бессознательным была переломным событием в моей жизни. Лишь спустя двадцать лет после долгой и упорной работы я начал что-то понимать в содержании моих видений.

На первоначальном этапе необходимо было определить некий исторический ряд, предварявший мои внутренние опыты, то есть по сути ответить на вопрос: кто мои исторические предшественники? Иначе мне никогда не удалось бы найти ничего подтверждающего мои идеи. Встреча с алхимией в этом смысле была решающей, только благодаря ей я получил недостающие мне исторические основания.

Аналитическая психология по существу относится к естественным наукам, хотя она как никакая другая наука, зависит от субъективных предпосылок исследователя. Именно поэтому — чтобы исключить вероятность грубых ошибок в оценках и суждениях — она в гораздо большей степени, чем другие науки, нуждается в документально-исторических аналогиях.

С 1918 и по 1926 год я серьезно интересовался гностиками, которые тоже соприкоснулись с миром бессознательного, обращаясь к его сути, явно проистекавшей из природы инстинктов. Каким образом им удалось прийти к этому — сказать сложно, сохранившиеся свидетельства крайне скупы, к тому же исходят большей частью из противоположного лагеря — от отцов церкви. Сомневаюсь, чтобы у гностиков могли сложиться какие-либо психологические концепции. В своих установках они были слишком далеки от меня, чтобы можно было обнаружить какую-либо мою связь с ними. Традиция, идущая от гностиков, казалась мне прерванной, мне долгое время не удавалось навести хоть какой-нибудь мостик, соединяющий гностиков или неоплатоников с современностью. Лишь приступив к изучению алхимии, я обнаружил, что она исторически связана с гностицизмом, что именно благодаря ей возникла определенная преемственность между прошлым и настоящим. Уходящая корнями в натурфилософию средневековая алхимия и послужила тем мостом, который, с одной стороны, был обращен в прошлое — к гностикам, с другой же — в будущее, к современной психологии бессознательного. Основоположником последней являлся Фрейд, который обратился к классическим мотивам гностиков: сексуальности, с одной стороны, и жесткой отцовской авторитарности — с другой. Гностические мотивы Яхве и Бога Творца Фрейд возродил в мифе об отцовском начале и связанном с ним сверх-эго. Во фрейдовском мифе сверх-эго предстает как демон, породивший мир иллюзий, страстей и разочарований. Правда, материалистическое начало в алхимии, проникновение ее в тайны материи и т. д. заслонило для Фрейда другой важный аспект гностицизма — первичный образ духа как некоего другого, высшего божества. Согласно гностической традиции, это высшее божество послало людям в дар так называемый «кратер» — «сосуд духовной трансформации». «Кратер», чаша — женственный принцип, которому не нашлось места во фрейдовском патриархальном, мужском, мире.\* И Фрейд был не одинок в своих предрассудках. В католическом мире Богоматерь и невест Христовых лишь недавно допустили в Телемскую обитель и тем самым, после многовековых колебаний, частично их узаконили, У протестантов и иудеев, как и прежде, во главе остается Бог Отец. В изотерической философии алхимиков, напротив, доминирует женское начало. Важнейшее место в «женской» символике алхимиков отводилось чаше, в которой происходило превращение и перерождение

---

\* В гностическом трактате «Поймандр» «кратер» представляет собой чашу духа, ниспосланную на землю Создателем для того, чтобы жаждущие высшего знания приняли в ней крещение. Это была своего рода купель духовного обновления и перерождения. — ред.

ние субстанций. В моих психологических концепциях центральным также являлся процесс внутреннего перерождения — *индивидуации*.

До того как я открыл для себя алхимию, мне приснилось несколько снов с одинаковым сюжетом.

В снах я увидел рядом с моим домом другой — неизвестную мне пристройку или какой-то флигель. И каждый раз меня удивляло, почему этот дом мне не знаком, ведь я несомненно бывал там. Наконец мне приснился сон, в котором я зашел туда и обнаружил прекрасную библиотеку, в основном книги XVI и XVII веков. Толстые фолианты в переплетах из свиной кожи стояли вдоль стен, в некоторых из них я нашел странные гравюры с изображением диковинных символов, каких прежде не видел. Тогда они были для меня загадкой, и только много позже я узнал, что это были алхимические символы. Во сне я лишь ощутил таинственное очарование, исходящее от библиотеки в целом, представлявшей собой средневековое собрание инкунабул и рукописей.

Неизвестная часть дома была частью моей личности, моего «я», она являлась чем-то принадлежавшим мне, но мною не осознанным. Флигель и, в первую очередь, библиотека указывали на алхимию, о которой я ничего не знал и которую вскоре начал изучать. Лет через пятнадцать я сам собрал такую же библиотеку.

В 1926 году я увидел потрясающий сон, предвосхитивший мои занятия алхимией.

Дело происходило на юге Тироля. Шла война. Я находился на итальянском фронте и пробирался в тыл вместе с каким-то невысоким крестьянином в его телеге. Кругом рвались снаряды, и я понимал, что нужно ехать как можно быстрее, поскольку оставаться там опасно. Нам предстояло преодолеть мост через туннель со взорванными сводами. В конце туннеля неожиданно открылся освещенный солнцем пейзаж, и я узнал окрестности Вероны. Внизу раскинулся сияющий солнечный город. Мне сразу стало легко. Дальше мы двигались по зеленой, цветущей ломбардской равнине, через рисовые поля и виноградники. В конце дороги я увидел огромных размеров господский дом — по-видимому, замок какого-то итальянского аристократа. Он представлял собой типичное поместье с множеством хозяйственных строений. К замку через обширный двор вела аллея. Мой маленький возница и я, въехали в одни ворота, а затем, наткнулись на другие: справа от нас был фасад господского дома, слева — хозяйственные пристройки, конюшня, амбар и т. п. Когда мы оказались посреди двора, прямо перед главным входом, все ворота вдруг с грохотом захлопнулись. Возница спрыгнул с телеги и крикнул мне: «Теперь мы заперты в XVII веке». «И вправду, — подумал я. — Но что мы будем здесь делать? Мы оказались в плену на целый год». И тут же явилась спасительная мысль: «Ничего, ведь через год мы отсюда выберемся».

Не теряя времени, я сразу кинулся перелистывать толстые тома по истории религии и философии, хотя и не надеялся прояснить что-либо. Но через некоторое время выяснилось, что и этот сон указывает на алхимию, ее расцвет как раз приходился на XVII век. Удивительно, но я совершенно забыл все, что написал об алхимии Герберт Зильберер. Когда вышла его книга, я воспринимал алхимию как нечто чуждое и курьезное, хотя самого автора чрезвычайно ценил, его взгляд на вещи я считал вполне конструктивным, о чем и написал ему. Но, как показала трагическая смерть Зильберера, конструктивность не обернулась для него благоразумием\*. Он в основном использовал поздний материал, в котором я плохо ориентировался. Поздние алхимические тексты — барочные и фантастические, их следовало сперва расшифровать, и только после этого можно было определить их подлинную ценность.

---

\* Он покончил с собой. — ред.

Мало-мальски удовлетворительное представление о природе алхимии позволило мне получить знакомство с текстом «Золотого цветка», китайским трактатом, который прислал мне Рихард Вильгельм в 1928 году. Тогда у меня появилось желание узнать об алхимии как можно больше. Я попросил одного мюнхенского книготорговца сообщать мне обо всех книгах по алхимии, которые будут попадать к нему в руки. Вскоре я получил первую такую книгу «*Artis Auriferae Volumina Duo*» (1593), являющуюся собранием классических латинских текстов.

Книгу я продержал два года. Рассматривая рисунки в ней, я каждый раз удивлялся: «Боже правый, какая чушь! Понять это невозможно». И все-таки то и дело обращался к ней, решив в конце концов заняться ею более обстоятельно. Я посвятил книге целую зиму, и вскоре чтение увлекло меня. Причем текст по-прежнему казался мне абракадаброй, но иногда попадались фразы и целые абзацы, вполне доступные и вразумительные, до меня дошло, что все дело в символах, что это именно те символы, смысл и значение которых служили основой моей работы все предыдущие годы. «Да это же фантастика, — думал я. — Я просто *обязан* научиться понимать это». Теперь я с головой ушел в алхимию, и сидел за книгу, едва только у меня появлялась свободная минута. Однажды, когда я сидел над текстами, мне внезапно вспомнился сон о «ловушке в XVII веке». Наконец-то его значение прояснилось. «Так и есть. Теперь я обречен штудировать алхимию».

Но прошло достаточно времени, прежде чем я отыскал путь в алхимическом лабиринте, у меня, увы, не было Ариадны, которая вручила бы мне клубок. Как-то, читая «*Rosarium*», я обратил внимание, что некоторые странные выражения и обороты встречаются гораздо чаще других, как-то: «*solve et coagule*», «*unum vas*», «*lapis*», «*prima materia*», «*Mercurius*» и т. д. («разлагать и соединять», «сосуд», «камень», «первичная материя», «Меркурий». — *лат.*). Я видел, что эти выражения повторялись вновь и вновь и с определенным смыслом. Но поскольку окончательной уверенности у меня не было, я решил составить своего рода глоссарий. Со временем в него вошли несколько тысяч ключевых слов, одними выдержками из текстов я исписал целые тома. Я работал как филолог, так, будто я расшифровывал неизвестный язык. Но таким образом мне стал постепенно открываться смысл алхимических текстов, я начал понимать эту специфическую манеру выражения. Правда, на это ушло 10 лет жизни.

\* \* \*

Довольно скоро я обнаружил поразительное сходство аналитической психологии с алхимией. Опыты алхимиков были в каком-то смысле моими опытами, их мир — моим миром. Открытие меня обрадовало: наконец-то я нашел исторический аналог своей психологии бессознательного и обрел твердую почву. Эта параллель, а также восстановление непрерывной духовной традиции, идущей от гностиков, давали мне некоторую опору. Когда я вчитался в средневековые тексты, все встало на свои места: мир образов и видений, опытные данные, собранные мной за прошедшее время, и выводы, к которым я пришел. Я стал понимать их в исторической связи. Мои типологические исследования, начало которым положили занятия мифологией, получили новый толчок. Архетипы и природа их переместились в центр моей работы. Теперь я обрел уверенность, что без истории нет психологии — и в первую очередь это относится к психологии бессознательного. Когда речь заходит о сознательных процессах, вполне возможно, что индивидуального опыта будет достаточно для их объяснения, но уже невроты в своем анамнезе требуют более глубоких знаний; когда врач сталкивается с необходимостью принять нестандартное решение, одних его ассоциаций явно недостаточно.

Мои занятия алхимией имели непосредственное отношение к Гёте. Он каким-то непостижимым образом оказался вовлеченным в извечный, процесс архетипических превращений. «Фауста» Гёте понимал как *opus magnum* или *opus divinum* (великое, или божественное, деяние. — *лат.*), не случайно называя его своим «главным делом», подчеркивая, что в этой драме заключена вся его жизнь. Его творческая субстанция была, в широком смысле, отражением объективных процессов, знаменательным сновидением *mundus archetypus* (мира архетипов. — *лат.*).

Мной самим овладели те же сны, и у меня есть «главное дело», которому я отдал себя с одиннадцати лет. Вся моя жизнь была подчинена одной идее и вела к одной цели: разгадать тайну человеческой личности. Это было главным, и все мои работы, все, что я сделал, связано с этим.

\* \* \*

Всерьез мои научные исследования начались в 1903 году с ассоциативных экспериментов. Я отношусь к ним, как к первым опытам научной работы, как к своего рода, естественнонаучному предприятию. За «Ассоциативными экспериментами в диагностике» последовали две работы, о которых говорилось выше: «Психология *dementia praecox*» и «Содержание психозов». В 1912 году была опубликована книга «Метаморфозы и символы либидо», которая положила начало разрыву с Фрейдом. С тех пор я вступил на собственный путь, и *volens-volens* мне пришлось все начать сначала.

Я обратился к собственному подсознанию, что продолжалось с 1913 по 1917 год, затем поток фантазий постепенно иссяк. И только тогда, когда я успокоился и перестал ощущать себя пленником этой «волшебной горы», мне удалось объективно взглянуть на свой опыт и приступить к его анализу. Вот первый вопрос, который я задал себе: «В чем, собственно, заключается проблема бессознательного?» Ответ: «Во взаимодействии между бессознательным и эго». В 1916 году я прочел об этом доклад в Париже, опубликован он был позже, в 1928. К тому времени я уже располагал более обширным материалом и написал книгу, где охарактеризовал некоторые типичные элементы бессознательного, показав, как они коррелируют с сознательными установками.

Параллельно я занимался сбором материала для книги о психологических типах. Целью ее было показать существенное отличие моей концепции от концепций Фрейда и Адлера. Собственно говоря, когда я стал над этим задумываться, передо мной встал вопрос о типах, потому что кругозор человека, его мировоззрение и предрасудки определяются и ограничиваются психологическим типом. Поэтому предметом обсуждения в моей книге стали отношения человека с миром — с людьми и с вещами. В ней освещаются различные стороны сознания, возможные мировоззренческие установки, при этом человеческое сознание рассматривается с так называемой клинической точки зрения. Я обработал массу литературных источников, в частности поэмы Шпиттелера, особенно поэму «Прометей и Эпиметей». Но не только. Огромную роль в моей работе сыграли книги Шиллера и Ницше, духовная история античности и средневековья. Я рискнул послать экземпляр своей книги Шпиттелеру. Он мне тогда не ответил, но вскоре в какой-то лекции заявил, что его книги не «означают» ничего и в «Олимпийской весне» смысла не больше, чем в песенке «Весна пришла. Тра-ля-ля-ля-ля».

В своей книге я утверждал, что всякий образ мыслей обусловлен определенным психологическим типом и что всякая точка зрения в некотором роде относительна. При этом возникал вопрос о единстве, необходимом для компенсации этого разнообразия. Иными словами, я пришел к даосизму. Выше уже упоминалось, какое впечатление произвел на меня присланный Рихардом Вильгельмом даосский текст. В 1929

году мы вместе работали над книгой «Тайна Золотого цветка». Именно тогда мои размышления и исследования стали сходиться к некоему центральному понятию — к идее *самости*, самодостаточности. Это помогло мне вновь почувствовать вкус к нормальной жизни: я читал лекции, немного путешествовал. Множество моих статей и лекций явились как бы противовесом кризисным годам моего молчания и бездействия; в них я уже смог ответить на многие вопросы своих читателей и пациентов.

Любимым творением стала для меня теория либидо — центральная идея книги «Метаморфозы и символы либидо». «Либидо», в моем понимании, — это психическая аналогия физической энергии, оно требует описания в категориях количественных, а не качественных. В учении о либидо я старался избежать конкретизации. Предметом, на мой взгляд, здесь должны были стать не конкретные инстинкты — голод, секс или агрессия, а различные внешние проявления психической энергии.

В физике мы говорим об энергии, которая манифестируется различным образом, будь то электричество, свет, тепло и т. д. То же и в психологии, где мы прежде всего сталкиваемся с энергией (большей или меньшей интенсивности), причем проявляться она может в самых различных формах. Понимание либидо как энергии позволяет получить единое и цельное знание о ней. В этом случае всякого рода вопросы о природе либидо — сексуальность ли это, воля к власти, голод, или что-нибудь еще — отходят на задний план. Я ставил своей целью создать в психологии универсальную энергетическую теорию, такую, какая существует в естественных науках. Эта задача была основной при написании книги «О психической энергии» (1928). Я показал, например, что человеческие инстинкты представляют собой различные формы энергетических процессов, и, как силы, они аналогичны теплу, свету и т. д. Так же как современный физик не станет считать источником всех сил, скажем, тепло, так и психолог не должен сводить все к одному понятию, будь то жажда власти или сексуальность. Такова была исходная ошибка Фрейда. Позже он внес в свою теорию некоторые коррективы, используя термин «инстинктивное эго». Затем уточнил его, называя «сверх-эго», и поставил последнее во главу.

В книге «Отношение между эго и бессознательным» я пояснил, что имею в виду, говоря о бессознательном, но существенных выводов о его природе сделать еще не сумел. Записывая свои фантазии, я не мог отделаться от ощущения, что с бессознательными образами происходят разного рода превращения. Но только благодаря алхимии я осознал, что бессознательное — это процесс и что отношения между эго и бессознательным есть, собственно, превращение — или психическое развитие.

В отдельных случаях этот процесс можно обнаружить в сновидениях и фантазиях. В коллективной жизни он проявляется в различных религиозных системах и в изменении их символики. Исследование этих индивидуальных и коллективных изменений позволило мне осмыслить суть алхимического символизма и прийти к центральному понятию моей психологии: к процессу *индивидуации*.

\* \* \*

С самого начала важное место в моей работе занимали проблемы мировоззрения и взаимоотношений между психологией и религией. Я посвятил им книгу «Психология и религия» (1940), а позже достаточно обстоятельно изложил свою точку зрения в «Paracelsica» (1942), во второй ее главе «Парацельс как духовное явление». В трудах Парацельса много оригинальных идей, в них отчетливо видны философские установки алхимиков, но в позднем, барочном выражении. После знакомства с Парацельсом мне показалось, что я наконец понял сущность алхимии в ее связи с религией и психологией — иными словами, я стал рассматривать алхимию как форму религиозной философии. Этой проблеме посвящена моя работа «Психология и алхи-

мия» (1944), в которой я смог обратиться к собственному опыту 1913 — 1917 годов. Процесс, переживаемый мной в те годы, соответствовал процессу алхимического превращения, о котором и шла речь в этой книге.

Естественно, что тогда не менее важным был для меня вопрос о связи символов бессознательного с христианскими символами, а также с символами других религий. Христианское наследие, как я считаю, занимает центральное место в духовной жизни западного человека. Оно требует некоторого пересмотра, соответственно духу времени, но оно существует вне времени, и духовный мир человека без него был бы не полон. Я старался показать это в своих работах. Я дал собственную, психологическую интерпретацию догмата о Троице, а также некоторых литературных текстов, в которых я нашел аналогии видениям Зосимы из Панополиса. Попытка осмыслить христианство в свете аналитической психологии в конце концов привела меня к проблеме Христа как психологического феномена. Уже в 1944 году в «Психологии и алхимии» я попытался проследить сходство между образом Христа и центральным понятием алхимии — ляписом.

В 1939 году я организовал семинар по «*Exercitia Spiritualia*» Игнатия Лойолы. Тогда же у меня накапливался материал для «Психологии и алхимии». Однажды ночью я проснулся и увидел в изножье кровати ярко светившееся распятие; не совсем обычного размера, но очень отчетливое, причем тело Христа казалось как бы отлитым из зеленоватого золота. Видение потрясло меня своей изумительной красотой и в то же время испугало, хотя сами по себе видения для меня дело обычное: мне часто наяву видятся живые и яркие образы, как это бывает при гипнозе.

Я тогда размышлял над «*Anima Christi*», одной из медитаций «*Exercitia*». И видение послужило как бы напоминанием, о том что я забыл об аналогиях «*aurum pop vulge*» (необычное золото) и «*viriditas*» (зеленое). Догадавшись, что оно связано с основными символами алхимии и что мне явился своего рода Христос алхимиков, я несколько успокоился.

Зеленое золото — это созидательное начало, которое алхимики обнаружили не только в человеке, но и в неорганической природе. Для них оно олицетворяло «*anima mundi*» — «мировую душу» или «*filius macrocosmi*» — антропоса, сотворившего весь мир. Этот дух присутствует даже в неживой материи, в металлах и камнях. Таким образом, в моем видении соединились образ Христа и его материальный аналог — «*filius macrocosmi*». Если бы не зеленое золото, потрясшее меня, я был бы готов предположить, что в моем представлении о христианстве недостает чего-то очень существенного. Или, иными словами, мой сформировавшийся образ Христа страдает некоторой неполнотой, а значит, мне предстоит восполнить этот недостаток. Однако присутствие металла в моем видении указывает на явную алхимическую природу образа Христа как некоего соединения живого и духовного с мертвой материей.

В следующий раз я затронул проблему Христа в «Айоне». Но здесь меня интересовали не исторические параллели, а только психологическое обоснование. Я постарался показать не внешние его черты, а изменения, которые на протяжении веков произошли в религиозном содержании этого образа. Мне важно было выяснить, почему явление Христа могло быть предсказано астрологами и как, будучи духом своего времени, он воспринимался на протяжении двух тысячелетий христианской цивилизации. Именно это мне хотелось представить, включая все примечания и комментарии, скопившиеся вокруг священных текстов.

Я приступил к работе после долгих размышлений об исторической личности, конкретном человеке — Иисусе. Она, эта историческая личность, играет огромную роль, поскольку коллективное сознание того времени, иными словами архетип — идея антропоса, — воплотилось в нем, никому не ведомом иудейском пророке. Эта



идея, корни которой уходят в иудейскую традицию, с одной стороны, и в египетский миф о Горе, сыне Изиды, — с другой, явилась знаменем времени. Первоначально образ Сына Человеческого и Сына Божьего противостоял *divus Augustus* (божественному Августу. — *лат.*) — властителю мира. И вот этот образ, слившись с иудейской идеей мессианства, сделался общечеловеческим достоянием.

Было бы серьезной ошибкой полагать, что это всего лишь «случайность», что Иисус, сын плотника, объявленный евангелистами *salvator mundi*, сделался спасителем мира. Похоже, он был удивительно одаренной личностью, коль ему удалось во всей полноте выразить общие, пусть и бессознательные надежды своего времени, — именно ему — этому человеку, Иисусу, и никому другому.

Воплощенная в божественном цезаре власть Рима, сметающая все на своем пути, лишала отдельных людей и целые народы их права на привычный образ жизни, на духовную независимость. Сегодня такой угрозой является массовая культура; в этом я вижу причины столь частых ныне слухов и надежд на новое пришествие, бесконечного ожидания мессии — спасителя. Но формы, в которые все это облекается, ни на что не похожи, они характерны для детей «технического века». Я имею в виду миф о «летающих тарелках».

\* \* \*

Свою цель я видел в том, чтобы объяснить, как моя психология соотносится с алхимией. И наоборот, я искал в трудах алхимиков не только религиозные проблемы, но и специфические проблемы психотерапии. Вопрос вопросов, основная проблема медицинской психотерапии — *Übertragung* (трансфер, перенос. — *нем.*). Здесь у нас с Фрейдом не было никаких расхождений. Однако мне удалось найти некоторое соответствие этому понятию в алхимии, а именно *coniunctio* — *воссоединение*, о значении которого упоминал еще Зильберер. Я обратил внимание на это соответствие в книге «Психология и алхимия». Позже, два года спустя, я вернулся к этой проблеме в «Психологии переноса» (1946), и наконец, в 1955 — 1956 годах в «*Mysterium Coniunctionis*».

Почти всегда, когда что-либо занимало меня как человека или ученого, этому предшествовали сны — тоже своего рода перенос. На этот раз мои раздумья о Христе нашли выражение в образе неожиданном и примечательном.

Я снова увидел во сне мой дом с флигелем, в котором я никогда не был. Решившись наконец, я вошел внутрь. Передо мной оказалась какая-то большая дверь. Открыв ее, я увидел комнату, напоминавшую лабораторию. У окна стоял стол, на нем множество сосудов и прочих вещей, которые можно встретить где-нибудь в зоологической лаборатории. Это был рабочий кабинет моего отца, но сам он отсутствовал. На полках вдоль стен стояли сотни аквариумов со всевозможными видами рыб. Меня удивило: стало быть, теперь мой отец занимается ихтиологией!

Осматриваясь, я заметил, что штора время от времени натягивается, как от сильного ветра. Неожиданно передо мной возник Ганс, юноша из нашей деревни. Я попросил его проверить, открыто ли где-нибудь окно. Ганс вышел, но вернулся сильно напуганным — в глазах его стоял ужас. Он смог лишь сказать: «Да, там что-то есть. Там — привидение!»

Тогда я пошел туда сам и увидел дверь, ведущую в комнату моей матери. В ней никого не было. Мне стало не по себе: в этой очень большой комнате с потолка свисали два ряда сундуков — по пять в каждом, на два шага не доходя до пола. Они выглядели как маленькие беседки, площадью 2 кв. м, и в каждой было по две кровати. Я знал, что в этой комнате моя мать, которая на самом деле давно умерла, принимала гостей и что эти кровати предназначены для тех, кто останется ночевать. То были

духи, которые появляются парами, так называемые «обрученные духи», они могут оставаться на ночь, а иногда и на целый день.\*

На противоположной стороне комнаты была дверь. Я открыл ее и очутился в огромном зале, напоминающем вестибюль роскошного отеля; среди колонн стояло множество кресел и маленьких столиков. Звучала музыка. Я слышал ее еще в комнате, но не мог понять, где ее источник. В зале никого не было, кроме музыкантов, которые оглушительно наяривали какие-то вальсы и марши.

Духовой оркестр в вестибюле отеля выглядел нарочито «здешним», посясторонним. Никому бы в голову не пришло, что за нарочито реальным фасадом скрыт другой мир, который находится здесь же, в этом же доме. Этот вестибюль из моего сна являлся своего рода карикатурой на мою светскую жизнь. Но это был только внешний покров, за ним пряталось нечто совершенно иное, что никак не вязалось с браваурной музыкой, — лаборатория с рыбами и всякие «ловушки для духов». Там царила полная тайны ночная тишина, тогда как вестибюль представлял дневной мир, с его поверхностным светским существованием.

Самыми важными образами сновидения были «ловушки для духов» и лаборатория с рыбами. Первые — косвенным образом намекали на *coniunctio*, вторая же — на мои размышления, связанные с Христом и распятием; Христос и есть рыба (*ichtys*). И то и другое занимало меня не одно десятилетие.

Примечательно, что изучение рыб было во сне занятием моего отца. Там он был, если можно так выразиться, «хранителем» христианских душ: ведь согласно преданию, души — это рыбы, а апостол Петр — ловец — забрасывает сеть. Характерно и то, что мать моя выступала здесь как страж заблудших душ. Так, мои родители приснились мне обремененными проблемой «*cura animarum*» (лечение душ. — *лат.*), что на самом деле было моей задачей. Значит, что-то несовершенное еще оставалось во мне, и потому я по-прежнему был связан с родителями; что-то скрытое и бессознательное ожидало своего часа. Я еще не был захвачен основной проблемой «философской» алхимии — *coniunctio* и потому не умел ответить на вопросы, которые стояли передо мной, врачомателем христианских душ. Еще не окончена была большая работа над легендой о св. Граале, работа, которую моя жена считала главным делом всей своей жизни.\* Помню, как часто вспоминались мне чаша св. Грааля и король-рыбак, когда я работал над символом «*ichtys*» в «Айоне». Я очень ценил работу моей жены, не желая вмешиваться в нее, иначе обязательно включил бы легенду о Граале в план моих исследований по алхимии.

Я помню нравственные мучения моего отца. Подобно Амфортасу, королю-рыбаку с неизлечимой раной, он испытывал христианское страдание, от которого алхимики искали панацею. Как безмолвный Парсифаль, я видел все это и, подобно Парсифалю, не знал, как это выразить. Мне оставалось лишь догадываться о них.

Отца на самом деле никогда не интересовал териоморфный символизм Христа. Но он до самой смерти переносил явленные и обещанные Христом страдания, не осознавая их как следствие «*imitatio Christi*». Считая свои страдания своим личным делом, он мог обратиться к врачу, но не воспринимал их как нечто, свойственное во-

\* Подобные «ловушки для духов» я увидел позже в Кении. Это были маленькие домики, в которых люди ставили маленькие кровати и оставляли немного еды («пошо»). В кровать обыкновенно клали кусок глины — символ какой-нибудь болезни, от которой хотели избавиться. К домику вела искусно выложенная камешками дорога, чтобы духи шли туда, а не задерживались в селении, где жил больной. В «ловушке» духи проводили ночь, а на рассвете возвращались в бамбуковый лес, свое постоянное обиталище.

\* После смерти госпожи Юнг в 1955 году эту работу продолжила д-р Мария-Луиза фон Франц, завершившая ее в 1958 году. См.: *Jung E., Franz, von M.-L. Die Graalslegende in psychologischer Sicht. Studien aus dem C. G. Jung-Institut. B. XII. Zurich, 1960. — ред.*

обще христианину. Слова: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20), он никогда не сумел осмыслить до конца, потому что всякое свободное размышление о религии приводило его в ужас. Ему хотелось жить в полном согласии со своей верой, и это сломило его. Такова зачастую награда за *sacrificium intellectus* (жертвование интеллектом. — *лат.*). «Не все вмещают слово сие, но кому дано... и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного, кто может вместить, да вместит» (Мф. 19, 11). Никогда слепое примирение ничего не решало, приводя в лучшем случае к застою. А расплачиваться за него придется следующим поколениям.

Териоморфная атрибутика указывает, что боги, пребывая в высших сферах, присутствуют тем не менее и в области низшей жизни. Животные в какой-то степени являются их тенью, самой природой соединенными со светлыми божественными образами. Символика «*pisiculi Christianorum*» (христианских рыб. — *лат.*) означает, что идущие за Христом подобны рыбам, их души обитают в бессознательной природе, они нуждаются в *cura animarum*. Итак, лаборатория с рыбами была в моем сне синонимом церкви с ее заботой о человеческой душе. Подобно тому как раненый ранит, исцеленный — исцеляет. Удивительно, почти все, что происходило в моем сне, мертвые проделывали над мертвыми, то есть само действие целиком происходило вне сознания, в бессознательном.

Тогда я многого еще не знал, не осознавал полностью своей задачи и не умел найти удовлетворительного объяснения своему сновидению. Все мои попытки понять его смысл были из области догадок. Мне еще предстояло преодолеть колоссальное внутреннее сопротивление, прежде чем я смог написать «Ответ Иову».

\* \* \*

В своем внутреннем развитии эта книга явилась прелюдией к «Айону». Там я обращаюсь к психологии христианства, а Иов в некотором роде предтеча Христа, их связывает идея страдания. Христос — страдающий слуга Господа, таков же Иов. Христос пошел на крест за грехи мира, и этот ответ справедлив для всех страдающих во Христе. И отсюда неизбежен вопрос: на ком лежит вина за эти грехи? В конце концов, мир и его грехи создал Бог, и Он же явил себя во Христе, чтобы разделить страдания человечества.

В «Айоне» я затрагиваю сложную тему о светлой и темной сторонах образа Бога. Я ссылаюсь на «Божий гнев», на заповедь о «страхе Божьем», на «Не введи нас во искушение» (Мф. 6, 13). Именно двойственность Бога — главный мотив в «Книге Иова». Иов полагает, что Бог в какой-то момент станет на его сторону — против Бога, и в этом состоит трагическое противоречие. Это и станет темой моего «Ответ Иову».

Были и внешние причины, подтолкнувшие меня к работе над этой книгой. Я уже не мог отмахнуться от многочисленных вопросов пациентов и публики, чувствуя необходимость объяснить свою точку зрения на религиозные проблемы современного человечества. Долгие годы я колебался, отлично понимая, какой взрыв за этим последует. Сама серьезность проблемы и ее безотлагательность тоже сыграли не последнюю роль — нужно было определиться. «Объяснение» состоялось в весьма эмоциональной форме — именно так, как я это переживал. Форма была выбрана мной намеренно, чтобы не сложилось впечатление, что я буду изрекать некие «вечные истины». Моя книга была лишь одним из вопросов и одним из ответов, я надеялся побудить читателя к самостоятельным размышлениям. Я не собирался объявлять себя метафизиком. Но теологи упрекали меня именно в этом, видимо потому, что теологические мыслители приучены исключительно к «вечным истинам». Физик, утверждая, что атом имеет следующее строение и рисуя его модель, менее всего намерен сообщить человечеству некую вечную истину. Но теологи не воспринимают естест-

веннонаучного, и особенно, психологического, типа мышления. Материал аналитической психологии тоже по сути — только факты, т.е. сообщения разных людей, сделанные в разных местах и в разное время.

Проблема Иова и все, что с ней связано, явились мне во сне. Там я пришел к моему давно умершему отцу. Он жил в какой-то незнакомой мне деревне. Я увидел дом в стиле XVIII века, очень просторный, с большими пристройками, который раньше служил гостиницей для приезжающих на воды. Я узнал, что в течение многих лет здесь останавливались известные и знаменитые люди. А некоторые из них здесь умерли, и в крипте у дома находились их саркофаги. Мой отец служил здесь хранителем.

Но я вскоре обнаружил, что здесь отец, в отличие от своей земной жизни, был выдающимся ученым. Я нашел его в его кабинете, где кроме меня находились некий доктор Игрек приблизительно моего возраста и его сын — оба психиатры. Не помню, спрашивал ли я отца о чем-нибудь или он сам захотел мне что-то объяснить, в любом случае важно, что он достал из шкафа большую Библию — тяжелый том, похожий на Библию Мериана из моей библиотеки. Библия моего отца была в переплете из сверкающей рыбной чешуи. Он открыл Ветхий Завет (думаю, это было Пятикнижие) и стал комментировать отдельные места из него. Он делал это столь быстро и глубоко, что я не поспевал за его мыслью, отметив лишь то, что в его комментариях содержалась бездна всевозможных знаний. Я понимал его лишь отчасти и не мог составить собственного мнения. Было видно, что доктор Игрек совершенно ничего не понял, а его сын начал смеяться, — они решили, что отец впал в старческий маразм и несет полнейшую чепуху. Но я был твердо убежден, что в его волнении нет ничего болезненного, а в его речи — ничего бессмысленного. Напротив, его доводы поражали своей утонченностью и глубиной, просто мы в своей глупости оказались не в состоянии следить за его мыслью. Он говорил о чем-то очень важном и увлекательном, он и сам увлекся, поэтому его речь звучала так эмоционально. Я испытывал досаду и жгучий стыд, что отец вынужден говорить для трех таких идиотов.

Оба врача олицетворяли ограниченную медицинскую точку зрения, которая и мне как врачу, безусловно, не была чуждой. Они были моей тенью, более ранней и более поздней версией меня самого — отцом и сыном.

И вдруг декорации переменились: отец и я оказались перед домом, прямо напротив нас стоял деревянный сарай. Оттуда доносился громкий стук, будто кто-то кидал большие поленья. Мне казалось, что в сарае находятся по крайней мере двое рабочих, но отец объяснил, что там лишь призраки. Это были своего рода полтергейсты — шумные духи.

Затем мы вошли в дом и я увидел, какие у него толстые стены. Мы поднялись по узкой лестнице на второй этаж. Моим глазам открылось удивительное зрелище: зал, а вернее, точная копия зала, где заседал диван султана Акбара в Фатехпур-Сикри. Это была высокая круглая комната с галереей вдоль стен и четырьмя мостиками, которые вели к центру, подобному круглой чаше. Чаша размещалась в гигантской колонне и представляла собой трон султана, отсюда он обращался к совету и философам, которые обычно собирались в галерее. Все вместе это составляло огромную мандалу, она в точности соответствовала залу дивана, который я видел в Индии.

Неожиданно передо мной возникла крутая лестница, поднимающаяся от центра вверх, — и это уже не соответствовало действительности. Наверху виднелась маленькая дверь. Отец сказал: «Теперь я введу тебя в высочайшее присутствие». Похоже, он произнес «highest presence». Опустившись на колени, отец коснулся лбом пола, я с трепетом повторял его движения. По какой-то причине я не мог коснуться лбом пола, оставалось еще несколько миллиметров. Но я склонился вслед за отцом и

в этот момент узнал (наверное, от отца), что маленькая дверь ведет в уединенные покои, где живет Урия, доблестный воин царя Давида, которого тот постыдно предал, домогаясь Вирсавии.

Здесь я должен кое-что пояснить. Первоначальная сцена указывает, что какую-то мою подсознательную задачу я предоставил отцу, то есть бессознательному. Он явно поглощен Библией (Бытием) и спешит объяснить свою точку зрения. Рыбья чешуя на переплете Библии — некое бессознательное содержание, поскольку рыбы бессознательны и немые. Попытка моего бедного отца передать свои знания не удалась, так как аудитория была отчасти не способна к пониманию, отчасти раздражительна и глупа.

После этой неудачи мы пересекли двор и вышли на «другую сторону», и там явились полтергейсты. Подобные вещи возникают обычно вблизи подростков. А это означало, что я еще не созрел и пока не в состоянии все осознать. Индийские аллюзии раскрывают понятие «другой стороны». Когда я был в Индии, стремление мандалной структуры того зала к центру поразило меня. Центр — место, где восседал Акбар Великий, правитель полумира, подобный царю Давиду. Но гораздо выше Давида находилась его невинная жертва, его верный слуга Урия, тот, кого царь отдал врагам. Урия — аналог Христа, Богочеловека, которого оставил Бог. Но Давид, кроме всего прочего, «взял себе» жену Урии. Гораздо позже я понял, что это значило: я был принужден открыто и в ущерб себе говорить о противоречивости ветхозаветного Бога, и моя жена была «взята» у меня смертью.

Эти события ожидали меня, будучи спрятанными в моем подсознании. Это судьба склоняла меня и требовала, чтоб я коснулся лбом пола, требовала полного подчинения. Но что-то во мне восстало, что-то говорило: «Склонись, но не до конца». Что-то во мне не повиновалось судьбе, не желая быть немой рыбой; и если бы этого не было в свободном человеке, то и книга Иова не была бы написана за несколько сотен лет до рождения Христа. Человек никогда не принимал Божественное предписание безоговорочно. В противном случае, что же такое для человека свобода, в чем ее смысл, если человек не в состоянии противостоять тому, что ей угрожает.

Урия находится выше Акбара, его во сне даже называют «highest presence» — так, собственно, обращались к Богу везде, кроме Византии. Я не мог здесь не вспомнить о буддизме и его отношении к богам. Для благочестивого азиата Татхагата — некий абсолют, и по этой причине хинаяна-буддизм совершенно несправедливо заподозрили в атеизме. Власть богов наделяет человека способностью *знать* Творца, человеку даже дана возможность уничтожить какую-то часть творения, а именно — человеческую цивилизацию. Сегодня с помощью радиации человек в состоянии истребить все высшие формы жизни на земле. Идея уничтожения мира буддизму была известна: цепь сансары, цепь причинности, с неизбежностью ведущая к старости, болезни и смерти, может быть прервана, преодолена, — и тогда наступит конец иллюзии бытия, отрицание воли по Шопенгауэру лишь предвещало то, к чему сегодня мы так страшно приблизились. Сон выявляет некое скрытое предчувствие, которое уже долгое время тяготеет над людьми, — это идея о творении, превосходящем творца, превосходящем в малом, но эта малость решает все.

После пребывания в мире сновидений я вновь вернулся к моим книгам. В «Айоне» я вышел на проблемы, о которых следует упомянуть особо. Я попытался показать, почему появление Христа совпало с началом нового эона — эрой Рыб. Существует параллель между Христовым житием и объективным астрономическим событием, наступлением весеннего равноденствия в созвездии Рыб, поэтому Христа следует воспринимать синхронии с Рыбами (как Хаммурапи до него был Овном), он

стоит во главе нового зона. Эта проблема освещается в моей работе «Синхронистичность: акаузальный связующий принцип».

От проблемы Христа, поднятой в «Айоне», я приблизился наконец к возникновению антропоса, собственно человека в плане психологическом, к вопросу «самости» и ее выражения в опыте индивида. Ответ я попытался дать в работе «О происхождении сознания» (1954). Здесь речь идет о взаимодействии между сознательным и бессознательным, о том, как сознательное развивается из бессознательного, какое влияние на человеческую жизнь оказывает индивидуальность, «внутренний человек».

Связь между моей психологией бессознательного и алхимией окончательно определилась в «Mysterium Coniunctionis». В этой книге я снова вернулся к проблемам переноса, но постарался в первую очередь представить алхимию во всем ее объеме как некий род психологии или основание для ее развития. В «Mysterium Coniunctionis» моя психология обрела наконец свою действительную историческую подоплеку. Итак, задача была выполнена, мой труд завершен — теперь я мог остановиться. В тот момент я достиг некоторой крайней точки, границы научного постижения, дошел до исходных понятий, до природы архетипа. Мне больше нечего сказать.

\* \* \*

Не следует считать этот обзор моих работ исчерпывающим. Мне нужно было сказать гораздо больше или гораздо меньше. Эта глава — скорее, попытка экспромта, как и все, о чем я говорю здесь. Мои работы я рассматриваю как определенные этапы моей жизни, в них нашло выражение мое внутреннее развитие. Ведь обращение к бессознательному в значительной мере способствует формированию человека, меняет его личность.

Моя жизнь — это мой труд, моя духовная работа. Одно неотделимо от другого.

Все мои работы были своего рода предписаниями, они создавались по велению судьбы, по велению свыше. В меня вселялся некий дух, и он говорил за меня. Я никогда не рассчитывал, что мои работы получат такой мощный резонанс. В них было то, чего мне недоставало в современном мире, и я чувствовал, что должен сказать то, чего никто не хотел слышать. Поэтому вначале я и чувствовал себя таким потерян-ным, я ведь знал, что люди будут стараться всеми силами отгородиться от того, что сложно, что противоречит их сознательным установкам. Сегодня я могу признаться: мне в самом деле кажется удивительным выпавший на мою долю успех. Меньше всего я на это рассчитывал. Главным для меня было сказать то, что должно было быть сказано. Думается, я сделал все, что мог. Наверное, можно было сделать больше и лучше, но это уже не в моих силах.

### Башня.

Благодаря научным занятиям мне удалось обнаружить истоки моих фантазий и разного рода проявлений бессознательного. Но я не мог отделаться от ощущения, что только слов и бумаги мне мало — необходимо было найти что-то более существенное. Я испытывал потребность перенести непосредственно — в камень — мои сокровенные мысли и мое знание. Иными словами, я должен был закрепить мою веру в камень. Так возникла Башня, дом, который я построил для себя в Боллингене. Ко-

му-то эта идея может показаться абсурдной, но я находил в этом не только глубокое удовлетворение, но и некий смысл.\*

С самого начала я мечтал иметь дом, построенный у воды. Меня всегда необычайно влекли к себе берега Цюрихского озера, и в 1922 году я купил участок земли в Боллингене. Прежде это были церковные земли, принадлежавшие монастырю св. Галла.

Сперва я собирался строить не дом, а лишь какую-нибудь одноэтажную времянку, круглую, с очагом посередине и кроватями вдоль стен, — эдакое примитивное жилище. Мне виделось что-то вроде африканской хижины, в центре которой, обложенный камнями, горит огонь, и это — семейный очаг, средоточие всего, что происходит в доме. Примитивные хижины по сути своей воплощают идею общности, некоего целого — семьи, которая включает в себя и мелкий домашний скот. Нечто подобное — жилище, которое отвечало бы первобытному человеческому ощущению, — хотелось построить и мне. Оно должно было отвечать ощущению безопасности не только в психологическом, но и в физическом смысле. Но первоначальный план показался мне слишком примитивным, и я изменил его. Я понял, что лучше выстроить нормальный двухэтажный дом, а не вставшую в землю хижину. Так в 1923 году появился первый круглый дом. И когда он был закончен, я увидел, что у меня получилась настоящая жилая Башня.

Связанное с нею чувство покоя и обновления я ощутил почти сразу; Башня стала для меня своего рода материнским лоном. Но постепенно мне стало казаться, что ей чего-то не хватает, — какой-то завершенности, что ли. В 1927 году я пристроил к дому еще одну башенку.

Со временем чувство беспокойства вновь овладело мной. В таком виде постройка по-прежнему казалась мне слишком примитивной, и в 1931 году я из башенки сделал настоящую Башню. В ней я хотел иметь некое пространство, принадлежащее только мне. Мне вспоминались индийские хижины, где всегда есть место (это может быть всего лишь отделенный занавеской угол), в котором человек имеет возможность остаться наедине с собой. Это место отведено для медитаций или занятий йогой.

В моей комнате я был один. Ключ от нее всегда находился при мне, и никто не смел входить туда без моего разрешения. В течение нескольких лет я расписал стены, изобразив на них все то, что уводило меня от обыденности, от дня сегодняшнего. Здесь я предавался размышлениям, давал волю своему воображению, хотя это было довольно тяжело и не всегда приемлемо. Итак, это было место духовного сосредоточения.

В 1935 году у меня появилось желание занять клочок собственной земли, обладать каким-то естественным пространством под открытым небом. Через четыре года я присоединил к Башне двор и лоджию на берегу озера. Они стали последним четвертым элементом, неотделимым от единой тройственности дома. Теперь сложилось нечто, связанное с числом «4», четыре части усадьбы, — и более того, за 12 лет.

После того как в 1955 году умерла моя жена, я ощутил некую внутреннюю потребность сделаться тем, кто я есть, стать самим собой. Если перевести это на язык домостроительства — я неожиданно осознал, что срединная часть, такая маленькая и незаметная между двумя башнями, выражает меня самого, мое «я». Тогда я пристроил еще один этаж. Прежде я не решался на такое — это казалось мне непозволительной самонадеянностью. На самом деле здесь проявилось превосходящее сознание своего эго, достигаемое лишь с возрастом. Через год после смерти жены все было

---

\* Башня в Боллингене была для Юнга не только летним домом, с возрастом он проводил там большую часть года, работая или отдыхая. — ред.

закончено. Первая Башня была построена в 1923 году, спустя два месяца после смерти моей матери. Обе эти даты полны смысла, потому что Башня, как будет видно из дальнейшего, определенным образом связана с миром мертвых.

Башня сразу стала для меня местом зрелости, материнским лоном, где я мог сделаться тем, чем я был, есть и буду. Она давала мне ощущение, будто я переродился в камне, являлась олицетворением моих предчувствий, моей *индивидуации*, неким памятником *aere perrenius* (прочнее меди. — *лат.*). С ее помощью я как бы утверждался в самом себе. Я строил дом по частям, следуя всегда лишь требованиям момента и не задумываясь о внутренней взаимозависимости того, что строится. Можно сказать, что я строил как бы во сне. Только потом, взглянув на то, что получилось, я увидел некий образ, преисполненный смысла: символ душевной целостности.

В Боллингене я живу естественной для себя жизнью. Здесь я словно «старый сын своей матери». Так называли это алхимики, это та самая «старость», которую я уже пережил, будучи ребенком, это мой «номер 2», который всегда был и будет. Он существует вне времени, и он — сын бессознательного, «старец», Филемон из моих фантазий обрел себя в Боллингене.

Порой я ощущаю, будто вбираю в себя пространство и окружающие меня предметы. Я живу в каждом дереве, в плеске волн, в облаках, в животных, которые приходят и уходят, — в каждом существе. В Башне нет ничего, что бы не менялось в течение десятилетий и с чем бы я не чувствовал связи. Здесь все имеет свою историю — и это моя история. Здесь проходит та грань, за которой открывается безграничное царство бессознательного.

Я отказался от электричества, сам топлю печь и плиту, а по вечерам зажигаю старинные лампы. У меня нет водопровода, я беру воду из колодца. Я рублю дрова и готовлю еду. В этих простых вещах заключается та простота, которая так нелегко дается человеку.

В Боллингене я окружен тишиной и живу «*in modest harmony with nature*» (в хрупкой гармонии с природой. — *англ.*)\* Мысли увлекают меня далеко назад, вглубь веков, или наоборот — в столь же отдаленное будущее. Здесь муки созидания не тревожат меня, сам творческий процесс больше напоминает игру.

\* \* \*

В 1950 году я решил запечатлеть в каком-нибудь памятнике из камня все, что значила для меня Башня. История этого камня сама по себе весьма любопытна.

Когда мне потребовались для постройки стены вокруг так называемого сада, я заказал их на каменоломне, расположенной недалеко от Боллингена. В моем присутствии каменщик продиктовал все размеры владельцу каменоломни, и тот записал их в свою книжку. Когда же заказанное привезли и начали выгружать, выяснилось, что размеры углового камня абсолютно неверны: вместо треугольного камня прислали куб — идеальный куб значительно больших размеров, чем было заказано, около полуметра толщиной. Каменщик пришел в ярость и велел увезти камень обратно.

Но я, увидев камень, сказал: «Нет, этот камень — мой, пусть он останется у меня!» Я сразу же понял, что он мне нужен, что я должен с ним что-то сделать. Правда, я еще не знал, что именно.

Первое, что я тогда вспомнил, — это одно латинское стихотворение. Его автор — алхимик Арнальдо де Вилланова (ум. в 1313). Я высек его на камне. В переводе оно звучит так:

---

\* Юнг приводит название старинной китайской гравюры, изображающей старичка на фоне героического пейзажа. — *ред.*



*Вот лежит камень, он невзрачен,  
Цена его до смешного мала.  
Но мудрый ценит то,  
Чем пренебрегают глупцы.*

Это стихи об алхимическом камне — ляписе, он действительно несколько не ценится людьми непосвященными.

Вскоре ко мне пришла одна идея. На поверхности камня я обнаружил созданный природой маленький круг, своего рода глаз, смотрящий на меня. Я прорезал его на камне и в центр поместил маленького человечка. Это был «мальчик» — «мальчик в глазах», кабир или Телесфор Асклепия. В античности его изображали в плаще с капюшоном и с фонарем в руке: он был тем, кто указывает путь. Я набросал в его честь несколько строк, придуманных мной, во время работы. В переводе эта греческая надпись звучит так:

*«Время — ребенок, играет ребенку подобно, играет подобно актерам; время — царство детей. Се Телесфор, что странствует во тьме вселенской и вспыхивает звездой из глубин. Ему ведом путь через врата Гелиосовы, через пределы, где обитают боги сна».*

Приведенные слова рождались одно за другим, пока я работал с камнем.

Той стороной, что была обращена к озеру, камень «говорил» на латыни. Все стихи для этой надписи я взял у алхимиков. Вот ее перевод:

*Одинок я в сиротстве своем, но найти меня можно всюду.  
Я един, но сам себе противопоставлен.  
Я и старец, и отрок.  
Не знаю я ни отца, ни матери.  
Ибо извлекли меня подобно рыбе из глубин,  
Или же пал я на землю, будто камень небесный.  
По горам и лесам странствую я, но скрыт я во человеках.  
Для каждого я смертен, но не подвластен времени переменам.*

И, наконец, под стихами Арнальдо де Виллановы я тоже сделал латинскую надпись: «В память о своем семидесятипятилетии и с благодарностью К. Г. Юнг. 1950».

Работа закончилась, я снова и снова с удивлением смотрел на камень и спрашивал себя: какой во всем этом смысл?

Камень находится вне Башни и некоторым образом объясняет ее. В определенном смысле он служит выражением обитателя Башни, но на языке не всем доступном. Знаете, что мне хотелось высечь на обратной стороне камня? — «Le cri de Merlin!» (Он кричит о Мерлине. — *фр.*). Потому что смысл, заключающийся в камне, напоминает мне о Мерлине в лесу, уже после того, как он удалился от мира. По преданию, люди иногда еще слышат его крики, но не могут их ни понять, ни объяснить.

Мерлин является попыткой средневекового подсознания сотворить образ, подобный Парсифалю. Парсифаль — христианский герой, тогда как Мерлин — его тень, сын дьявола и девственницы. В XII веке, когда родилась легенда, еще не существовало предпосылок для такого ее понимания. Потому он уходит в лес, и потому «le cri de Merlin» — даже после смерти. Крик этот, непонятный никому, означает, что Мерлин продолжает жить в этой своей нереализованной и бессознательной форме. Его история не может закончиться, она совершается всегда. Тайну Мерлина, как мне представляется, алхимики воплотили в образе Меркурия. Я пытался дать объясне-

ние в психологии бессознательного, но она и по сей день не понята! Ведь в большинстве своем люди даже не знают, что бессознательное существует. Мое собственное категорическое знание о нем, естественно, не становится их знанием.

\* \* \*

Это случилось в Боллингене как раз тогда, когда была построена первая Башня, зимой 1923 — 1924 года. Помнится, снега на земле не было, возможно, это была ранняя весна. Я жил один, может, неделю, может, больше. Вокруг стояла поразительная тишина, прежде я никогда не ощущал ее так сильно.

Как-то вечером — отчетливо это помню — я расположился у огня, грея воду в большом чайнике, чтобы вымыть посуду. Вода начала кипеть, и чайник запел. Он звучал как многоголосый хор, как какой-нибудь струнный инструмент или как целый оркестр. Это напоминало стереофоническое звучание, которого на самом деле терпеть не могу. Но в этот момент оно производило потрясающее впечатление: будто один оркестр находился в Башне, а другой — снаружи. Сначала вступал один, потом другой, словно они отвечали друг другу.

Околдованный, я сидел и слушал — больше часа слушал этот концерт, эту волшебную мелодию природы. То была тихая музыка, но со всеми естественными диссонансами, что на самом деле верно, потому что в природе существует не только гармония, природа противоречива и хаотична. Так было и в музыке, звуки наплывали то как волны, то как ветер, и это было так удивительно, что передать словами невозможно.

Ранней весной 1924 года я снова оказался один в Боллингене. Я затопил печь. Вечер стоял такой же тихий. Ночью меня разбудил звук приглушенных шагов, будто кто-то ходил вокруг Башни. Издалека доносилась музыка, она звучала все ближе и ближе, наконец послышались голоса, чьи-то речи и смех. Кто может там ходить? Что происходит? Вдоль озера тянулась только одна маленькая тропинка, и по ней едва ли кто-нибудь стал бы ходить! Размышляя таким образом, я окончательно проснулся и, подойдя к окну, открыл ставни — все было тихо. Я никого не увидел и ничего не услышал — ни ветра, ничего.

«Это действительно странно», — подумалось мне. Я был уверен, что и шаги, и голоса, и смех мне не пригрезились, но, похоже, это был всего лишь сон. Я снова лег, думая, как я мог так обмануться и почему мне вообще приснился такой странный сон. С этими мыслями я заснул, и все началось сначала — шаги, голоса, смех и музыка. В тот же момент передо мной возникли сотни темных фигур, возможно, это были крестьянские мальчики в воскресных костюмах. Они спустились с гор и заполнили пространство вокруг Башни, со смехом и топотом распевая песни и играя на гармониках. Меня это разозлило: «Черт знает что такое! Я думал — это сон, а это на самом деле, и это уж слишком!» С этим чувством я проснулся, вскочил, открыл окно, распахнул ставни и — все опять было тихо: лунная ночь и мертвая тишина. И тогда я подумал: «Может, здесь были привидения!»

Разумеется, меня интересовало, что это значит, отчего мой сон кажется мне настолько реальным, что я сразу просыпаюсь. Обычно такую реакцию вызывают привидения, и пробуждение означает действительное переживание. Сон таким образом выражал ту вполне реальную ситуацию, в которой я проснулся. Подобные сны, в противоположность обычным, говорят о намерении бессознательного передать спящему ощущение абсолютной реальности происходящего, причем при повторении это ощущение усиливается. Источником может быть, с одной стороны, физическое потрясение, с другой — архетипические образы.

В ту ночь все происходящее во сне было настолько реальным или, по крайней мере, казалось таковым, что я почти не отличал сна от действительности. Смысла его

я понять не смог. Что означала эта вереница поющих крестьянских мальчиков? Мне казалось, они явились сюда из любопытства, им хотелось посмотреть на Башню.

Никогда больше я не испытывал ничего подобного и не видел таких снов. Рассказывать о таких вещах не принято, я даже не припомню, чтобы когда-нибудь слышал о чем-то сходном. Объяснение пришло позже, когда я читал хронику Люцерна XVII века. Там есть такой сюжет: дело было в Альпах, на горе Пилат, известной своими привидениями. По преданию, Вотан и по сей день совершает там свои магические действия. Там одного человека однажды ночью потревожили люди, идущие длинной вереницей, они с песнями и музыкой окружили его хижину. Именно это я испытал тогда в Башне. На следующий день человек спросил пастуха, который у него ночевал, что бы это могло значить. Тот, не задумываясь, ответил: это, должно быть, «salig Lut» (здесь: души умерших. — *швейц. диалект*), неприкаянные души, Вотаново войско. Блуждая, они имеют обыкновение показываться людям.

Возможно, на меня подействовало длительное одиночество, пустота и тишина вокруг, а это видение множества людей принадлежит к тому же типу явлений, что и галлюцинации отшельников, и носит компенсаторный характер. Однако почему же происходящее было настолько реальным? Может быть, из-за одиночества моя чувствительность обострилась настолько, что я оказался лицом к лицу с той самой вереницей «salig Lut».

Но такое объяснение никогда до конца меня не удовлетворяло, я не стал бы утверждать, что это была галлюцинация. На мой взгляд, ощущение реальности происходящего, бесспорно, заслуживало специального внимания, особенно в связи с параллельным сюжетом средневековой хроники.

Вполне возможно, что я столкнулся с неким синхронным явлением, когда какие-либо происшествия, которые мы подразумеваем или предчувствуем, на деле вполне соответствуют реальности. У моего видения был ведь и конкретный исторический аналог: процессии молодых людей имели место в средние века — это были колонны наемников, которых обычно набирали весной из разных провинций, они направлялись в Локарно, там сливались в «casa di ferro» (железный отряд. — *итал.*) и дальше двигались маршем в Милан. В Италии они были солдатами, сражающимися под знаменами. И мое видение, похоже, представляло один из таких регулярных весенних наборов, сопровождаемых песнями и шумными гуляньями.

Этот странный сон долгое время занимал мои мысли.

\* \* \*

Когда в 1923 году мы начали здесь строиться, моя старшая дочь неожиданно сказала: «Как можно здесь строить? Здесь же трупы!» Я подумал тогда: «Ерунда, ничего подобного!» Но, когда мы делали пристройку здесь действительно обнаружили человеческие кости. Они находились на двухметровой глубине. В локтевом суставе правой руки застряла пуля от винтовки старинного образца. Судя по положению костей, тело сбросили в могилу не сразу, а после того как оно разложилось. Это были останки одного из французских солдат, утонувших в Линте в 1799 году, их тела вынесло на берега Верхнего озера. Случилось это, когда австрийцы взорвали мост у Гринау, который штурмовали французы. Фотография разрытой могилы с датой ее обнаружения (22 августа 1927 года) хранится у меня в Башне.

Я устроил солдату официальные похороны: его опустили в могилу, и я трижды выстрелил в воздух. Позже я установил могильную плиту с надписью. Моя дочь интуитивно почувствовала присутствие мертвеца. Эту способность она унаследовала от моей бабушки по материнской линии.

\* \* \*

Зимой 1955/56 года я высек имена моих предков на трех каменных плитах, установленных во дворе Башни. Потолок в ней был расписан геральдическими мотивами — моими, моей жены и зятьев.

Первоначально герб Юнгов украшал феникс — символ молодости и возрождения. Позже мой дед, желая, возможно насолить отцу, изменил герб. Он был масоном (вольным каменщиком), Великим мастером Швейцарской ложи, и это обстоятельство привело к изменениям, произведенным им в фамильном гербе Юнгов. Я привожу этот факт, который сам по себе может показаться несущественным, потому, что он исторически связан с моей жизнью и моими размышлениями.

После того как дед изменил наш герб, феникса на нем уже не было. Его заменили голубой крест в правом верхнем углу и голубой виноград слева внизу на золотом поле, их разделяет голубая полоса с золотой звездой. Совершенно очевидно, что это масонская символика. Так же как крест и роза у розенкрейцеров являют собой борьбу противоположностей («per crucem ad rosam», «через крест к розе») — христианского и дионисийского элементов, так крест и виноград символизируют дух земной, хтонический, и дух высокий, небесный. Объединяющий символ — золотая звезда, «aurum philosophorum» (философское золото. — *лат.*).

Философия розенкрейцеров вышла из герметической, собственно алхимической, философии. Одним из основателей ордена был Михаэль Майер (1568 — 1622), известный алхимик и младший современник малоизвестного, но гораздо более крупного алхимика Герхарда Дорна (жившего в конце XVI столетия), чьи трактаты составляют первый том «Theatrum Chemicum» (1602). Франкфурт, где жили они оба, являлся тогда центром алхимической философии. Во всяком случае, Михаэль Майер — придворный учитель и врач Рудольфа II — был местной знаменитостью. В соседнем Майнце в то же время жил доктор медицины и юриспруденции Карл Юнг (ум. в 1654), о котором больше ничего не известно; моя родословная замыкается на моем прадеде Зигмунде Юнге, civis Moguntinus (гражданин Майнца. — *лат.*), родившемся в начале XVIII века. Это объясняется тем, что муниципальные архивы Майнца сгорели во время войны за испанское наследство. Вполне возможно, что этому ученому, д-ру Карлу Юнгу, были известны труды обоих алхимиков, поскольку тогдашняя фармакология все еще находилась под сильным влиянием Парацельса. Дорн, например, открыто поддерживал Парацельса и даже оставил обширные комментарии к его трактату «De vita Longa». Кроме того, он более других занимался процессами индивидуации. Не буду скрывать, все это меня занимало всерьез, поскольку значительную часть своей жизни я отдал работе над проблемами противоположностей, особенно в свете алхимической символики.

Высекая имена на каменных плитах, я чувствовал, что между мной и моими предками существует какая-то роковая связь. Я всегда ощущал свою зависимость от них, от того, что они не дорешили, от вопросов, на которые они не ответили. Мне часто казалось, что существует некая безличная карма, которая передается от родителей к детям. Я был убежден, что просто обязан ответить на вопросы, которые судьба поставила еще перед моими прадедами, что должен хотя бы продолжить то, что они не исполнили. Трудно сказать, сколько в этих вопросах личного, а сколько — общечеловеческого (коллективного). Мне кажется — верно второе. Ведь очень часто проблема, значимая для многих, не всегда признается таковой, в ней усматривают только личную заинтересованность, и такой болезненный интерес, как правило, расценивают как персональное психическое расстройство. Действительно, подобные нарушения встречаются, но они не всегда присутствуют изначально, а могут быть и производными — следствием непереносимых социальных условий. Причину болезни поэтому нужно искать не столько в ближайшем окружении человека, сколько

ко в социальной ситуации. До сих пор эти обстоятельства психотерапии редко принимались в расчет.

Как любой человек, способный к некоторому самоанализу, я полагал, что раздвоение моей собственной личности — мое личное дело и касается только меня. Фауст поведал мне об этом, произнес спасительные слова: «Но две души живут во мне, и обе не в ладах друг с другом», хотя и ничего не объяснил. Мне казалось, что это сказано про меня. Когда я впервые прочел «Фауста», я не мог знать, насколько пророческим для Германии окажется странный героический миф Гёте. Я понял лишь одно: это касается меня лично. Осознав, что именно гордыня и непростительное легкомыслие Фауста явились причиной убийства Филемона и Бавкиды, я ощущал свою вину так, как если бы сам принимал в прошлом участие в их убийстве. Эта странная мысль пугала меня, необходимо было искупить этот грех или, по крайней мере, не позволить его повторения.

Мои ложные умозаключения получили неожиданное развитие. В юности, не помню от кого, я услышал поразивший меня рассказ, будто мой дед Юнг был родным сыном Гёте. Эта глупая история тем не менее произвела на меня впечатление, как мне казалось, она объясняла мою реакцию на «Фауста». Нет, я не верил в так называемую реинкарнацию, но мне было близко то, что индусы называют кармой. Тогда я и представить не мог, что бессознательное существует, и, естественно не находил никакого психологического объяснения своим реакциям. Просто я ничего не знал о том (а для большинства людей это и по сей день остается неизвестным), что бессознательное подготавливает будущие события задолго до их свершения, что люди, обладающие даром ясновидения могут их предвидеть. Например, когда Якоб Буркхардт узнал о коронации кайзера в Версале, он воскликнул «Это крах Германии!» Архетипы Вагнера уже стояли у ворот, а с ними пришел дионисийский опыт Ницше, происходящий, видимо, все же от буйного Вотана. Гордыня Вильгельма поразила Европу и стала причиной катастрофы 1914 года.

В юности (в 1890-х) я бессознательно следовал этому духу времени, не умея противостоять ему. «Фауст» пробудил во мне нечто такое, что в некотором смысле помогло мне понять самого себя. Он поднимал проблемы, которые более всего меня волновали: противостояние добра и зла, духа и материи, света и тьмы. Фауст, будучи сам неглубоким философом, сталкивается с темной стороной своего существа, своей зловещей тенью — Мефистофелем. Мефистофель, отрицая самую природу, воплощает подлинный дух жизни в противоположность сухой схоластике Фауста, поставившей его на грань самоубийства. Мои внутренние противоречия проявились здесь как драма. Именно Гёте странным образом обусловил основные линии и решения моих внутренних конфликтов. Дихотомия Фауст — Мефистофель воплотилась для меня в одном единственном человеке, и этим человеком был я. Это касалось меня лично, я узнавал себя. Это была моя судьба и все перипетии драмы — мои собственные; я принимал в них участие со всей пылкостью. Любое решение в данном случае имело для меня ценность. Позднее я сознательно во многих своих работах акцентировал внимание на проблемах, от которых уклонился Гёте в «Фаусте», — это уважение к извечным правам человека, почитание старости и древности, неразрывность духовной истории и культуры.\*

\* \* \*

Наши души, как и тела, состоят из тех же элементов, что тела и души наших предков. Качественная «новизна» индивидуальной души — результат бесконечной пере-

\* Эта установка Юнга нашла свое выражение в надписи, которую он сделал у въезда в Башню: «Philemonis Sacrum — Fausti Poenitentia» (Филемонова святыня — Фаустово раскаяние). Когда надпись была вмурована в стену, Юнг поместил те же слова над входом во вторую Башню. — ред.

тасовки составляющих. И тела и души исторически обусловлены имманентно: возникая вновь, они не становятся единственно возможной комбинацией, это лишь мимолетное пристанище неких исходных черт. Мы еще не успели усвоить опыт средневековья, античности и первобытной древности, а нас уже влечет неумолимый поток прогресса, стремительно рвущийся вперед, в будущее, и мы вслед за ним все больше и больше отрываемся от своих естественных корней. Мы отрываемся от прошлого, и оно умирает в нас, и удержать его невозможно. Но именно утрата этой преемственности, этой опоры, эта неукорененность нашей культуры и есть ее так называемая «болезнь»: мы в суматохе и спешке, но все более и более живем будущим, с его химерическими обещаниями «золотого века», забывая о настоящем, напрочь отвергая собственные исторические основания. В бездумной гонке за новизной нам не дает покоя все возрастающее чувство недостаточности, неудовлетворенности и неуверенности. Мы разучились жить тем, что имеем, но живем ожиданиями новых ощущений, живем не в свете настоящего дня, но в сумерках будущего, где в конце концов — по нашему убеждению — взойдет солнце. Зачем нам знать, что лучшее — враг хорошего и стоит слишком дорого, что наши надежды на большие свободы обернулись лишь большей зависимостью от государства, не говоря уже о той ужасной опасности, которую принесли с собой выдающиеся научные открытия. Чем менее мы понимаем смысл существования наших отцов и прадедов, тем менее мы понимаем самих себя. Таким образом отдельный человек теряет навсегда последние родовые корни и инстинкты, превращаясь лишь в частицу в общей массе и следуя лишь тому, что Ницше назвал «Geist der Schwere», духом тяжести.

Опережающий рост качества, связанный с техническим прогрессом, с так называемыми «gadgets» (приспособлениями. — *англ.*), естественно, производит впечатление, но лишь вначале, позже, по прошествии времени, они уже выглядят сомнительными, во всяком случае купленными слишком дорогой ценой. Они не дают счастья или благоденствия, но в большинстве своем создают иллюзорное облегчение; как всякого рода сберегающие время мероприятия они на поверку до предела ускоряют темп жизни, оставляя нам все меньше и меньше времени. «Omnis fastinatio ex parte — diaboli est» — «Всякая спешка — от дьявола», как говорили древние.

Изменения же обратного свойства, напротив, как правило дешевле обходятся и дольше живут, поскольку возвращают нас к простому, проверенному пути, сокращая наши потребности в газетах, радио, телевидении и в прочих, якобы сберегающих наше время, нововведениях.

\* \* \*

В этой книге я излагаю очень субъективные вещи, это мое миропонимание, которое ни в коем случае не следует расценивать как некое измышление разума. Это скорее видение, приходящее к человеку тогда, когда он старается уйти, отстраниться от внешних голосов и образов. Мы гораздо лучше слышим и гораздо лучше видим, если нас не зажимают в тисках настоящего, если нас не ограничивают и не преследуют нужды этого часа и этой минуты, заслоняя собственно саму минуту и образы, и голоса бессознательного. Так мы остаемся в неведении, даже не предполагая, насколько в нашей жизни присутствует мир наших предков с его элементарными благами, не задумываясь, отделены ли мы от него непреодолимой стеной. Наш душевный покой и благополучие прежде всего обусловлены тем, в какой мере исторически унаследованные фамильные черты согласуются с эфемерными нуждами настоящего момента.

В моей Башне в Боллингене я чувствую себя так, словно живу одновременно во множестве столетий. Башня переживет меня, хотя все в ней указывает на времена давно прошедшие. Здесь очень немногое говорит о сегодняшнем дне.

Если бы человек XVI века оказался в моем доме, лишь спички и керосиновая лампа явились бы для него новинкой, в остальном он ориентировался бы без труда. В Башне нет ничего, что могло бы не понравиться душам предков, — ни телефона, ни электричества. Здесь я пытаюсь найти ответы на вопросы, которые занимали их при жизни и которые они не сумели решить; я пытаюсь — плохо ли, хорошо ли — просто как могу. Я даже изобразил их на стенах, и это похоже на то будто вокруг меня собралась большая молчаливая семья, живущая здесь на протяжении столетий. Здесь обитает мой «номер 2» и существует жизнь во всем ее величии; она проходит и является вновь.

## Путешествия.

### Северная Африка.

В начале 1920 года один мой приятель собирался в Тунис по делам и предложил мне присоединиться. Я сразу же согласился. Мы отправились в марте, и ближайшей нашей целью был Алжир. Продвигаясь вдоль побережья, мы достигли Туниса и прибыли в Сузу, где я и оставил своего приятеля.

Наконец-то я оказался там, где так хотел побывать: в неевропейской стране, в которой не говорили ни на одном из европейских языков, не исповедовали христианства, где господствовали иные расовые и исторические традиции, иное мировоззрение, наложившее свой отпечаток на облик толпы. Мне часто хотелось хоть раз посмотреть на европейцев со стороны, чужими глазами. Правда, я совершенно не понимал по-арабски, но тем внимательнее я наблюдал людей, их нравы и привычки. Я многие часы просиживал в арабских кафе, прислушиваясь к беседам, в которых не понимал ни слова. Но меня чрезвычайно заинтересовали мимика беседующих, их способ выражения эмоций; я научился замечать даже незначительные изменения в жестике арабов, особенно когда они говорили с европейцами. Так я пытался взглянуть на белого человека сквозь призму иной культурной традиции.

То, что европейцы называют восточной невозмутимостью и апатией, мне показалось маской, за которой скрывалось некое беспокойство, волнение, чего я не мог себе объяснить. Странно, но оказавшись на марокканской земле, я ощутил то самое непонятное беспокойство: земля здесь имела странный запах. Это был запах крови — словно почва пропиталась ею. Мне подумалось, что эта земля пережила и перемолола в себе три цивилизации — карфагенскую, римскую и христианскую. Посмотрим, что принесет исламу технический век.

Покинув Сузу, я направился на юг, в Сфакс, а оттуда — в Сахару, в город-оазис Тоцер. Этот город стоит на небольшой возвышенности, на краю плато, снизу его омывают теплые и соленые источники. Их вода орошает оазис, разбегаясь тысячей маленьких каналов. Высокие старые пальмы создают своеобразную тенистую крышу, под которой цветут персики, абрикосы и инжир, а у самой земли расстилается ярко зеленая альфа. Среди зелени порхали несколько сверкающих, как драгоценные камни, зимородков. Под «крышей» было относительно прохладно, здесь прогуливались какие-то персонажи в белых одеждах, какие-то «нежные пары», не разжимающие объятий — похоже, гомосексуалисты. Я представил себя в Древней Греции, там, где эта склонность укрепляла мужские сообщества и лежала в основе греческого полиса. Было ясно, что мужчины разговаривают здесь с мужчинами, а женщины — с женщинами. Я увидел нескольких женщин в подобных монашеским одеяниях. Лишь

некоторые ходили без покрывала, это были, как объяснил мой проводник, проститутки. На главных улицах можно встретить только мужчин и детей.

Проводник подтвердил мне, что гомосексуализм действительно распространен здесь и считается чем-то вполне обычным, в конце концов я тоже получил от него соответствующее предложение. В простоте своей он не догадывался о мысли, которая поразила меня как вспышка молнии, все вдруг объяснив. Я внезапно ощутил себя человеком, вернувшимся в прошлое, на много столетий назад, в мир бесконечно детский, бесконечно наивный, этим людям еще только предстояло с помощью скудного знания, что давал им Коран, из нынешнего состояния, из первобытной тьмы прийти к осознанному существованию, к необходимости защитить себя от угрозы, идущей с Севера.

Будучи все еще под впечатлением этой бесконечной временной протяженности, этого статичного бытия, я вдруг вспомнил о своих карманных часах — символе европейского, все ускоряющегося времени: оно и было той угрозой, той мрачной тучей, что нависла над головами этих наивных счастливых. Они вдруг показались мне мирно пасущимися животными, которые не видят охотника, но в какой-то момент смутно улавливают его запах, его гнетущее присутствие. Этот запах и есть неумолимый бог времени, который неизбежно разделит их вечность на дни, часы и минуты, все дробя и все измельчая.

Из Тоцера я направился в оазис Нефта. Мы двинулись в путь рано утром, сразу после восхода солнца. Нас везли огромные быстроногие мулы, и прибыли мы на место довольно скоро. Недалеко от оазиса нас миновал одинокий всадник; весь в белом, он гордо сидел в седле и, проезжая мимо, никак не приветствовал нас. Под ним был черный мул с украшенными серебряными обручами рогами. Всадник был необыкновенно хорош и по-своему элегантен, он выглядел как человек, у которого никогда не было карманных часов, не говоря уже о наручных, — они были ему без необходимости, он и так знал все, что ему нужно. В нем не было той суетности, которая так легко пристает к европейцу. Европейец всегда помнит, что он не таков, каким был прежде, но никогда не знает, чем же он стал. Он убежден, что время — синоним прогресса, но задумывается над тем, что оно же — синоним безвозвратности. С облегченным багажом, постоянно увеличивая скорость, европейец стремится к туманной цели. Все свои потери и вызванное ими «*sentiment d'incomplétude*» (чувство неудовлетворенности. — *фр.*) он восполняет иллюзорными победами — пароходами и железными дорогами, самолетами и ракетами. Он выигрывает в скорости и, сам того не ведая, теряет длительность; переносясь на огромной скорости в иное измерение, в реальность иного порядка.

Чем дальше мы углублялись в Сахару, тем медленнее текло время, угрожая вот-вот повернуть вспять. Вокруг неподвижный и раскаленный воздух, от которого у меня рябило в глазах. Я почти грезил, когда мы добрались до первых пальм и хижин оазиса: мне показалось, что так было всегда.

На следующее утро меня разбудили непривычный шум и крики на улице. Рядом раскинулась большая открытая площадь, которая вечером была пуста. Теперь же здесь толпились люди, верблюды, ослы и мулы. Верблюды ревели, разнообразными вариациями тона выражая свое хроническое недовольство, ослы соревновались с ними, издавая ужасные вопли. Люди бегали, крича и жестикулируя, они казались чем-то взволнованными и взбудораженными. Проводник объяснил мне, что сегодня большой праздник. Ночью несколько кочевых племен появились в городе, чтобы отработать два дня на полях одного из влиятельных марабутов. Он занимался благотворительностью и владел огромными территориями пахотных земель. Этим людям предстояло расчистить земли для нового поля и подвести к нему каналы.



Неожиданно на дальнем краю площади поднялось облако пыли, затем взметнулось вверх зеленое знамя. Под барабанный бой по площади двинулась длинная процессия из нескольких сотен свирепых мужчин с корзинами и мотыгами. Возглавлял ее седобородый, почтенного вида старик. Он вел себя с неподражаемым достоинством и естественностью, на вид ему было лет сто, а может, и больше. Это и был марабут, сидящий верхом на белом муле, окруженный танцующими мужчинами. Вокруг царили возбуждение, шум, зной, раздавались дикие крики. С фанатичной целеустремленностью процессия прошествовала мимо и направилась в оазис так, будто направлялась на битву. Я последовал за этой ордой на благоразумном расстоянии. Мой проводник не предлагал мне приблизиться к ней до тех пор, пока мы не пришли туда, где «работали». Здесь царила еще большая суматоха. Барабанный бой и неистовые крики неслись со всех сторон, поле было похоже на растревоженный муравейник. Все делалось в крайней спешке. Одни, приплясывая, тащили тяжелые корзины с песком, другие с невероятной скоростью рыли землю, выкапывая ямы и насыпая дамбы. Посреди всего этого шума разъезжал марабут на белом муле, отдавая приказания жестами мягкими и усталыми, но полными благородства. Там, где он появлялся, шум, крики и толкотня сразу усиливались, создавая своего рода фон, на котором спокойная фигура марабута производила необычайное впечатление. К вечеру люди заметно поутихли, в их движениях чувствовалась крайняя усталость, они бесильно опускались на землю возле своих верблюдов и мгновенно засыпали. Ночью воцарилась абсолютная тишина, прерываемая лишь разноголосым лаем собак. Ас первыми лучами солнца раздалась протяжные вопли муэдзина, возвещавшего время утренней молитвы.

Увиденное кое-что прояснило для меня: эти люди, оказывается, жили в постоянном возбуждении, они были подвластны лишь эмоциям. Сознание, с одной стороны, задает им некую ориентацию в пространстве посредством разного рода внешних впечатлений, но с другой — они руководствуются страстями и инстинктами. Они не рефлектируют, их мыслящее эго не существует само по себе, не имеет автономии. Во многом они мало чем отличаются от европейцев, разве что немного проще. Мы обладаем гораздо большей преднамеренностью и целенаправленностью, зато их жизнь более интенсивна. Менее всего я желал уподобиться аборигенам, но все-таки заразился, правда физически, — подхватил инфекционный энтерит, от которого, впрочем, через пару дней избавился, обходясь местными средствами: рисовой водой и каломелью.

\* \* \*

Я вернулся в Тунис полный мыслей и впечатлений. В ночь перед отплытием в Марсель мне приснился сон, в котором, как я и предполагал, все обрело законченную форму. Ничего удивительного я в этом не нахожу, ведь я приучил себя к тому, что существую одновременно как бы на двух уровнях — сознательном, когда я хочу и не могу что-либо понять, и бессознательном, когда нечто мне ведомо, но не иначе как во сне.

Мне снилось, что я оказался в каком-то арабском городе, и там, как во многих арабских городах, есть некая крепость, а в ней — цитадель, касба. Город был расположен посреди поля и обнесен стеной, которая окружала его с четырех сторон, с каждой стороны были ворота.

Касбу внутреннего города окружал широкий ров (что здесь отнюдь не принято). Я стоял у деревянного моста, ведущего в темную арку: то были ворота, и они были открыты. Мне очень хотелось проникнуть внутрь, и я ступил на мост. Но едва я дошел до середины, как от ворот отделился красивый темнокожий араб — он был царственно хорош, этот юноша в белом бурнусе. Я знал, что это принц и что он живет

здесь. Приблизившись, он вдруг набросился на меня, пытаясь сбить с ног. Завязалась борьба. Мы с силой ударились о перила, они поддались, и мы оба полетели в ров, где араб попытался погрузить мою голову в воду. «Ну, это уж слишком», — подумал я и ухватил его за шею. Меня не оставляло чувство глубокого восхищения этим юношей, но я не мог позволить себя убить и его убивать не собирался. Мне нужно было только, чтобы он потерял сознание и прекратил борьбу.

Вдруг декорации переменились, и мы оказались в большом восьмиугольном зале со сводчатым потолком — белом зале, где все было просто и хорошо. Вдоль светлых мраморных стен стояли низкие кушетки, а передо мной на полулежала открытая книга с черными буквами, которые на редкость красиво смотрелись на молочно-белом пергаменте. То была не арабская рукопись, она, скорее, походила на уйгурский текст, знакомый мне по манихейским фрагментам из Турфана. Я не знал, о чем она, но у меня возникло ощущение, будто это была *моя книга*, будто я сам написал ее. Юный принц, с которым мы еще недавно боролись, сидел на полу, справа от меня. Я попытался объяснить ему, что теперь, после того как я взял над ним верх, он должен прочесть эту книгу. Принц воспротивился. Тогда я обнял его за плечи и, так сказать, с отеческой настойчивостью заставил прочитать ее. Я был убежден, что это необходимо, и в конце концов он уступил.

В этом сне арабский юноша был как бы двойником того гордого араба, который проехал мимо нас, не склонив головы. Будучи обитателем касбы, этот персонаж воплощал самость, а точнее, был вестником и представителем самости. Касба, из которой он вышел, представляла собой безупречную мандалу (цитадель, окруженная с четырех сторон стеной и с воротами на каждой стороне). То, как мы с ним боролись, напоминало борьбу Иакова с ангелом; если провести параллель с Библией — он был как ангел Господень, посланник Бога, пожелавший наказать человека за незнание.

Ангел, собственно, должен был «вселиться» в меня, но он знал лишь ангелов и ничего не понимал в людях, поэтому он вначале напал на меня как враг, однако я выстоял. Во второй части сновидения я сам стал хозяином цитадели, и ангел сидел у моих ног, ему пришлось учиться понимать меня, постигать человеческую природу.

Знакомство с арабской культурой в буквальном смысле подавило меня. Эти люди, живущие во власти чувств и страстей, не склонные к долгим размышлениям, в главном для себя опирались на те исторические уровни бессознательного, которые мы в себе преодолели или думаем, что преодолели. Это как тот детский рай, от которого мы отлучены, но который при любой возможности напоминает о себе. Воистину, наша вера в прогресс таит в себе глубочайшую опасность: предаваясь все более иллюзорным мечтаниям о будущем, наше сознание неотвратимо погружается в свое прошлое состояние.

Но правда и то, что детство — которое из-за своей наивности, мало осознает себя — способно создать совершенный образ целостного и самодостаточного человека во всей его неповторимости. Поэтому взгляд ребенка и первобытного человека может пробудить у взрослого и цивилизованного человека какую-то тоску, какие-то желания, стремления и потребности, ранее не востребованные, свойственные той части личности, которая была подавлена, затерта, загнана внутрь.

Я разъезжал по Африке, пытаясь обнаружить нечто такое, что в каком-то смысле обретается по ту сторону европейского сознания. Подсознательно я хотел найти ту часть своей индивидуальности, которая затушевывалась под влиянием и под давлением европейского образа жизни. Она, эта часть, бессознательно противостоит моему стремлению подавить ее. В соответствии со своей природой она стремится погрузить меня в бессознательное (утянуть под воду) и тем самым погубить, но благодаря своему знанию я в состоянии ее осознать и обозначить, в состоянии отыскать взаимо-

приемлемый *modus vivendi*. Темный цвет кожи араба указывает на то, что он — «тьень», но не моего сознательного «я», а в большей степени этническая, то есть тень некой целостности, составляющей мою личность, моей самости. Как хозяин касбы, этот араб был тенью моей самости. Европейец живет в согласии со своим *ratio*, отмечая тем самым большинство человеческих проявлений, и почитает это за благо, не замечая, что достигается оно ценой жизни во всей ее полноте, ценой собственной личности — утратой ее целостности.

Сон объясняет, какое влияние оказало на меня знакомство с Северной Африкой. Прежде всего не исключено было, что мое европейское сознание подвергнется неожиданным и мощным атакам бессознательного. Но на самом деле я ничего подобного не испытал, наоборот, я всякий раз убеждался в своем превосходстве, и жизнь на каждом шагу напоминала мне, что я европейец. К этому я относился как к неизбежности, ведь между мной и аборигенами всегда существовала некая дистанция, некое отчуждение. Но тот факт, что бессознательное столь явно принимает этот чуждый мне порядок вещей, явился для меня неожиданностью: я не был готов к подобному конфликту, который во сне возник в сюжете об убийстве.

Истинный характер этого расстройтва я понял лишь несколько лет спустя, оказавшись в тропической Африке. Здесь я впервые почувствовал, что значит «going black under the skin» (почернеть под кожей, т.е. в душе. — *англ.*), эта подстерегающая каждого европейца опасность потерять себя — опасность, еще не вполне осознаваемая нами. «Там, где опасность, там, однако, и спасение» — эти слова Гёльдерлина мне часто вспоминались в подобных ситуациях. «Спасение» заключается в нашей способности осознать, чего хочет темная сторона нашей личности, и в этом нам помогают предостерегающие сны. Они говорят, о присутствии в каждом из нас некоего «существа», которое не только пассивно принимает подсознательные импульсы, но и само переходит в наступление, рвется в бой, — это и есть тень нашего «я». Также как детские воспоминания могут неожиданно завладеть сознанием, вызывая столь живое чувство, что мы вдруг ощущаем себя перенесенными в мир детства, так и этот, иной и чуждый нам, образ жизни будит архетипическую память о прошлом, которое мы, казалось, совершенно забыли. Это воспоминание о потенциальных возможностях, отринутых цивилизацией, но мы воспринимаем их как своего рода примитивный опыт, как некий варварский пережиток, и предпочитаем забыть о них. Но как только это напоминает о себе, провоцируя конфликт, мы как бы сознательно взвешиваем обе возможности: одну — реально проживаемую, другую — забытую. И тогда становится ясно: утраченное не всегда может найти слова в свою защиту. В структуре психики, так же как и в экономике, нет ничего, что совершалось бы механически, все связано со всем, все имеет цель и смысл. Но поскольку сознательный разум не может охватить и осветить всю структуру в целом, он, как правило, не может понять и этот смысл. Поэтому мы вынуждены опираться только на наши знания об этом и надеяться, что в будущем ученые сумеют объяснить, что же означает это столкновение с тенью самости. Во всяком случае, я в тот момент даже не догадывался о природе этого архетипического опыта и еще в меньшей степени мог найти ему какие бы то ни было исторические параллели. Тем не менее мне надолго запомнился мой сон и мое желание снова при малейшей возможности посетить Африку. Желание это исполнилось лишь через пять лет.

## Америка: индейцы пуэбло.

Каждый раз, когда возникает потребность взглянуть на вещи критически, нужно смотреть на них со стороны. Это особенно верно в отношении психологии, где материал по природе своей гораздо более субъективен, чем в любой другой области знаний. Как, например, возможно полностью осознать национальные особенности, если мы не можем взглянуть на свой народ со стороны? А это означает — смотреть на него с точки зрения другого народа. И чтобы опыт удался, необходимо получить более или менее удовлетворительное представление о другом коллективном сознании, причем в процессе ассимиляции нам придется столкнуться со многими необычными вещами, которые кажутся несовместимыми с нашими понятиями о норме, которые составляют так называемые национальные предрассудки и определяют национальное своеобразие. Все, что не устраивает нас в других, позволяет понять самих себя. Я начинаю понимать, что есть Англия, лишь тогда, когда я как швейцарец испытываю неудобства. Я начинаю понимать Европу (а это наша главная проблема), если вижу то, что раздражает меня как европейца. Среди моих знакомых много американцев. Именно поездка в Америку дала мне возможность критически подойти к европейскому характеру и образу жизни; мне всегда казалось, что нет ничего полезнее для европейца, чем взглянуть на Европу с крыши небоскреба. Впервые таким образом я воображал европейскую драму, будучи в Сахаре, когда меня окружала цивилизация, отдаленная от европейской приблизительно так же, как Древний Рим — от Нового Света. Тогда мне стало понятно, до какой степени — даже в Америке — я все еще стеснен и замкнут в рамках культурного сознания белого человека. И тогда у меня появилось желание углубить эту историческую аналогию, спустившись еще ниже по культурной лестнице.

Оказавшись в Америке в следующий раз, я вместе с американскими друзьями посетил в Нью-Мехико, город, основанный индейцами пуэбло. Впрочем, «город» — это слишком сильно сказано, на самом деле это просто деревня, но дома в ней, скученные, густозаселенные, выстроенные один над другим, позволяют говорить о «городе», тем более что так его название звучит на их языке. Так впервые мне удалось поговорить с неевропейцем, то есть не с белым. Это был вождь племени Тао, человек лет сорока или пятидесяти, умный и проницательный, по имени Охвия Биано (Горное Озеро). Я говорил с ним так, как мне редко удавалось поговорить с европейцем. Разумеется, и он жил в своем собственном мире, как европеец — в своем, но что это был за мир! В беседе с европейцем вы, словно песок сквозь пальцы, пропускаете общие места, всем известные, но тем более никому не понятные; здесь же — я словно плыл по глубокому неведомому морю. И неизвестно, что доставляет больше наслаждения — открывать для себя новые берега или находить новые пути в познании вещей давно известных, пути древние и практически забытые.

«Смотри, — говорил Охвия Биано, — какими жестокими кажутся белые люди. У них тонкие губы, острые носы, их лица в глубоких морщинах, а глаза все время чего-то ищут. Чего они ищут? Белые всегда чего-то хотят, они всегда беспокойны и нетерпеливы. Мы не знаем, чего они хотят. Мы не понимаем их. Нам кажется, что они сумасшедшие».

Я спросил его, почему он считает всех белых сумасшедшими? «Они говорят, что думают головой», — ответил вождь. «Ну, разумеется! А чем же ты думаешь?» — удивился я. «Наши мысли рождаются здесь», — сказал Охвия, указывая на сердце.

Я был ошеломлен услышанным. Первый раз в жизни (так мне казалось) мне нарисовали истинный портрет белого человека; меня было такое чувство, будто до этого я не видел ничего, кроме размалеванных сентиментальных картинок. Этот индеец отыскал наше самое уязвимое место, увидел нечто, такое чего не видим мы. У меня

возникло ощущение, будто то, чего я не замечал в себе раньше, нечто лишённое очертаний, поднимается во мне. И из этого тумана один за другим выплывают образы. Сначала возникли римские легионеры, разрушающие галльские города, Цезарь с его резкими, словно высеченными из камня, чертами, Сципион Африканский и, наконец, Помпеи. Я увидел римского орла над Северным морем и на берегах Белого Нила. Я увидел Блаженного Августина, принесшего на остриях римских пик христианское «credo» бриттам, и Карла Великого с его пресловутым крещением язычников. Я видел банды крестоносцев, грабящих и убивающих. Со всей беспощадностью передо мной обнажилась пустота романтической традиции с её поэзией крестовых походов. Затем перед глазами появились Колумб, Кортес и прочие конквистадоры, огнем, мечом и пытками проложившие путь христианству, достигшему даже этих отдаленных пуэбло, мечтательных и мирных, почитающих солнце своим отцом. Я увидел, наконец, жителей Новой Зеландии, куда европейцы доставили морем «огненную воду», скарлатину и сифилис.

Этого было достаточно. Все, что у нас зовется колонизацией, миссионерством, распространением цивилизации и пр., имеет и другой облик — облик хищной птицы, которая с жестокостью и упорством находит добычу подальше от своего гнезда, что отроду свойственно пиратам и бандитам. Все эти орлы и прочие хищники, которые украшают наши гербы, дают психологически верное представление о нашей истинной природе.

Однако в том, что сказал Охвия Биано, меня поразило и другое. Его слова так точно передавали особое настроение нашего разговора, что мой рассказ выглядел бы неполным, если бы я не упомянул об этом. Мы беседовали на крыше самого большого (пятиэтажного) здания, откуда были видны и другие крыши и на них — фигуры индейцев, закутанных в шерстяные одеяла и созерцающих солнце, свершающее свой путь по небу каждый день, с утра до вечера. Вокруг нас, сгрудившись, стояли низкие квадратные дома, сложенные из высушенного на солнце кирпича (адоба), с характерными лестницами, которые поднимались от земли до крыши и от крыши — к крышам соседних строений. Прежде, в тревожные для индейцев времена, вход в дом обычно располагался на крыше. Перед нами до самого горизонта тянулось предгорье Тао (примерно 2300 м над уровнем моря), некоторые вершины с воронками потухших вулканов достигали 4000 м. Позади нас, за домами, текла прозрачная река, на противоположном берегу которой виднелось еще одно селение пуэбло с такими же домами из красного кирпича, высота которых увеличивалась по направлению к центру, что странным образом напоминало американскую столицу с ее небоскребами в центре. Примерно в полудне езды вверх по реке возвышалась большая гора, просто Гора, Гора без имени. Говорят, что, когда она затянута облаками, мужчины уходят туда, чтобы совершать таинственные обряды.

Индейцы пуэбло чрезвычайно скрытны, особенно в том, что касается их религии. Свои обряды они совершают в глубокой тайне, которая охраняется настолько строго, что я воздержался от расспросов — это ни к чему не привело бы. Никогда раньше я не сталкивался с подобной таинственностью. Религии современных цивилизованных народов вполне доступны, их таинства уже давно перестали быть таковыми. Здесь же сам воздух был исполнен тайны, — тайны, известной всем, но недоступной для белых. Эта странная ситуация напомнила мне об Элевсинских мистериях, об их тайнах, которые всем известны, но никогда не разглашаются. Я понял, чувства какого-нибудь Павсания или Геродота, когда писал: «Мне не позволено называть имя этого бога». Здесь царили не мистификация, а мистерия, и нарушение тайны несло в себе опасность, одинаковую для всех и каждого. Хранение же ее наделяет индейца пуэбло некой гордостью и силой, позволяющей противостоять агрессивной экспансии белых. Эта тайна рождает у него чувство своего единства с племенем. Я

убежден, что пуэбло как особая общность сохранятся до тех пор, пока будут храниться их тайны.

Поразительно, насколько меняется индеец, когда заходит речь о религии. Обычно он полностью владеет собой и ведет себя с достоинством, что порой граничит с равнодушием. Но когда он заговаривает о вещах, имеющих отношение к его священным тайнам, он становится необыкновенно эмоциональным, не в силах скрывать свои чувства. И это в какой-то степени позволяло мне удовлетворить свое любопытство. Выше я уже говорил, что от прямых расспросов мне пришлось отказаться. Поэтому, желая узнать что-то существенное, я старался делать это крайне осторожно; наблюдая за выражением лица собеседника. Если я касался чего-то важного, он замолкал или же отвечал уклончиво, но на лице его появлялись следы глубокого волнения, глаза наполнялись слезами. Религия для индейцев — отнюдь не теория (можно ли создать теорию, способную вызвать слезы), это то, что имеет прямое и непосредственное отношение к действительности и значит столько же, если не больше.

Когда мы сидели на крыше с Охвией Биано, а слепящее солнце поднималось все выше и выше, он вдруг сказал, указывая на него: «Тот, кто движется там, в небе, не наш ли это Отец? Разве можно думать иначе? Разве может быть другой Бог? Без солнца ничто не может существовать!» Все сильнее волнуясь, он с трудом подбирал слова, и наконец воскликнул: «Что человек делал бы один в горах? Без солнца он не смог бы даже соорудить себе очаг!»

Я спросил, не допускает ли он, что солнце может быть огненным шаром, форму которого определил невидимый Бог. Мой вопрос не вызвал у него ни удивления, ни негодования. Вопрос показался ему настолько нелепым, что он даже не счел его глупым — а просто не обратил на него внимания. Я испытал, будто оказался перед неприступной стеной. Единственное, что я услышал в ответ: «Солнце — Бог! Это видно любому».

Хотя никто не станет отрицать огромного значения солнца, но то чувство и то волнение, с которым говорили о нем эти спокойные, скрытные люди, было для меня вновь и глубоко меня трогало.

В другой раз, когда я стоял у реки и смотрел на гору, возвышавшуюся почти на 2000 м, мне пришла в голову мысль, что это и есть крыша всего американского континента и что люди, живущие здесь, подобны индейцам, которые, завернувшись в одеяла, стоят на самых высоких крышах Пуэбло, молчаливые и погруженные в созерцание — лицом к солнцу. Внезапно глубокий, дрожащий от тайного волнения голос произнес слева от меня: «Тебе не кажется, что вся жизнь идет от Горы?» Это старый индеец в мокасинах неслышно подошел ко мне и задал свой — не знаю, как далеко идущий — вопрос. Взгляд на реку, струящуюся с горы, объяснил мне, что его подтокнуло. По-видимому, вся жизнь идет от Горы потому, что там — вода, а где вода, там жизнь. Нет ничего более очевидного. В его вопросе слышалось глубокое волнение, и я вспомнил разговоры о таинственных ритуалах, совершаемых на Горе. «Каждый может видеть, что ты сказал правду», — ответил я ему.

К сожалению, наша беседа вскоре прервалась, так что мне не удалось составить более глубокое понятие относительно символизма воды и горы.

Я обратил внимание, что индейцы пуэбло, с такой неохотой рассказывавшие о вещах религиозных, с большой готовностью и воодушевлением обсуждали свои отношения с американцами. «Почему американцы не оставят нас в покое? — вопрошал Горное Озеро. — Почему они хотят запретить наши танцы? Почему они не позволяют нашим юношам уходить из школы, когда мы хотим отвести их в Киву.\* Мы

\* Место, где совершаются ритуалы.

ведь не делаем ничего, что приносило бы вред американцам!» После долгого молчания он продолжил: «Американцы хотят запретить нашу религию. Почему они не могут оставить нас в покое? То, что мы делаем, мы делаем не только для себя, но и для американцев тоже. Да, мы делаем это для всех. Это нужно всем».

По его волнению я понял, что вождь имеет в виду что-то очень важное в своей религии. «Выходит, то, что выделаете, приносит пользу всем?» — спросил я. «Конечно! Если бы мы не делали этого, что бы случилось тогда?» — ответил он с необыкновенным воодушевлением и многозначительно указал на солнце.

Я ощутил, что мы приблизились к деликатной сфере, которая затрагивает священные тайны племени. «Ведь мы — народ, — сказал он, — который живет на крыше мира, мы — дети солнца, и, совершая свои обряды, мы помогаем нашему Отцу шествовать по небу. Если мы перестанем это делать, то через десять лет солнце не будет всходить и наступит вечная ночь».

Теперь я знал, откуда берется достоинство и невозмутимое спокойствие этого человека. Он — сын солнца, и его жизнь полна космологического смысла — он помогает своему Отцу, творцу и хранителю жизни на земле, — он помогает ему совершать это ежедневное восхождение. Если в свете такого самоопределения мы попытаемся объяснить назначение собственной жизни, то, как подсказывает здравый смысл, его убожество поразит нас. Мы покровительственно улыбаемся первобытной наивности индейца, кичимся своей мудростью. Почему? Да потому, что нас гложет обыкновенная зависть. Ведь в противном случае на свет божий выйдут наша духовная нищета и никчемность. Знания не делают нас богаче, но все дальше уводят от мифологического миропонимания, которое свойственно было нам когда-то по праву рождения.

Если мы на минуту отрешимся от нашего европейского рационализма и окажемся вдруг на этих вершинах с их кристальным воздухом, где по одну сторону — полоса материковых прерий, по другую — Тихий океан, если мы пожертвуем своими сознательными представлениями о мире ради этой бескрайней линии горизонта, за которой скрыто, то, чего мы не знаем, что неподвластно сознанию, — только тогда мы увидим мир таким, каким его видят индейцы пуэбло. «Вся жизнь приходит с гор», — и в этом они могут убедиться непосредственно. Точно также они убеждены, что живут на крыше безграничного мира, ближе всех к Богу. Бог слышит их лучше других, их поклонение их обряды достигают далекого солнца раньше, чем другие. Священная Гора, явление Яхве на горе Синай, вдохновение, испытанное Ницше на Энгадене, — все это явления одного порядка. Мысль о том, что исполнение обряда может магическим образом воздействовать на солнце, мы считаем абсурдной, но, если вдуматься, она не столь уж безумна, более того, она нам гораздо ближе, чем мы предполагаем. Наша христианская религия, как и всякая другая, проникнута идеей, что особого рода действия или поступки — ритуал, молитва или богоугодные дела — могут влиять на Бога.

Ритуальные действия всегда являют собой некий ответ, обратную реакцию, и предполагают не только прямое «воздействие», но зачастую преследуют и магическую цель. Но чувство, что ты сам в состоянии ответить на проявление Божественного могущества, что ты, сам, способен сделать для Бога что-то важное, преисполняет человека гордостью, дает ему возможность ощутить себя своего рода метафизическим фактором. «Бог и мы» — даже если это бессознательный *sousentendu* (намека. — *фр.*) это все же ощущение равноправности, позволяющее человеку вести себя с завидным достоинством, и такой человек в полном смысле слова находится на своем месте.

## Кения и Уганда.

*Tout est bien sortant des mains de l'Auteur des choses.*

Rousseau

*Все, что выходит из рук Творца, — благо.*

Руссо.

На Лондонской выставке в Уэмбли (1925) на меня произвела неизгладимое впечатление экспозиция, посвященная племенам и народностям, находившимся под британским протекторатом, и я решил, что в ближайшем будущем отправлюсь в тропическую Африку. Мне давно хотелось пусть недолго, но пожить в какой-нибудь неевропейской стране, среди людей, мало похожих на европейцев.

Осенью того же года с двумя друзьями, англичанином и американцем, я выехал в Момбаз. Кроме нас на пароходе было много молодых англичан, направляющихся в колонии, чтобы занять свои посты. Царившая на борту атмосфера ясно давала понять, что эти люди путешествуют не ради удовольствия, но в силу необходимости. Конечно, они выглядели веселыми, но общий серьезный тон был очевиден. О судьбе большинства попутчиков мне стало известно еще до того, как я вернулся домой. Некоторых из них постигла смерть буквально в течение ближайших двух месяцев, они умерли от тропической малярии, инфекционной дизентерии и воспаления легких. Среди умерших был молодой человек, сидевший за столом напротив меня. Другим был доктор Экли, работавший в обезьяньем питомнике, с которым я подружился в Нью-Йорке незадолго до этого путешествия. Он умер, когда я еще находился на Элгоне, и весть о его смерти дошла до меня уже после возвращения.

Момбаз остался в моей памяти как жарко-влажный город, упрятанный в лесу, среди пальм и манго, очень живописный, с природной гаванью и старинным португальским фортом, — город столь же европейский, сколь и негритянский и индийский. Мы пробыли там два дня и к вечеру третьего отправились по узкоколейке в Найроби.

Наступала тропическая ночь. Мы ехали вдоль прибрежной полосы, мимо многочисленных негритянских селений, где люди сидели и беседовали, расположившись вокруг небольших костров. Вскоре поезд пошел на подъем, селения исчезли. Опустилась фиолетово-черная ночь. Жара немного спала, и я заснул. Меня разбудили первые лучи солнца; поезд, окутанный красным облаком пыли, как раз огибал оранжево-красный скалистый обрыв. На выступе скалы, опершись на длинное копье и глядя вниз на поезд, неподвижно стояла тонкая черно-коричневая фигурка. Рядом возвышался гигантский кактус.

Я был околдован необычным зрелищем. Это была встреча с чем-то совершенно чуждым, никогда не виденным мной, но в то же время я ощущал некое сильное *sentiment du dejr vu* (чувство узнавания. — *фр.*). Мне казалось, что я всегда знал этот мир и лишь случайно оказался разделенным с ним во времени. Казалось, будто я возвратился в страну своей юности и знаю этого темнокожего человека — он ждет меня уже пять тысяч лет.

Это настроение не покидало меня все время, пока я путешествовал по Африке. Помню, что однажды мне доводилось переживать нечто подобное: в тот раз я вместе с моим прежним шефом, профессором Блейлером, впервые столкнулся с парапсихологическими явлениями. До этого я воображал, что буду потрясен, увидев нечто



столь невероятное. Но когда это случилось, я даже не был удивлен, восприняв произошедшее как совершенно естественное, само собой разумеющееся, словно я и раньше знал об этом.

Трудно сказать, какую струну задел во мне одинокий темнокожий охотник. Просто я знаю, что этот мир был моим в течение тысячелетий.

Тем не менее я был несколько озадачен. Около полудня поезд прибыл в Найроби, расположенный на высоте 1800 м над уровнем моря. Ярко светило солнце, напомнив мне о сияющей вершине Энгадена, ошеломляющей своим блеском тех, кто поднимался наверх из мглистой долины. И что удивительно, на железнодорожной станции я встретил множество молодых людей в старомодных шерстяных лыжных шапочках, которые я привык видеть, да и сам носил на Энгадене. Они очень удобны потому, что завернутый вверх край можно опустить вниз как козырек, в Альпах это защита от ледяного ветра, здесь — от палящей жары.

Из Найроби мы на маленьком форде выехали к равнине Атхи, где раскинулся огромный заповедник. С невысокого холма открывался величественный видна саванну, протянувшуюся до самого горизонта; все покрывали бесчисленные стада животных — зебр, антилоп, газелей и т. д. Жуя траву и медленно покачивая головами, они беззвучно текли вперед, как спокойные реки; это мерное течение лишь иногда прерывалось однотонным криком какой-нибудь хищной птицы. Здесь царил покой извечного начала, это был такой мир, каким он был всегда, до бытия, до человека, до кого-нибудь, кто мог сказать, что этот мир — «этот мир». Потеряв из виду своих попутчиков, я оказался в полном одиночестве и чувствовал себя первым человеком, который узнал этот мир и знанием своим сотворил его для себя.

В этот миг мне во всей полноте открылся космологический смысл сознания. «*Quod natura relinquit imperfectum, ars perficit*» (Что природа оставляет незавершенным, завершает искусство. — *лат.*), — говорили алхимики. Невидимым актом творения человек придает миру завершенность, делая его существование объективным. Мы считаем это заслугой одного лишь Создателя, даже не предполагая, что тем самым превращаем жизнь и собственное бытие в некий часовой механизм, а психологию человеческую — в нечто бессмысленное, развивающееся по заранее предопределенным и известным правилам. Эта утопия часового механизма — совершенно безнадёжная — не знает драмы человека и мира, человека и Бога. Ей не ведомо, что есть «новый день» и «новая земля», она подвластна лишь монотонному раскачиванию маятника. Я подумал о своем приятеле, индейце пуэбло: он видел, что смысл его существования в том, чтобы каждый день помогать отцу — Солнцу совершать свой путь по небу. Я не мог избавиться от чувства зависти к нему — ведь его жизнь была полна смысла, а я все еще без всякой надежды искал свой собственный миф. Теперь я его нашел, и более того — осознал, что человек есть тот, кто завершает творение, что он — тот же создатель, что только он один вносит объективный смысл в существование этого мира; без него все это, неслышанное и неувиденное, молча поглощающее пищу, рождающее детенышей и умирающее, бессмысленной тенью сотни миллионов лет пребывало в глубокой тьме небытия, двигаясь к своему неведомому концу. Только человеческое сознание придает всему этому смысл и значение, и в этом великом акте творения человек обрел свое неотъемлемое место.

\* \* \*

Железная дорога в этих местах тогда только строилась, и поезд довез нас до конечной (на тот момент) станции «Шестьдесят четыре». Пока слуги выгружали наше объемистое снаряжение, я уселся на шоп-бокс (ящик для провизии, что-то вроде плетеной корзины) и закурил трубку, размышляя о том, что мы наконец достигли края нашей «ойкумены» — обитаемой земли, где начинаются бесконечные тропы, в раз-

ных направлениях пересекающие материк. Через какое-то время ко мне подошел немолодой англичанин, очевидно поселенец. Он поинтересовался, куда мы направляемся. Когда я описал ему наш маршрут, он спросил: «Вы первый раз в Африке? Я здесь уже сорок лет». «Да, — ответил я. — По крайней мере, в этой части Африки».

«В таком случае могу ли я вам кое-что посоветовать? Понимаете, сэр, здесь страна не человека, а Бога. И если что-нибудь случится, вы просто сядьте и постарайтесь не волноваться». С этими словами он поднялся и смешался с толпой негров, суетившихся вокруг.

Я долго сидел, пытаюсь представить себе психологическое состояние человека, который мог сказать такое. В словах англичанина несомненно сконцентрировалась квинтэссенция его опыта; не человек, а Бог правил здесь, другими словами, не воля или намерение, а непостижимая судьба.

Я все еще продолжал обдумывать его слова, когда раздался сигнал к отъезду и подъехали два наших автомобиля. Мы, восемь человек, взгромоздились вместе с багажом в машины, стараясь устроиться по возможности удобно. Затем несколько часов ни о чем, кроме тряски, думать было невозможно. Ближайшее поселение Какамега, где размещались окружной комиссар, небольшой гарнизон африканцев, вооруженных винтовками, госпиталь и, хотите верьте — хотите нет, маленькая психиатрическая больница, оказалось гораздо дальше, чем я предполагал. Наступил вечер, и внезапно мы очутились в кромешной темноте. И в этот момент разразилась тропическая гроза: гром, молнии и такой ливень, что через минуту мы вымокли с головы до пят, а каждый мелкий ручеек превратился в бурный поток.

В половине первого ночи, когда уже стало проясняться, мы в плачевном состоянии наконец добрались до Какамеги, где комиссар привел нас в чувство изрядной порцией виски и пригласил в свою гостиную. В камине пылал веселый и такой долгожданный огонь. Посреди комнаты стоял большой стол, заваленный английскими журналами. Впечатление складывалось такое, будто мы оказались в загородном доме где-нибудь в Сассексе. Я так устал, что не мог провести грань между сном и явью: снится мне все это или я, наоборот, проснулся. Но в конце концов нам все же пришлось разбить наш палаточный лагерь, — мы делали это впервые, — и, слава богу, все оказалось на месте.

На следующее утро я проснулся с легкими признаками ларингита: меня знобило, и целый день я вынужден был провести в постели. Этому обстоятельству я был обязан моим знакомством с так называемой *brainfever bird* (дословно: птица, вызывающая воспаление мозга. — *англ.*). Эта птица знаменита тем, что абсолютно точно допекает октаву до предпоследней ноты и тут же начинает все сначала. Из-за высокой температуры и подобного музыкального сопровождения я испытывал ощущение, что голова моя раскалывается на куски.

Другой пернатый обитатель банановых плантаций выводил мелодию, состоящую из двух сладчайших и приятнейших звуков, заканчивая ее третьим — резким и пугающим. *Quod natura relinquit imperfectum...* (То, что природа оставила незавершенным. — *лат.*) Лишь одна птица здесь издавала безупречно мелодичные звуки. Когда она пела, казалось, будто вдоль горизонта плывет колокольчик.

На следующий день с помощью комиссара мы увеличили число наших носильщиков и получили его военный эскорт из трех стрелков. В таком составе мы начали путь к вершине Элгон (4400 м). Тропа вилась по относительно сухой саванне, поросшей зонтичными акациями. Вся землю вокруг покрывали маленькие круглые холмики в два-три метра высотой, это были старые колонии термитов.

Для путешественников вдоль тропы были построены небольшие кирпичные домики, круглые, с соломенной крышей. Они были открыты и совершенно пусты. По

ночам у входа подвешивался зажженный фонарь, чтобы отпугнуть незваных гостей. У нашего повара фонаря не было, зато он поселился один в собственной маленькой хижине, чем был очень доволен. Но это чуть было не закончилось для него самым печальным образом. Накануне он заколол перед своей хижинкой овцу, купленную нами за пять угандийских шиллингов, и приготовил на ужин превосходные отбивные. Когда же после ужина мы уселись у костра и закурили, до нас донеслись странные звуки, которые, приближаясь, напоминали то медвежий рев, то собачий лай, то пронзительный крик, то истерический смех. В первое мгновение мне показалось, что я нахожусь на комическом представлении у Барнума и Бэйли, но вскоре сцена стала уже не смешной, а угрожающей. Нас со всех сторон окружали голодные гиены, привлеченные, видимо, запахом овечьей крови. Это они устроили дьявольский концерт, и в отблесках огня можно было видеть, как в высокой траве горели их глаза.

Гиены, как известно, не нападают на человека, но абсолютной уверенности в безопасности у нас не было, тем более, что в этот момент раздался страшный вопль — он доносился со стороны хижин. Мы схватились за оружие (девятимиллиметровая винтовка Манлихера и охотничье ружье) и сделали несколько выстрелов по светящимся в траве огонькам, когда вдруг подбежал перепуганный повар. Выяснилось, что «физи» (гиена) забралась в хижину и чуть было не загрызла его. Весь лагерь был в панике. Гиены испугались и, шумно протестуя, удалились. Остаток ночи прошел спокойно и тихо, лишь из хижины, где жили носильщики, еще долго доносился смех. Утром следующего дня у нас появился местный вождь с дарами — корзиной яиц и двумя цыплятами. Он упрашивал нас задержаться еще на день и перестрелять гиен. Оказывается, за день до нашего происшествия, они напали на спавшего в хижине старика и растерзали его. *De Africa nihil certum!* (В Африке ни в чем нельзя быть уверенным. — лат.)

С рассветом в жилище опять началось веселье — оттуда слышались взрывы хохота. Похоже, они обыгрывали события минувшей ночи. Один изображал спящего повара, другой — подползающую к нему гиену. Эту маленькую пьесу они многократно повторяли, но публика каждый раз была в восторге.

С тех пор повара прозвали Физи. Мы, трое белых, уже получили свои «trademarks» (прозвища. — *англ.*). Моего друга, англичанина, называли Красношеим, как, впрочем, и всех здешних англичан. Американец, который щеголял в эффектном плаще, был известен как *Bwana meredadi* (Нарядный господин). Волосы тогда у меня уже были седыми (мне было пятьдесят), и меня называли *Mzee* — старик, считая столетним. Людей в преклонном возрасте здесь почти не встретишь, седых я видел очень мало. *Mzee* — еще и почетный титул, и он был присужден мне, поскольку я возглавлял «Психологическую экспедицию в Багишу» — название, которое «*lucus a non lucendo*»<sup>\*</sup> присвоили этой экспедиции в министерстве иностранных дел в Лондоне. Мы действительно побывали в Багише, но гораздо больше времени провели на Элгоне.

Мои негры оказались превосходными знатоками человеческого характера. Такая интуитивная пронизательность связана со свойственной им удивительной способностью к подражанию. Они потрясающе копируют походку, жесты, манеру речи, в буквальном смысле «влезая» в шкуру своего персонажа. Их способность к постижению эмоциональной природы показалась мне поразительной. Я использовал любую возможность, чтобы вступать с ними в длительные беседы, к которым они, судя по всему, питали пристрастие. Таким образом я многому научился.

<sup>\*</sup> «Lucus» (роща) от «non lucendo» (не светит) — пример анекдотичной этимологии; это означает нелепое, противоположное действительности название.

То обстоятельство, что наше путешествие было как бы полуофициальным, давало нам определенные преимущества: нам было легче нанимать носильщиков, легче добиться военной охраны. Последнее не было излишней предосторожностью, мы передвигались по районам, которые белыми не контролируются. Так, при восхождении на Элгон нас сопровождали сержант и два солдата. От губернатора я получил письмо с просьбой взять под свою защиту некую англичанку, которая возвращалась в Египет через Судан. Поскольку мы следовали по тому же маршруту и уже успели познакомиться с этой дамой в Найроби, я не видел причин отклонить эту просьбу. К тому же мы были многим обязаны губернатору за самую разнообразную помощь.

Я рассказываю об этом, чтобы показать, как неувлимо архетип может влиять на наши поступки. Нас по чистой случайности было трое. Я приглашал еще одного моего приятеля присоединиться к нам, но обстоятельства не позволили ему принять приглашение. Этого оказалось достаточно, чтобы бессознательно мы стали ощущать себя архетипической троицей. Но для полноты нам не хватало четвертого.

Поэтому я предпочел воспользоваться случаем и с удовольствием приветствовал присоединившуюся к нам даму. Она оказалась непритязательной и бесстрашной, внося приятное разнообразие в нашу мужскую компанию. Когда спустя какое-то время наш юный товарищ заболел тяжелой формой тропической малярии, нам очень пригодился ее опыт: в первую мировую войну она была медсестрой.

После происшествия с гиенами мы двинулись дальше, не успев выполнить просьбу вождя. Дорога шла под уклон, все чаще попадались следы третичной лавы. Мы прошли через заросли гигантских, покрытых огненно-красными цветами деревьев найди. Огромные жуки и исполинские, ослепительно раскрашенные бабочки оживляли поляны и лесные лужайки, на ветвях раскачивались любопытные обезьяны. Вскоре мы почувствовали себя «miles from anywhere» (затерянными. — *англ.*) в джунглях; это был райский мир. Большею частью наш путь пролегал по краснозему саванны, мы предпочитали естественные тропы, узкие и извилистые.

Без особых приключений мы достигли подножья горы Элгон, которая по мере приближения к ней росла на глазах. Здесь начинался подъем: узкая тропа, ведущая вверх. Нас приветствовал местный вождь, он был сыном лекаря — «лайбона». Приехал он на пони, это была единственная лошадь, которую мы пока здесь встретили. Он сообщил, что его племя принадлежит к масаи, но ведет обособленное существование здесь, на склонах горы Элгон.

После нескольких часов подъема мы вышли на большую живописную поляну, где протекал чистый и холодный ручей, падающий с высоты примерно трех метров. Здесь мы выкупались, разбили лагерь на мягком и сухом склоне в тени зонтичных акаций. Неподдалеку находилась негритянская деревушка, состоявшая из нескольких хижин и бомы — двора, огороженного забором из колючего кустарника.

С местным вождем я объяснялся на суахили. По его распоряжению нам носили воду, этим занималась женщина с двумя дочерьми-подростками. Всю их одежду составлял только пояс из раковин каури (раковины ходили здесь в обращении вместо денег). Девушки были поразительно милостивыми и стройными, с шоколадно-коричневой кожей и аристократически медлительными движениями. Приятно было слышать по утрам тихий звон железных колец, когда они шли от ручья, видеть их силуэты, когда, слегка покачиваясь, они выплывали из высокой желтой травы, удерживая на голове сосуды с водой. Набор украшений, которые они носили был чрезвычайно разнообразен: кольца на лодыжках, медные браслеты, ожерелья и серьги из меди или дерева, по форме похожие на маленькие катушки. В нижнюю губу они втыкали костяной или железный гвоздик. У девушек были прекрасные манеры, встречая нас они застенчиво и очаровательно улыбались.

У меня никогда не было возможности поговорить с местными женщинами (за исключением одного случая, о котором я вскоре упомяну), здесь это не принято. Как и у нас на юге, мужчины здесь разговаривают с мужчинами, женщины — с женщинами.

Вести себя иначе означает love-making (заниматься любовью. — *англ.*). Белый при этом не только теряет свой авторитет, но и рискует «going-black» (почернеть. — *англ.*), в чем я не раз убеждался. Нередко доводилось слышать, как негры говорили о каком-нибудь белом: «Он — плохой человек», Когда я спрашивал почему, в ответ раздавалось: «Он спит с нашими женщинами».

Мужчины здесь занимались скотом и охотой, женщины — шамбой (плантациями бананов, сладкого картофеля, риса и маиса). Дети, козы и цыплята — все помещались вместе в одной круглой хижине. Достоинство и естественность местных женщин определялось их активной ролью в домашнем хозяйстве. Понятие равноправия женщин — это порождение нашего века, когда естественное деловое партнерство мужчины и женщины потеряло свой смысл. Примитивное же общество регулируется бессознательным эгоизмом и альтруизмом — в расчет принимается и то, и другое. Этот бессознательно установленный порядок тотчас разрушается, если происходит нечто непредвиденное, восстановление же его — уже всегда некий сознательный акт.

Я с теплотой вспоминаю одного из своих «информантов», от которого получил немало интересных сведений о здешних семейных нравах. Это был удивительно красивый и вежливый юноша по имени Гиброат — сын вождя, чье доверие мне, похоже, удалось завоевать. Он охотно брал у меня сигареты, но никогда не выпрашивал подарки, в отличие от всех остальных. Время от времени он «наносил светские визиты» и рассказывал всякие любопытные вещи. Я видел, что ему хочется о чем-то меня попросить, но он все не решается. Через какое-то время, когда наше знакомство достаточно упрочилось, юноша обратился ко мне с неожиданной просьбой: он хотел, чтобы я познакомился с его семьей. Мне было известно, что жены у него нет, а родители его умерли. Речь шла о его старшей сестре, которая вышла замуж, став второй женой, у нее было четверо детей. Гиброат попросил меня навестить их — по видимому, в его жизни сестра занимала место матери. Я согласился, полагая, что смогу получить некоторое представление о семейной жизни туземцев.

«Madame etait chez elle» (мадам была у себя. — *фр.*), она вышла из хижины, когда мы прибыли, и непринужденно поздоровалась с нами. Она оказалась привлекательной женщиной среднего возраста, то есть ей было около тридцати; кроме обязательного пояса, она носила кольца на лодыжках и запястьях, какие-то медные украшения свисали с необыкновенно длинной мочки уха, грудь прикрыта шкурой какого-то дикого зверька. Своих четырех маленьких «мтотос» она заперла в хижине, и они выглядывали сквозь дверные щели, возбужденно хихикая. По моей просьбе она открыла дверь, но лишь через какое-то время они осмелели и вышли. Сестра Гиброата была так же любезна, как и он сам. А он светился от радости, видя успех своего предприятия.

Мы говорили стоя, потому что сидеть было негде, разве что на пыльной, покрытой пометом дороге. Беседа наша ограничивалась условными рамками полусемейной-полусветской тематики: семья, дети, дом, сад. Старшая жена жила рядом, у нее было шестеро детей. Бома этой «сестры» располагалась метрах в восьмидесяти от нас. Приблизительно на полпути между хижинами жен, на вершине этого умозрительного треугольника стояла хижина мужа, а метрах в пятидесяти за ней — маленькая хижина, принадлежавшая его взрослому сыну от первой жены. Каждая из двух женщин имела собственную шамбу, и моя хозяйка, похоже, очень гордилась своей.

У меня сложилось впечатление, что ее уверенность и чувство собственного достоинства были основаны в значительной степени на адекватности ее своему маленькому миру, включающему детей, дом, скот, шамбу, и — *last but not least* (последнее, но немаловажное. — *англ.*) — не лишнюю привлекательности внешность. О муже говорилось вскользь; казалось, он то есть, то — нет. В данный момент он находился в каком-то неизвестном месте. Моя хозяйка казалась воплощением стабильности, воистину она была «*pie-d-r-terre*» (земная опора мужа. — *фр.*). Вопрос заключался не в том, есть он или нет его, но скорее — есть ли она, ибо она являлась центром этого домашнего мира, пока муж бродит где-то со своими стадами. То, что происходит внутри этих «простых» душ, не осознается и потому неведомо, ведь собственные заключения о «прогрессивной» дифференциации мы делаем, исходя из своих представлений о европейских нравах — и только.

Я спрашивал себя: не является ли «мужественность» белой женщины следствием того, что она утратила этот естественный мир (шамба, дети, домашний скот, собственный дом и очаг); может быть, это своего рода компенсация за утрату естества, а отсюда причина «женственности» белого мужчины? Рациональная государственная структура стремится любыми способами затушевывать различия между полами. Роль гомосексуализма в современном обществе аномальна: отчасти, это следствие материнского комплекса, отчасти — феномен естественной целесообразности, призванный предотвратить дальнейшее воспроизведение.

Мне и моим товарищам по путешествию посчастливилось ощутить вкус африканской жизни в ее первобытной и ни с чем не сравнимой красоте и во всей глубине ее страдания. Дни, которые я там провел, — лучшее, что было у меня в этой жизни, — *procul negotiis et integer vitae sulerisque purus* (вдали от дел, в первобытной жизни, чистой и неспящей. — *лат.*), в «божественном покое» первобытной земли. Никогда больше у меня не было возможности так свободно и открыто «наблюдать человека и других животных» (Геродот). За тысячи миль от Европы, этой матери всех демонов, которые не могли достать меня здесь, — ни телеграмм, ни телефонных звонков, ни писем, ни визитов, — это было частью и необходимым условием «Психологической экспедиции в Багишу». Все мои душевные силы в их свободном потоке обратились назад, в этот блаженный первобытный простор.

\* \* \*

Нам удавалось легко заводить разговоры с любопытными туземцами, которые ежедневно приходили к лагерю, садились вокруг и с неизменным интересом наблюдали за всем, что мы делаем. Мой вождь, Ибрагим, посвятил меня в тонкости этикета беседы. Все мужчины (женщины никогда не приближались) должны были сесть на землю. Для меня Ибрагим поставил маленький стул из красного дерева — стул вождя, на который я должен был сесть. Затем я начинал свою речь с перечисления «шауры» — тех тем, которых мы будем касаться. Большинство моих собеседников объяснялись на сносном пиджин-суахили, я же, чтобы меня поняли, старался в основном пользоваться карманным разговорником. Эта маленькая книжка была предметом бесконечного восхищения. Мой скудный словарный запас вынуждал меня говорить просто, что и требовалось в этой ситуации. Зачастую наша беседа приобретала характер увлекательной игры в отгадывание загадок, и туземцы охотно принимали в ней участие. Но продолжалась она, как правило, не более часа, наши собеседники заметно уставали и драматически жаловались, объясняя жестами: «Увы, мы так устали».

Меня, разумеется, очень интересовали их сны, но завести разговор на эту тему никак не удавалось. Я предлагал маленькие поощрения: сигареты, спички, английские булавки — все, чем они так дорожили. Ничего не помогало. Я так и не смог до конца

объяснить их испуг, когда речь заходила о сновидениях. Подозреваю, что все дело в страхе и недоверии. Известно ведь, что негры боятся фотографироваться, они подозревают, что при этом у них отнимают частицу души, — возможно, точно так же они боятся, что тот, кто знает их сны, может нанести им вред. Это, между прочим, не касалось наших слуг, они были сомалийцами, жили на побережье и говорили на суахили. У них имелся арабский сонник, к которому они обращались ежедневно. Если у них возникали какие-то сомнения, они приходили ко мне за советом. За то, что я знал Коран, они называли меня «человеком-книгой» и считали переодетым мусульманином.

Однажды мне удалось побеседовать с лайбоном, старым знахарем. Он появился передо мной в великолепном плаще из шкурок голубых обезьян, явно очень дорогом. Когда я стал расспрашивать знахаря о снах, он ответил со слезами на глазах: «Прежде у лайбонов бывали сны, и они знали, ждать ли войны и болезней, будет ли дождь и куда гнать стада». Еще его дед видел такие сны. Но с тех пор как в Африку пришли белые, никто уже не видит снов. Сны больше не нужны, теперь про все знают англичане!

Я понял, что этого человека лишили смысла его существования. То, в чем раньше наставлял его божественный голос, теперь «знают англичане». Прежде он, знахарь, беседовал с богами, ведающими судьбой племени, и обладал огромным влиянием. Его слово — как слово пифии в Древней Греции — было последней инстанцией. Теперь роль последней инстанции перешла к окружному комиссару. Все жизненные ценности находились отныне в этом мире. Думается, что теперь это лишь вопрос времени и жизнестойкости черной расы — когда негры наконец осознают важность физических законов.

Наш лайбон вовсе не был похож на выдающегося человека, он был всего лишь слезливым старичком, живым воплощением распадающегося, отживающего и невозвратимого мира.

Не однажды я заводил с туземцами разговор о богах, ритуалах и церемониях. Но только единственный раз, в одной маленькой деревушке, мне представилась возможность наблюдать нечто в этом роде. Там, перед пустой хижинкой посреди оживленной деревенской улицы, оставили тщательно выметенное место диаметром в несколько метров. Посередине положили пояс из раковин, кольца, серьги, черепки от горшков и какую-то лопатку. Нам лишь удалось узнать, что в этой хижине умерла женщина. О похоронах ничего не говорилось.

В беседах со мной местные жители настойчиво повторяли, что их западные соседи — «плохие» люди. Когда там кто-нибудь умирал, об этом уведомляли соседнюю деревню, а тело вечером приносили к месту, находившемуся посередине — между этими деревнями. В свою очередь, с той стороны на это же место доставляли всякие подношения, а утром трупа уже не было. Мне со всей очевидностью дали понять, что в той, другой деревне, мертвеца съедали. Там, где мы жили, ничего подобного не происходило: мертвецов выносили в кусты, и гиены в одну ночь все улаживали. Фактически мы не обнаружили ничего похожего на похоронный обряд.

Тем не менее, мне стало известно, что, когда человек умирает, его тело кладут на пол посреди хижины. Лайбон, обходя его вокруг, льет молоко из чаши на пол, бормоча при этом: «Айик адхиста, адхиста айик!»

Значение этих слов мне было уже известно. В конце одной из моих бесед с туземцами какой-то старик внезапно воскликнул: «Утром, на заре, мы выходим из хижин, плюем на руки и протягиваем их к солнцу». Я попросил проделать эту церемонию и подробно ее описать. Несколько человек поднесли руки ко рту, поплевали на них, а вернее с силой подули, и повернули ладони к солнцу. Я спросил, что это означает,

зачем они это делают, почему дуют или плюют на руки. Ответом была фраза: «Мы всегда так делаем». Получить хоть какое-то внятное объяснение было невозможно, и я понял, что в действительности они знали только, что они *делали* это, но не знали, *что* конкретно делали. Сами они не видели в этом смысла. Но ведь и мы исполняем обряды, не всегда понимая, зачем это делаем: зажигаем свечи на рождественской елке, храним пасхальные яйца и т. д.

Старик пояснил, что это и есть истинная религия всех людей, что все кевирондосы, все ваганда, все племена, которые можно увидеть с горы, и живущие так далеко, что их невозможно увидеть, — все почитают «адхисту», то есть восходящее солнце. Только в этот момент солнце было «мунгу» — то есть Богом. Первый слабый золотистый полумесяц новой луны, явившийся на востоке, — тоже Бог. Но только в этот момент и ни в какой другой.

По-видимому, смысл этого ритуала заключался в поднесении чего-то солнцу в момент его восхода. Слюна же — это субстанция, которая по понятиям примитивных народов содержит ману — целебную, магическую и жизненную силу. Дыхание — это гоно, арабское ruch, ивритское ruach, греческое pneuma — ветер и дух. Само действие таким образом означает: «Я преподношу богу мою живую душу». Это была безмолвная рукотворная молитва, которую можно истолковать так: «Господи, в твои руки отдаю я дух мой».

Кроме адхисты элгонисы, как мы узнали позже, почитают «айик», дух, живущий в земле и являющийся шайтаном (дьяволом). Он вызывает страх и холодный ветер, подкарауливает ночных путников. Старик, чтобы усилить впечатление, стал насвистывать какой-то дьявольский мотив, давая понять, как айик ползет сквозь высокие заросли травы и кустарника.

По убеждению этих людей, Творец устроил все хорошо и красиво. Он живет по ту сторону добра и зла. Он — «мьзури», то есть прекрасен, и все, что он сделал, — тоже «мьзури».

Я задал им вопрос: «А как же дикие звери, которые губят ваш скот?», ответ гласил: «Лев хороший и красивый». — «А ваши ужасные болезни?» — Они сказали: «Ты лежишь на солнце, и это прекрасно». Их оптимизм поражал. Но, как я вскоре обнаружил, они были оптимистами до шести часов вечера. После заката они оказывались уже в другом мире — темном мире айика, мире, где царили зло, страх и опасности. Оптимистическая философия уступала место философии темной и иррациональной, страху перед призраками, магическими заклинаниями. С рассветом страхи забывались, и они вновь становились оптимистами.

Меня эти открытия глубоко потрясли: здесь, у истоков Нила, я обнаружил нечто сходное с древнеегипетским представлением о двух противоборствующих помощниках Озириса — Горе и Сете. Похоже, этот культ возник первоначально в первобытной Африке и по священным водам Нила достиг берегов Средиземного моря. Адхиста, восходящее солнце, подобно Гору, воплощает свет; айик — тьму.

В простом обряде, совершаемом над мертвым телом, лайбон, проливая молоко, называет оба этих имени, одновременно принося жертву двум божествам. Они имеют равную силу и значение, делят между собой день и ночь, и каждому из них отпущено по двенадцать часов. Но полным божественного смысла оказывается тот миг, когда с характерной для экваториальных широт внезапностью первый луч солнца как стрела пронзает тьму и ночь уходит, уступая место свету, несущему жизнь.

Восход солнца в этих широтах всегда вызывал у меня волнение. Потрясало не столько величие являющегося на горизонте солнца, но то, что происходит после. У меня стало привычкой перед самым восходом брать походный стульчик и садиться под зонтом акации. Передо мной на дне маленькой долины тянулась темная, поч-



ти черная полоса джунглей, с нависающим над ней краем плато. Сперва контраст между светом и тьмой очень резок, затем мягкий свет постепенно проникает в долину и, становясь все ярче и ярче, заполняет ее всю. Горизонт превращается в пылающую белую линию. Создается впечатление, что свет проникает уже внутрь предметов и они начинают светиться изнутри, пока не становятся почти прозрачными, как блестящие разноцветные стеклышки. Все вокруг выглядит подобно огненным кристаллам. Издалека доносится крик птицы-колокольчика. В такие минуты мне казалось, будто я нахожусь в каком-то сказочном замке. Это был самый священный час дня, и я, забыв о времени, наслаждался этим великолепием, испытывая бесконечный восторг.

Рядом со мной находилась высокая скала, где жили огромные павианы. Обычно они с шумом и криками носились по лесу, но каждое утро они тихо застывали на краю скалы со стороны восходящего солнца, будто тоже ожидали рассвета. Они подходили на павианов из храма Абу-Симбел в Египте, чьи застывшие движения напоминали молитвенные жесты. Здесь повторялся один и тот же сюжет: с давних пор люди поклонялись великому богу, избавляющему мир от тьмы, несущему в себе лучистый небесный свет.

Я тогда осознал, что в душе всегда живет стремление к свету, неудержимое желание вырваться из первобытной тьмы. Ночью все живое погружается в глубокое уныние и каждой душой овладевает неизъяснимая тоска по свету. Это тоскливое выражение мы видим в глазах туземцев и животных. В глазах животных прячется печаль, и никто никогда не узнает, порождение ли это их души или болезненное чувство — знак первобытного, первоначального состояния мира. Эта печаль — суть настроения Африки, постоянное ощущение ею своего одиночества. Первобытная тьма сопричастна глубокой материнской тайне, потому так остро переживают негры рождение солнца — ведь в этот момент является свет, является избавление, освобождение от тьмы. Говорить, что солнце есть Бог, — значит утратить, забыть изначальное ощущение, переживание этого момента. «Мы рады, что кончилась ночь и духи ушли», — но это уже некоторое рассудочное осмысление. В действительности ночью над этой землей нависает такая тьма, что ночь становится не просто ночью, а тьмой души, вековечной ночью, которая сегодня та же, какой была миллионы лет. И желание увидеть свет — это желание обрести сознание.

\* \* \*

Наше безмятежное пребывание на горе Элгон близилось к концу. Мы грустно сворачивали палатки, обещая себе, что вернемся. Трудно было смириться с мыслью, что я больше никогда не смогу увидеть и пережить это ни с чем не сравнимое величие. Позже близ Какамеги нашли золото, в ставшей мне родной, недалекой стране развернулось движение «мау-мау», и нам пришлось пробудиться от наших грез и мифов.

Мы продвигались по южному склону горы Элгон. Постепенно характер рельефа менялся: к равнине подступили высокие горы, покрытые густыми джунглями. Цвет кожи местных жителей становился чернее, тела — неуклюжими и массивными. Их движения уже не отличались той грациозностью, которая так восхищала нас у масаи. Мы приближались к Багише, где должны были задержаться на какое-то время в лагере на Бунамбале. Отсюда открывался потрясающий вид на широкую нильскую долину. Затем мы двинулись дальше, в Мбалу, там нас ожидали два грузовых форда, на которых мы наконец добрались до станции Джиния у озера Виктория-Нианца. Мы загрузили свой багаж в маленький поезд, который раз в две недели ходил до озера Киога. Там какой-то пароходик с дровяной топкой с небольшими приключения-

ми довез нас до порта Масинди. Здесь мы пересели на грузовик и доехали до города Масинди, расположенного на плато, отделяющем озеро Киога от озера Альберт.

В одном селении на пути от озера Альберт в Реджаф (Судан) мы пережили незабываемое приключение. Местный вождь, очень высокий, молодой еще человек, нанес нам визит со своей свитой. Это были самые черные негры, которых я когда-либо встречал. Визитеры не внушали доверия. Мамур (наместник) выделил нам в сопровождение трех стрелков, но я видел, что и они, и наши слуги чувствовали себя неуверенно. У них имелось только по три патрона на винтовку, их присутствие по сути было чисто символическим жестом со стороны правительства.

Когда вождь предложил нам вечером посмотреть на ньгома (танцы), я охотно согласился, рассчитывая поближе узнать этих людей. Наступила ночь. Мы уже собирались ложиться спать, когда раздались трубные звуки и грохот барабанов. Нашему взору явились человек шестьдесят, воинственно настроенных, со сверкающими пиками, дубинками и мечами. За ними, на некотором расстоянии, следовали женщины и дети, младенцы устроились на спинах своих матерей. Разворачивалось по всем признакам грандиозное празднество. Несмотря на жару, был разожжен большой костер, и женщины с детьми расположились вокруг него.

Мужчины образовали внешнее кольцо — таким образом (мне однажды пришлось увидеть такое) ведет себя потревоженное стадо слонов. Я уже не знал, радоваться мне или беспокоиться по поводу этого демарша. Оглядываясь, я искал глазами наших слуг и вооруженную охрану — но их и след простыл! В качестве *captatio benevolentiae* (жеста доброй воли. — *лат.*) я одарил присутствующих сигаретами, спичками и английскими булавками. Хор мужчин начал распевать — довольно гармонично — энергичные, воинственные мелодии, одновременно они стали раскачиваться и притоптывать ногами. Женщины и дети столпились вокруг огня. Мужчины же, танцуя, то приближались к нам, размахивая своим оружием, то возвращались назад — к огню, то снова наступали. Все это сопровождалось диким пением, грохотом и завыванием. Сцена была дикой и впечатляющей, подсвеченной отблесками костра и магическим лунным светом. Мой приятель и я вскочили на ноги и смешались с танцующими. Я размахивал своей плеткой из шкуры носорога — единственным моим оружием. Нас встретили с явным одобрением, усердие танцующих удвоилось. Все основательно вспотели, топая, крича и распевая. Ритм постепенно учащался.

От подобных танцев и музыки негры легко впадают в экстатическое состояние. Так случилось и здесь. По мере того как время приближалось к одиннадцати, их возбуждение достигло крайней точки, и дело стало принимать чрезвычайно неприятный оборот. Танцоры уже представляли собой дикую орду, и я со страхом думал, чем же все это может кончиться. Я делал знаки вождю, что пора кончать, что ему и его людям пора спать. Но он хотел «еще раз».

Мне припомнилось, что мой земляк, один из братьев Заразин, будучи в исследовательской экспедиции в Замбези, был ранен копьем во время такой ньгомы. Поэтому, уже не раздумывая, понравится это вождю или нет, я стал по очереди подзывать к себе танцующих, раздал им сигареты и жестами показал, что иду спать. Затем я полусуто, полуугрожающе стал размахивать носорожьей плеткой и за неимением лучшего варианта громко обругал «гостей» на швейцарском диалекте немецкого, давая понять, что пора разойтись, пора спать. Они, разумеется, сообразили, что гнев мой наигран, но, похоже, это было как раз то, что нужно. Разразившись хохотом и прыгая друг через друга, подобно детям, играющим в горелки, они рассыпались в разные стороны и растворились в ночи, хотя их вопли и барабанный бой доносились до нас еще довольно долго. Но наконец все стихло и, совершенно изнуренные, мы провалились в сон.

\* \* \*

Наш поход завершился в Реджафе, на Ниле. Там мы погрузили наше снаряжение на небольшой пароходик, который с трудом смог подойти к Реджафе — уровень воды был слишком низок. К тому времени я чувствовал некоторую пресыщенность всеми приключениями. Мысли переполняли меня, и я со всей остротой ощутил, что мои способности к восприятию нового далеко не безграничны, что они на пределе. Все, что мне сейчас требовалось, — это привести в порядок все мои наблюдения, впечатления и переживания. То, что было достойно внимания, я записал.

На протяжении всего путешествия мои сны упорно игнорировали африканскую обстановку, ограничиваясь только домашними сюжетами. У меня возникло чувство, что бессознательное относит мое африканское путешествие к чему-то нереальному, воспринимает его как некий симптоматический или символический акт (если в принципе уместно персонифицировать бессознательные процессы). Это показалось мне чересчур нарочитым — ведь из моих снов исчезали наиболее яркие события путешествия. Только один раз там я увидел во сне негра, чье лицо показалось мне удивительно знакомым, но я долго не мог припомнить, где встречал его прежде. Наконец память сработала: это был мой парикмахер из Читтануги в Теннесси! Американский негр! Во сне он держал у моей головы огромные раскаленные щипцы, собираясь сделать мне прическу «kinky» — «под негра». Я уже начинал чувствовать жар от раскаленного железа и в ужасе проснулся.

Этот сон был воспринят мной как предупредительный сигнал из бессознательного: оно подсказывало, что я должен быть осторожным, что я подошел слишком близко к тому, чтобы «going black» (сделаться черным. — *англ.*). В тот момент у меня начинался приступ тропической лихорадки и моя физическая сопротивляемость была ослаблена. Для того чтобы явить мне угрозу, исходящую от негра, мое бессознательное, избегая какого бы то ни было напоминания о настоящем, вызвало у меня воспоминание двенадцатилетней давности о негритянском парикмахере в Америке.

Кстати, это любопытное свойство моих снов заставляет вспомнить явление, отмеченное в годы первой мировой войны: солдаты на фронте видели гораздо меньше снов о войне, чем о доме, о мирной жизни. Военные психиатры называли это своего рода базовым принципом: если человеку слишком часто снится война, его нельзя оставлять на передовой — он лишен психологической защиты от внешних впечатлений.

В разгар африканских событий и впечатлений мои сны развивали собственный сюжет. Они касались исключительно моих личных проблем. Объяснить это я мог только так: мне при любых обстоятельствах следует сохранять свою европейскую индивидуальность.

Я даже начал подозревать, что затеял африканское путешествие с тайной целью покинуть Европу с ее неразрешимыми проблемами, пусть даже рискуя при этом вообще остаться в Африке. Так поступали многие до меня, так поступают и сейчас. Путешествие теперь представилось мне в другом свете: целью его в гораздо меньшей степени было изучение психологии примитивных народов («Психологическая экспедиция в Багишу»), речь скорее шла о другом мучительном для меня вопросе: что же произошло с психологом Юнгом in the wilds of Africa (в джунглях Африки. — *англ.*)? От этого вопроса я уходил, несмотря на то, что в свое время поставил перед собой задачу исследовать реакции европейца на первобытные условия жизни. Но, к собственному моему удивлению, эта объективная научная проблема сделалась в конце концов для меня очень личной, и всякое решение болезненно затрагивало прежде всего меня самого. Я вынужден был признаться себе, что вряд ли упомянутая выставка в Уэмбли

явилась поводом для моего путешествия, скорее европейский воздух стал для меня слишком удушливым.

Размышляя об этом, я медленно плыл по тихим водам Нила на север — в Европу, навстречу своему будущему. Путешествие закончилось в Хартуме. Здесь начинался Египет. Итак, я достиг желаемого и осуществил свой план — открыл для себя это царство древней культуры не с запада, не на пути из Европы и Греции, но с юга, от истоков Нила. Меня больше интересовали не азиатские, а хамитские элементы египетской культуры. Избрав географическое направление и двигаясь по течению Нила путем развития цивилизации, я мог кое-что отыскать. В таком плане главной моей удачей оказалось открытие аналогии египетского мифа о Горе с верованиями элгонисов. И еще — этот молитвенный жест павианов, я снова вспомнил о нем в Абу-Симбеле, южных воротах Египта.

Миф о Горе — это история о возрождении божественного света. Миф должен был появиться после того, как культура, то есть сознание, впервые вырвала человека из первобытной тьмы. Именно поэтому путешествие из сердца Африки в Египет стало для меня некой драмой обретения света, что имело непосредственное отношение к моему собственному опыту, к моей психологии. Я чувствовал это, но не умел должным образом сформулировать. Я не мог предполагать, что даст мне Африка, но я получил ответ на многие вопросы и обрел некое знание. Это имело несравнимо большее значение, чем любой этнографический материал, чем оружие, черепки или украшения, чем какие бы то ни было охотничьи трофеи. Я хотел знать, что произойдет со мной в Африке. И я узнал это.

### Индия.

Мое путешествие в Индию в 1938 году произошло не по моей инициативе. Этим я обязан британскому правительству Индии, которое пригласило меня принять участие в торжествах по случаю 25-летия университета в Калькутте.

Я много читал об индийской философии и религиозной истории и был убежден, что восточная мудрость — настоящая сокровищница знаний о человеке. Но я должен был увидеть все собственными глазами и остаться самим собой подобно некоему гомункулусу в колбе. Индия явилась мне как сон, ведь я всегда искал себя, свою правду. Путешествие оказалось своего рода прелюдией к напряженным занятиям алхимической философией, они целиком меня поглотили, я даже захватил с собой первый том «Theatrum Chemicum» с основными работами Герхарда Дорна. За время путешествия книга была проштудирована от корки до корки. Так идеи европейской философии соприкоснулись с впечатлениями от чуждой мне культуры и образа мышления. Но и та и другая основываются на изначальном духовном опыте бессознательного, — отсюда единство, подобие или, по крайней мере, возможность уподобления.

В Индии я впервые наблюдал вблизи совершенно иную, высокоразвитую культуру. Впечатления от Африки были совершенно иными, в Северной Африке мне ни разу не представился случай побеседовать с человеком, способным выразить свою культуру в словах. В Индии же я встретил людей, причастных к духовному наследию Востока, и имел возможность сравнить их с европейцами. Это значило для меня очень много. Я вел частные и обстоятельные беседы с С. Субраманья Джером, гуру Махараджи из Майсура, у которого некоторое время гостил. Мне доводилось встречаться и со многими другими учителями, чьи имена я, к сожалению, не помню. С другой стороны, я избегал встреч с так называемыми «святыми людьми», их я избе-

гал, потому что должен был остаться при своей правде, не принимая от других того, чего не мог достичь сам. Это было бы ничем иным, как воровством, если бы я сделал хотя бы попытку научиться чему-то у «святых людей» и принять их правду как свою собственную. Это их правда, а я владел лишь тем, что объясняло именно меня. Точно так же как, живя в Европе, я не могу просить подаяния на Востоке, я обязан жить так, как требует моя природа.

Это вовсе не говорит о том, что я недооценивал собственно феномен индийского «святого», мне просто не удалось увидеть его в истинном свете, как изолированное явление, то есть не было возможности оценить его. Так, например, я не знал, что скрывается за произнесенными им словами — действительно ли откровение, или нечто вроде пословицы, расхожей истины, что сотни лет разносят по площадям. Я помню характерный случай, свидетелем которого был на Цейлоне. Два крестьянина с тележками столкнулись на узкой улице. Вместо извинения они обменялись некими, ничего не значащими для постороннего словами: «*Adukan anatman*», что означало: «Прошлые тревоги, вон из души!» Что за этим стояло — счастливая фраза, единственная в своем роде, или расхожая формула?

В Индии меня в основном интересовала проблема психологической природы зла. В сравнении с духовной жизнью Европы меня поразило здесь совершенное отсутствие противоречий, и эта проблема представилась мне в новом свете. В беседе с образованным китайцем я был снова потрясен способностью этих людей принимать так называемое «зло», не теряя лица. На Западе такое немыслимо. Но у восточного человека вопрос морали стоит вовсе не на первом месте, для него добро и зло — неотъемлемые составляющие природы и являются всего лишь различными степенями и качествами одного и того же.

Я видел, что индийская духовность в равной мере принимает и зло, и добро. Христианин стремится к добру, но уступает злу, индус ощущает себя вне добра и зла, достигая этого состояния с помощью медитации или йоги. Хотя здесь я должен заметить, что при подобном раскладе и добро, и зло размываются, теряя конкретные очертания, что в конце концов приводит к духовному застою. Нет более ни зла, ни добра. В лучшем случае есть мое добро или мое зло, как нечто, кажущееся мне добром или злом. Отсюда приходится признавать и тот парадокс, что индийская духовность одинаково не нуждается ни в зле, ни в добре, что она обременена противоречиями и что нирвана — необходимое условие освобождения от последних и еще от десяти тысяч вещей.

Цель индуса — не моральное совершенство, а только состояние нирваны. Желая отрешиться от собственной природы, медитацией он достигает состояния легкости и пустоты, освобождая себя таким образом. Я же, напротив, хочу остаться при своем — я не желаю отказываться ни от человеческого общения, ни от природы, ни от себя самого и собственных фантазий. Я убежден, что все это даровано мне как величайшее чудо. Природу, душу и жизнь я воспринимаю как некое развитие божества — к чему же большему стоит стремиться? Высший смысл бытия для меня заключается в том, что оно есть, а не в том, чтобы его *не было*.

Я не признаю освобождения *à tout prix* (любой ценой. — *фр.*) и не могу избавить себя от того, чем не владею, чего не делал или не испытывал.

Подлинное освобождение приходит лишь тогда, когда ты сделаешь для этого все возможное, пожертвуешь всем, что у тебя есть, и завершишь то, что определил для себя. А если я уйду от проблем, лишая себя сочувствия и соучастия, то уничтожаю соответствующую часть своей души. Конечно, вполне возможно, что моя доля сочувствия и соучастия достается мне слишком дорогой ценой и я имею все основания отказаться от нее. Но и в этом случае можно говорить лишь о собственной «поп

possumus» (неспособности. — *лат.*) и смириться с потерей чего-то, быть может, существенного, со своим неумением, в конце концов, справиться с некой задачей. Именно так осознание собственной непригодности заменяет отсутствие реального действия.

Человек, не перегоревший в аду собственных страстей, не может их победить. И они прячутся рядом, в соседнем доме, чего он даже не предполагает. А пламя в любой момент может перекинуться и сжечь дом, который он считает своим. То, от чего мы уходим, уклоняемся, якобы забывая, находится в опасной близости от нас. И в конечном счете оно вернется, но с удвоенной силой.

\* \* \*

В Кхаджурахе (Орисса) я встретился с одним индусом, который предложил проводить меня в храм и показать большую храмовую пещеру. Всю пагоду заполняли особго рода обценные скульптуры. Мы долго обсуждали этот необычный факт, причем мой провожатый видел в скульптурах средство духовного совершенствования. Я возражал, указывая на группу молодых крестьян, которые, открыв рты, уставились на это великолепие: вряд ли этих молодых людей интересует сейчас духовное совершенствование или что-либо подобное, куда более вероятно, что их мысли в этот момент заняты исключительно сексуальными фантазиями. На что индус ответил: «Вот это и есть главное. Разве смогут они когда-нибудь достигнуть духовного совершенства, если не исполнят свою карму? Эти обеденные фигуры здесь именно для того, чтобы напомнить людям о дхарме (добродетели) ибо, не осознавая ее, они могут забыть о ней».

Мне подобное толкование показалось в высшей степени странным, хотя мой спутник действительно считал, что молодые люди могут забыть о своей сексуальности, и всерьез пытался убедить меня в том, что они бессознательны, как животные, и нуждаются в поучениях. Для этой цели, по его словам, и существует такого рода внешний декор, и, прежде чем ступить в пределы храма, они должны вспомнить о дхарме, иначе их сознание не пробудится и они не придут к духовному совершенству.

Когда мы вошли в ворота, индус указал на двух «искусительниц» — скульптурные изображения танцующих девушек с соблазнительным изгибом бедер, они улыбались, приветствуя входящих. «Вы видите этих танцующих девушек? — спросил он. — Смысл здесь тот же. Разумеется, я не имею в виду ни меня, ни вас, кто уже достиг определенного уровня сознания, мы — выше такого рода вещей. Но эти крестьянские парни нуждаются в напоминании и предостережении».

Когда мы, выйдя из храма, стали спускаться по аллее лингамов, он внезапно сказал мне: «Вы видите эти камни? Знаете ли, что они означают? Я открою вам великую тайну». Я был удивлен: мне казалось, что фаллическое содержание этих памятников ясно и ребенку. Но он прошептал мне на ухо с величайшей серьезностью: «Эти камни — интимная часть мужского тела». Я ожидал, что он сообщит мне что-либо о символах великого бога Шивы. Ошеломленный, я посмотрел на него, но он лишь важно кивнул головой, словно говоря: «Да-да. это правда. Вы же в своем европейском невежестве никогда бы об этом не догадались!»

Когда эту историю услышал Генрих Циммер, он восторженно воскликнул: «Наконец-то я узнаю что-то стоящее об Индии!»

\* \* \*

Ступа Санчи вызвала во мне неожиданное и сильное чувство: так бывает, когда я вижу нечто — вещь, личность или идею, — что мне не вполне понятно. Ступа стоит на скалистом холме, к вершине которого ведет удобная тропа, выложенная большими каменными плитами. Этот храм — реликварий сферической формы, он напоми-

нает две гигантские чаши для риса, поставленные одна на другую, как предписывал сам Будда в Маха-Париниббана-Сутре. Англичане очень бережно отреставрировали ее. Самое большое из этих строений окружено стеной с четырьмя искусно украшенными воротами. Вы входите — и тропа поворачивает налево, затем вкруговую — по часовой стрелке — ведет вдоль ступы. Четыре статуи Будды обращены к четырем сторонам света. Пройдя один круг, вы вступаете во второй — параллельный, но расположенный несколько выше. Широкая панорама долины, сами ступы, руины храма, покой и уединение, — все это растревожило и зачаровало меня. Я на время покинул своих спутников, погрузившись в атмосферу этого удивительного места.

Где-то вдали послышались ритмичные удары гонга, они медленно приближались. Это оказалась группа японских паломников. Они двигались один за другим, ударяя в маленькие гонги, и скандировали древнюю молитву: «Om mani padme hum» (О сокровище, восседающее на лотосе. — *санскр.*). Удар гонга приходился на «hum». Паломники низко склонились перед ступой и вошли в ворота. Там они склонились снова у статуи Будды, распевно произнося что-то вроде молитвы, затем дважды прошли по кругу, приветствуя гимном каждую статую Будды. Я проводил их глазами, но душой был с ними, что-то во мне посылало им безмолвную благодарность за то, что их появление чудесным образом помогло мне найти способ выразить охватившее меня чувство.

Мое волнение указывало на то, что холм Санчи явился для меня неким центром. Это был буддизм, который я увидел в новом свете. Жизнь Будды предстала передо мной как воплощение самости, именно идея самости, самодостаточности, была ее смыслом; она, эта идея, стояла выше всех богов и была сутью бытия — человека и мира. Как *unus mundus* (единый мир. — *лат.*) она воплощает и бытие в себе, и знание о нем, — знание, без которого ничего существовать не может. Будда увидел и осознал космогонический смысл человеческого сознания, понимая, что, если человек позволит этому свету угаснуть, мир обратится в тьму, в ничто. Величайшая заслуга Шопенгауэра в том, что и он тоже — или и он вновь — признал это.

Христос, как и Будда, воплощает в себе самость, но в совершенно ином смысле. Оба они одержали победу над этим миром: Будда, так сказать, здравым смыслом, Христос — искупительной жертвой. Христианство учит страдать, буддизм — видеть и делать. Оба пути ведут к истине, но для индуса Будда — человек, пусть совершенный, но человек, тем более, что он личность историческая, и людям легче понять его. Христос — и человек, и *в то же время* Бог, понять это гораздо сложнее. Он и сам не осознавал всего, зная лишь то, что обречен пожертвовать собой, такова его судьба. Будда действовал, как считал нужным, он прожил свою жизнь до конца и умер в глубокой старости. Христос же был тем, чем ему должно было быть, — он прожил очень недолго.\*

Со временем буддизм, как и христианство, претерпел многие изменения. Будда сделался, если можно так выразиться, воплощением саморазвития, образцом для подражания, хотя сам он учил, что, преодолев цепь сансары, каждый человек способен достичь просветления, стать буддой. Аналогично и в христианстве Христос представляется неким прообразом, который живет в каждом христианине и в своем роде являет собой идеальную модель личности. Но исторически христианство пришло к

---

\* Позже в наших беседах Юнг сравнивал Христа и Будду в их отношении к страданию. Христос знал цену страданию, видел в нем положительный смысл, и, как мученик, он человечнее и реальнее Будды. Будда не принимал страдания; правда, он отказался и от радости. Он уничтожил в себе всякое чувство и, таким образом, отвергнул все человеческое. Христос в Евангелиях является как Богочеловек, хотя он, собственно, не переставал быть человеком, всегда им оставался, тогда как Будда еще при жизни поднялся выше человеческого в себе. — *ред.*

«imitatio Christi», когда человек не пытается искать свой, предназначенный ему духовный путь, но ищет подражания, следует за Христом. Так и Восток пришел в конце концов к своего рода imitatio, Будда стал образцом для подражания, что уже само по себе есть искажение его учения, равно как «imitatio Christi» привело к неизбежному застою в развитии христианства. Как Будда в своем знании далеко превзошел брахманов и их богов, так и Христос возвещал евреям: «Вы боги» (Ин. 10,34), но люди так и не смогли принять это. И теперь мы видим, что так называемый «христианский» Запад, так и не создав нового мира, стремительно приближается к разрушению имеющегося.

\* \* \*

В Индии я получил три докторских степени — в Аллахабаде, Бенаресе и Калькутте: первая представляет исламское, вторая — индусское, третья — британско-индийское научное и медицинское знание. Это было уже слишком, и мне срочно понадобилась хоть какая-нибудь разрядка. Так и случилось: в Калькутте я подхватил дизентерию, попал в госпиталь и пролежал там десять дней. Госпиталь стал для меня благословенным островком, спокойным местом, где я смог разобраться в безбрежном море впечатлений, поразмыслить о множестве вещей, переплетенных в безумной хаотичности: о величии, глубине и великолепии Индии, о ее непроходимой нужде и бедствиях, о ее совершенстве и несовершенствах.

Когда я выздоровел и вернулся в отель, мне приснился сон; он был столь примечателен, что я должен рассказать о нем.

В компании моих цюрихских друзей я оказался на незнакомом мне острове, похоже, недалеко от побережья южной Англии. Остров был небольшим и практически необитаемым — узкая полоса земли, километров на тридцать протянувшаяся с севера на юг. В южной части острова на скалистом побережье возвышался средневековый замок. Мы, туристы, стояли во дворе замка, перед башней. Через ворота мы видели широкую каменную лестницу, которая заканчивалась наверху, у входа в колонный зал. Горели свечи. Я знал, что это замок Грааля и что сегодня вечером здесь состоится празднество в его честь. Мало кому было известно: даже наш коллега немецкий профессор, поразительно похожий на Моммзена в старости, ничего об этом не слышал. Мы с ним о многом говорили, он производил впечатление человека умного и образованного. Лишь одно показалось мне странным: для профессора все это было в прошлом, было мертвым; с большим знанием он рассказывал о схожести британских и французских источников легенды о Граале. Но он не понимал собственно смысла легенды — ее живого присутствия в настоящем, тогда как я ощущал это необыкновенно остро. Вдобавок он, похоже, не замечал того, что нас непосредственно окружало, и вел себя так, будто находился в аудитории и читал студентам лекцию. Моя попытка привлечь его внимание к особенностям обстановки оказалась тщетной. Он не видел ни лестницы, ни свечей, ни самого зала.

Растерянно озираясь, я вдруг обнаружил, что стою у высокой замковой стены, нижнюю часть которой покрывало что-то вроде шпалеры, только не деревянной, как обычно, а кованной — в форме виноградной лозы с листьями и гроздьями. Через каждые два метра на горизонтальных ветвях располагались на манер птичьих гнезд крошечные железные домики. Вдруг среди листвы что-то промелькнуло, сначала я подумал, что это мышь, но потом отчетливо разглядел крошечного железного гнома в колпаке, снующего от одного домика к другому. «Ну вот, — воскликнул я в изумлении, обращаясь к профессору, — Вы же видите это!»

Неожиданно все исчезло, и обстановка во сне изменилась. Мы, та же компания, но уже без профессора, оказались не в замке, а на каком-то голом скалистом берегу. Я понял: что-то должно случиться, поскольку Грааля все еще не было, а празднество



должно было состояться именно сейчас, этим вечером. Кто-то сказал, что его прячут в северной части острова, в маленьком домике. Но я знал, что мы *обязаны* доставить Грааль в замок. Нас было человек шесть, и мы двинулись в путь.

Идти было тяжело, но через несколько часов мы достигли самой узкой части острова, где выяснилось, что остров фактически разделен на две части морским проливом. В самом узком месте ширина его была около 100 метров. Солнце зашло и наступила ночь. Уставшие, мы расположились на берегу. Местность выглядела безлюдной и пустынной — ни куста, ни деревца, — ничего, кроме травы и екал. Нигде поблизости мы не обнаружили ни моста, ни лодки. Было очень холодно, и мои спутники один за другим стали засыпать. Я не спал, раздумывая, что же можно сделать, и наконец решил переплыть через пролив. Я начал раздеваться — и в этот момент проснулся.

Этот средневековый европейский сюжет явился мне тогда, когда меня захлестнула масса беспорядочных индийских впечатлений. Тем более, что лет десять назад я выяснил, что во многих областях Англии легенда о Граале все еще жива и актуальна, несмотря на все, что о ней написано поэтами и учеными. Это поразило меня еще больше, когда я нашел параллель между поэтическим мифом и свидетельствами алхимиков об «*unum vas*», «*una medicina*» и «*unus lapis*». Мифы, о которых не помнят днем, живут ночью, и могучие образы, которые сознание свело к ничтожной банальности, увлекают поэтов, обретая благодаря им новую жизнь, — и уже в другой форме, но вновь и вновь заставляют нас задумываться. Великие мертвецы все еще живы, они просто изменили имена. «Мал, да удал» — неузнанный кабир поселился в новом доме.

Сновидение своей властью освободило меня от каждодневных индийских впечатлений и вернуло назад, к тому, что я оставил на Западе, прежде всего к сюжетам о поисках философского камня и чаши святого Грааля. Все индийское будто отодвинули от меня, заставляя вспомнить, что Индия никогда не была моей целью, а лишь частью пути, хотя и безусловно важной, что она должна всего-навсего приблизить меня к настоящей цели. Сон как бы ставил передо мной вопрос: «Что ты делаешь в Индии? Тебе же необходимо найти святую чашу, «*salvator mundi*». Неужели тебе не понятно, что еще немного, и будет взорвано все, что создавалось веками?».

Конечным пунктом моего путешествия был Цейлон — уже не Индия, а юг, где ясно ощущалось присутствие чего-то от рая, где нельзя было оставаться слишком долго. Коломбо — шумный торговый порт, на него каждый день между пятью и шестью часами с ясного неба вдруг обрушивается страшный ливень. Вскоре мы покинули город, направляясь в глубь страны. Мы побывали в Канди, древней столице, всегда окутанной легким туманом, прохладная влага которого дает жизнь буйной зелени. Храм Далада-Малигава, где находится священная реликвия — зуб Будды, сам по себе невелик, но в нем я нашел много интересного для себя. Я проводил в храмовой библиотеке долгие часы, беседуя с монахами и рассматривая серебряные листы с выгравированным на них текстом буддийского канона.

Здесь мне довелось стать очевидцем незабываемой вечерней церемонии. Юноши и девушки возлагали целые горы цветов жасмина к алтарю и тихо пели молитву — мантру. Я думал, что они молятся Будде, но сопровождающий меня монах объяснил: «Нет, Будды нет больше. Ему нельзя молиться, — он в нирване. Они поют: эта жизнь быстротечна как очарование этих цветов; Бог мой да разделит со мною плоды этого подношения». В том, что пели эти молодые люди, чувствовалось нечто подлинно индийское.

Перед церемонией был организован часовой концерт в мандапаме (это нечто вроде зала ожидания в индийских храмах). В каждом углу зала стоял барабанщик, а еще

один — очень красивый юноша — занял место в центре. Он солировал, демонстрируя настоящее искусство. На нем были красный пояс, белая шока (длинная юбка, доходящая до щиколоток) и белый тюрбан, руки украшали сверкающие браслеты, его темно-коричневая кожа блестела от пота. Юноша подошел к золотому Будде, держа в руках двойной барабан, чтобы «принести звук в жертву», и сыграл великолепную мелодию с потрясающим мастерством и артистизмом. Я наблюдал сзади, как он стоял перед маленькими светильниками у входа в мандатам. Барабан — это своего рода чревовещатель, и «молитва» — не совсем молитва, а «очистительная» мантра, медитация или самовыражение. Она не имеет никакого отношения к почитанию несуществующего Будды — это некая духовная акция, совершаемая человеком во имя спасения себя самого.

Приближалась весна, — время возвращения домой. Впечатления переполняли меня, я даже не испытывал желания сойти с корабля и осмотреть Бомбей. Вместо этого, засел за мой латинский трактат по алхимии. Но Индия оставила во мне неизгладимый след: она открыла некий путь без начала и конца, бесконечный мир — другой мир, несоизмеримый ни с чем, что я знал и к чему привык.

### Равенна и Рим.

Когда я впервые посетил Равенну в 1914 году, гробница Галлы Платидии уже тогда произвела на меня глубокое впечатление — казалось, она удивительным образом притягивала меня. 20 лет спустя я снова испытал это необыкновенное чувство. Я пошел туда с одной знакомой дамой, и по выходе мы сразу попали в баптистерий.

Первое, что меня потрясло, это мягкий голубой свет, который заливал все помещение. Но я не воспринимал его как некое чудо, не пытался понять, где его источник, почему-то это не имело для меня значения. Тем не менее я был удивлен, что на месте окон, которые я еще помнил, теперь располагались четыре огромные необычайно красивые мозаичные фрески. Но я решил, что просто забыл о них, и даже слегка огорчился, что память моя оказалась столь ненадежной. Мозаика на южной стене представляла крещение в Иордане, вторая — на северной — переход детей Израилевых через Красное море; третья, восточная, в моей памяти не сохранилась. Возможно, она изображала Неемана, очищающегося от проказы в Иордане — этот сюжет я хорошо знал по библейским гравюрам Мериана. Но самой необычной оказалась последняя, четвертая мозаика на западной стене баптистерия. На ней был Христос, протягивающий руку тонущему Петру. Мы стояли перед ней минут двадцать и спорили о таинстве крещения, об изначальном обряде инициации, который таил в себе реальную возможность смерти. Инициация действительно представляла опасность для жизни, включая в себе архетипическую идею о смерти и возрождении. И крещение изначальное было реальным «утоплением», когда возможно было по меньшей мере захлебнуться.

Сюжет о тонущем Петре сохранился в моей памяти с поразительной отчетливостью. Я и сегодня представляю его до последней мелочи: синеву моря, отдельные мозаичные камни с надписями у губ Петра и Христа (я пытался их расшифровать). Покинув баптистерий, я сразу же заглянул в лавку, чтобы купить фотографии мозаики, но их не оказалось. Времени было мало, и я отложил покупку, полагая, что смогу заказать открытки в Цюрихе.

Уже будучи дома, я попросил одного знакомого, который собирался в Равенну, привезти мне эти открытки. Но ему не удалось их найти, и не мудрено — он обнаружил, что описанной мной мозаики нет вообще. И не было.

Между тем я уже успел рассказать об исходных представлениях о крещении как инициации на одном из моих семинаров и, естественно, упомянул те мозаики из баптистерия. Я отлично помню их по сей день. Моя спутница еще долго отказывалась верить, что того, что она «видела своими глазами», не существует.

Мы знаем, как трудно определить, в какой степени два человека одновременно видят одно и то же. Но в этом случае я мог с уверенностью утверждать: мы видели мозаику, по крайней мере в главных чертах.

\* \* \*

Случай в Равенне — одно из самых невероятных событий в моей жизни. Едва ли он поддается объяснению. По-видимому, некоторый свет в данном случае прольет один сюжет из средневековой хроники об императрице Галле Плацидии. Зимой, когда она плыла из Константинополя в Равенну, разразилась страшная буря. Тогда она дала обет, что, если спасется, построит церковь, на стенах которой будут изображены сюжеты об опасностях моря. Императрица исполнила обещание, выстроив базилику Сен-Джованни в Равенне и украсив ее мозаиками. Позже базилика вместе с мозаиками сгорела, но в Милане, в Амбросиане, все еще хранится рисунок, изображающий Галлу Плацидию в лодке.

Образ Галлы Плацидии необыкновенно взволновал меня, я часто спрашивал себя, как получилось, что такая утонченная и образованная женщина связала свою жизнь с каким-то царем варваров. Мне показалось, что ее гробница — единственная память о ней — поможет мне постигнуть ее характер и судьбу. Она в каком-то смысле сделалась частью моего существа — историческим воплощением моей анимы. При такой проекции появляется некий бессознательный элемент, который заставляет забыть о времени и испытать чудо видения. И в этот момент оно почти не отличается от действительности.

Аниме человека присущ исторический характер. Как персонификация бессознательного, она восходит к временам историческим и доисторическим, она включает в себя знание о прошлом, своего рода предысторию. Анима — это вся жизнь, все, что было и будет. Рядом с ней я чувствую себя варваром, существом без истории — явившимся ниоткуда, лишенным «до» и «после».

В том своем диалоге с анимой я фактически уже переживал опасности, представленные в мозаике. В каком-то смысле я тонул. Подобно Петру, я звал на помощь и был спасен Иисусом. Я мог разделить участь фараонова войска. Как Петр и Нееман, я остался невредим, но все, что происходило в бессознательном, стало частью моей личности, частью меня самого.

Объяснить, что происходит с человеком, когда бессознательное интегрируется в его сознание, невероятно сложно. Это нужно пережить самому. Это нечто сугубо личное, не обсуждаемое и происходит с каждым по-своему: у меня — так, у другого — иначе, но происходит все время. Сомневаться в этом и невозможно и бессмысленно. Мы не обладаем знанием, способным примирить все несоответствия и противоречия. Возникли ли они как результат интеграции сознания и бессознательного, какова их природа — эти вопросы каждый решает для себя. Научная квалификация таких вещей невозможна, им нет места в так называемой «общепринятой картине мира». Но само по себе это чрезвычайно важно и может привести к самым серьезным последствиям. Во всяком случае, те психотерапевты и психологи, которые реально оценивают ситуацию, вряд ли могут себе позволить пройти мимо подобных явлений.

\* \* \*

Случай в Равенне оставил во мне глубокий след. С тех пор мне известно, что нечто внешнее может неожиданно оказаться проявлением мира внутреннего, и наоборот — внутреннее может вдруг явиться внешним. Реальные стены того баптистерия, которые я должен был видеть физически, заслонило видение совершенно иного порядка, но это казалось мне столь же реальным, как неизменная чаша для крещения. Что же я тогда на самом деле видел?

Не следует относиться к случившемуся со мной как к единственному в своем роде явлению. Но когда подобные вещи происходят с нами, мы начинаем воспринимать их куда серьезнее, чем то, что слышали или прочитали о них. Вообще для такого рода историй люди, как правило, спешат придумать объяснения на скорую руку. Я пришел к заключению, что, когда речь идет о бессознательном, нашего знания и опыта всегда недостаточно для создания каких бы то ни было теорий.

Мне очень хотелось побывать в Риме, но всякий раз меня что-то останавливало — сумею ли я справиться с впечатлениями от увиденного. Мне было уже более чем достаточно впечатлений от Помпеи, я пресытился. Впервые я побывал в Помпее лишь после 1913 года, когда я уже познакомился с античной психологией. В 1917 году я оказался на корабле, направлявшемся из Генуи в Неаполь, мы приближались к Риму, я стоял у перил. Там вдалеке раскинулся Рим — этот дымившийся еще очаг древней культуры, это корневище западного — христианского — мира. Античность еще жила здесь во всем своем беспощадном великолепии.

Меня всегда удивляли люди, которые едут в Рим так, как если бы это был Париж или Лондон. Бесспорно, Рим, как и любой другой город, способен доставить эстетическое наслаждение, но если вы ощущаете рядом присутствие некоего властного духа, если на каждом шагу сталкиваетесь с чем-то близким и сокровенным, если здесь, у развалин стены, или там, у колонны, вам чудятся знакомые лица, — тогда это должно быть совсем другое переживание. Даже в Помпее я обнаружил неожиданные вещи и проблемы, разрешить которые был не в силах.

В 1949 году, когда мне было уже много лет, я решил исправить это упущение, но когда я покупал билеты, со мной случился обморок, к планам посетить Рим я больше никогда не возвращался, они были навсегда *ad acta* (сданы в архив. — *лат.*).

### Видения.

В начале 1944 года я сломал ногу, после чего со мной случился инфаркт. Когда я лежал без сознания, в бреду, у меня появились видения. Вероятно, это началось, когда я был на грани смерти: мне давали кислород и вводили камфару. Картины были столь ужасающими, что мне уже казалось — я умираю. Сиделка позже рассказывала мне: «Вы были как будто бы окружены светом». Подобные явления иногда наблюдают у умирающих. Видимо, я достиг какого-то предела. Не знаю, был ли это сон, или экстаз. Но со мной начали происходить очень странные вещи.

Мне привиделось, будто я оказался высоко в небе. Далеко внизу сиял, освещенный дивным голубым светом земной шар. Я узнавал материки, окруженные синим пространством океана, у ног моих лежал Цейлон, впереди — Индия. В поле зрения попадала не вся Земля, но ее шаровидная форма отчетливо вырисовывалась, а серебристые контуры блестели сквозь этот чудесный голубой свет. Во многих местах шар выглядел пестрым или темно-зеленым, как оксидированное серебро. Слева широкой полосой протянулась красно-желтая Аравийская пустыня, возникало впечатление, будто серебро приобретает там золотисто-красный оттенок. Еще дальше я видел Красное море, а далеко-далеко сзади, «в крайнем левом углу», смог различить

краешек Средиземного моря. Мой взгляд был устремлен главным образом туда, остальное просматривалось неотчетливо. Я видел контуры снежных вершин Гималаев, но их скрывал туман. «Вправо» я почему-то не смотрел вовсе. Я знал, что собираюсь улететь куда-то далеко от земли.

Уже потом мне стало известно, как высоко нужно подняться, чтобы видеть такое огромное пространство, — на полуторатысячметровую высоту! Вид земли оттуда — самое потрясающее и волшебное зрелище из всех, какие я когда-либо видел.

Но через некоторое время я отвернулся, оказавшись спиной к Индийскому океану и лицом к северу. Но потом выяснилось, что я повернулся к югу. В поле моего зрения появилось что-то новое. В некотором отдалении я увидел огромный темный камень, похоже, метеорит размером с дом, а может, и больше. Как и я, он парил в космосе.

Подобные камни мне доводилось видеть на побережье Бенгальского залива, это был темный гранит, который используется при строительстве храмов. Мой камень и представлял такой гранитный блок. В нем был вход, который вел в маленькую прихожую. Справа от входа на каменной скамье сидел в позе лотоса черный индус, одетый во все белое. Он сидел совершенно неподвижно и ожидал меня. К нему вели две ступеньки. Слева на внутренней стене виднелись храмовые ворота, окруженные множеством крошечных отверстий-углублений. Отверстия были заполнены кокосовым маслом, и в каждом стоял горящий фитиль. Такое я уже видел в действительности — в храме Святого зуба, в Канди (Цейлон), дверь в храм была окружена несколькими рядами масляных ламп.

Когда я подошел к ступенькам, то испытал странное чувство, что все происшедшее со мной прежде — все это сброшено. Все, что я намечал сделать, чего желал и о чем думал, — вся эта фантазмагория земного существования вдруг спала или была сорвана, и это было очень больно. Но что-то все же осталось: все, что я когда-либо пережил или сделал, все, что со мною случалось, — это осталось при мне. Иными словами мое оставалось со мной. Оставалось то, что меня составляло, — моя история, и я чувствовал, что это и есть я. Этот опыт принес мне ощущение крайнего ничтожества и одновременно великой полноты. Не было более ни нужд, ни желаний — ведь я уже прожил все то, чем был. Поначалу мне показалось, будто во мне что-то уничтожили, что-то отняли. Но позже это ощущение исчезло, прошло бесследно. Я не жалел об отнятом, наоборот — со мною было все, что меня составляло, и ничего другого у меня быть не могло.

Но мне не давало покоя другое впечатление: когда я приблизился к храму, у меня появилась уверенность, что я сейчас войду в освещенную комнату и увижу там всех людей, с которыми действительно связан. И тогда я наконец пойму, — в этом я тоже был убежден, — что собой представляю, каков мой исторический контекст. Я смогу узнать, что было до меня, зачем явился я и что это за общий поток, в который влилась и моя жизнь. Она мне часто казалась историей без начала и конца, я в ней был каким-то фрагментом, отрывком текста, которому ничего не предшествовало и за которым ничто не последует. Мою жизнь словно вырвали из единой цепи, и все мои вопросы остались без ответа. Почему это произошло? Почему у меня возникли именно эти мысли, а не другие? Что я сделал с ними? Что из всего этого следует? Мной овладела уверенность, что я все узнаю, как только войду в каменный храм, — узнаю, почему все сложилось так, а не иначе. Я найду там людей, которые знают ответ, — знают о том, что было прежде и что будет потом.

От моих размышлений меня отвлекло неожиданное видение. Снизу, оттуда, где была Европа, явился вдруг некий образ. Это был мой доктор, вернее, его лик в золотистом нимбе — словно в лавровом венке. Я его мгновенно узнал: «А, это же мой

доктор, тот, что меня лечил. Только теперь принял облик василевса — царя Коса. Привычный мне образ был лишь временной оболочкой, теперь же предстал таким, каким был изначально».

Вероятно, я тоже пребывал в своем изначальном облике, — хотя и не мог видеть себя со стороны. Насчет того, что так оно и есть, у меня никаких сомнений не было. Когда он возник передо мной, между нами произошел безмолвный разговор. Мой доктор был послан с Земли с некой вестью: это был протест против моего ухода. Я не имел права покидать землю и обязан был вернуться. Как только я осознал это, видение исчезло.

Мной овладело глубокое уныние: все мои усилия оказались бессмысленными. Неужной была боль, которую я испытал, освобождаясь от своих иллюзий и привязанностей, путь в храм для меня закрыт, и я никогда не узнаю тех, с кем мне должно быть.

\* \* \*

На самом деле минуло целых три недели, прежде чем я смог вернуться к жизни. На еду мне и смотреть не хотелось — организм не принимал пищу. Вид города и гор с больничной койки выглядел как размалеванный занавес с черными дырами или клочками газет с фотографиями, которые ничего мне не говорили. Отчаянию моему не было границ и не давала покоя мысль, что «теперь мне опять придется вернуться в эти ящики», — из космоса мне казалось, будто за горизонтом находится искусственный трехмерный мир, где каждый человек сидит отдельно в своем ящике. Неужели мне придется заново убеждать себя, что такая жизнь зачем-то нужна? Эта жизнь и весь этот мир представлялись мне тюрьмой. Я никак не мог смириться с тем, что обязан воспринимать это, как нечто совершенно нормальное. Я так радовался освобождению, а теперь выходило, что я, как все остальные, буду жить в каком-то ящике. Паря в пространстве, я был невесомым, и ничто не связывало меня. Теперь же все это в прошлом!

Все во мне протестовало против врача, который вернул меня к жизни. И вместе с тем мысли мои были тревожными: «Видит Бог, его жизнь в опасности! Он предстал передо мной в своем изначальном облике! Тому, кто способен принять такой облик, грозит смерть, ибо он уже покинул «свой круг!» Внезапно я осознал страшную вещь: он должен умереть вместо меня. Но все мои попытки объяснить ему это, были тщетными: он упорно не желал понимать меня. Тогда я разозлился. «Почему он все время делает вид, будто не знает, кто он такой! Он — василевс Коса! И уже являлся в этом облике. Он хочет вынудить меня поверить, что не знает об этом!» Жена выговаривала мне за то, что я веду себя с ним так недружелюбно. Она была права, но его притворство и неведение меня крайне раздражало. «Господи, ему же следует остерегаться! Ему нельзя быть таким безрассудным. Я ведь хочу ему втолковать, чтобы он позаботился о себе». Я был убежден, что ему угрожает опасность, — именно потому, что узнал его в облике царя Коса.

По сути я был последним его пациентом. 4 апреля 1944 года — я до сих пор помню эту дату — мне было позволено впервые сесть в постели, и в этот день мой доктор слег и больше уже не поднялся. Я узнал, что его мучили приступы лихорадки. Вскоре он умер от сепсиса. Он был хорошим врачом, даже в чем-то гениальным, иначе я не увидел бы в нем василевса Коса.

\* \* \*

Тогда, в те несколько недель, я жил в странном ритме. Днем мной обычно овладевала депрессия, я был настолько слабым, что почти не мог пошевелиться. Меня переполняла жалость к себе, и я понимал, что снова вернулся в этот тоскливый серый мир. Я знал, что к вечеру, конечно, засну, но едва ли проспю до полуночи, затем

проснусь и буду бодрствовать до часу, но состояние мое будет иным — я бы назвал его своего рода экстазом: мне будет казаться, будто я парю в пространстве, будто я погружен в глубины вселенной, в совершенную пустоту и совершенное блаженство. «Это и есть вечное блаженство, — думал я. — И не выразить словами, как это прекрасно!»

Все окружающее тоже казалось мне зачарованным. Именно в это время сиделка готовила для меня какую-то еду, потому что только в эти минуты я мог есть и ел с аппетитом. Поначалу она казалась мне старой еврейкой — много старше, чем была на самом деле, и что она готовит мне ритуальные кошерные блюда, что голова ее повязана голубым платком. Сам же я находился — так мне чудилось — в *Пардес-Римоним*, в гранатовом саду, где происходила свадьба Тиферет и Мальхут. Еще я представлял себя Раби Шимоном бен Иохан, чей мистический брак праздновали сейчас. Это выглядело именно так, как изображали каббалисты. Невозможно передать, как это было удивительно. Я только твердил себе: «Это гранатовый сад! И здесь, сейчас празднуют соединение Мальхут и Тиферет!» Какова была моя роль, я точно не знаю, но я испытывал чувство, будто я сам и есть это празднество, и замирал от блаженства.

Постепенно отголоски происходящего в гранатовом саду затихли. Затем я увидел заклание пасхального агнца в празднично украшенном Иерусалиме. Описанию это не поддается, но это было прекрасно. Был свет, и были ангелы, и я сам был *Agnus Dei*.

Вдруг все это пропало и явился новый образ — последнее видение. Я пересек широкую долину и очутился перед грядой пологих холмов. Все вместе это представляло собой античный амфитеатр, который великолепно смотрелся на фоне зеленого пейзажа. И здесь, в этом театре, тоже свершался священный брак. На помост выходили танцовщики и танцовщицы и на убранном цветами ложе представляли священный брак Зевса и Геры, так как это описано в «Илиаде».

Все это было восхитительно, я блаженствовал всю ночь напролет и не одну, а вокруг меня толпились всевозможные образы. Но постепенно они смешались и растаяли. Обычно видения продолжались не больше часа, я снова засыпал, а утром открывал глаза с единственной мыслью: «Ну вот, опять этот серый рассвет, опять этот серый мир с его ящиками! Боже, какой кошмар, какое безумие!» По сравнению с фантастичностью моей ночной жизни этот, дневной мир, казался до смешного нелепым. Так же постепенно, как жизнь возвращалась ко мне, блекли мои видения. Спустя три недели они прекратились вообще.

Но найти слова, чтобы передать их красоту, силу и яркость, я не мог ни тогда ни теперь. Ничего подобного я не испытывал ни до, ни после. И какой контраст между ночью и днем! Меня мучительно раздражало все вокруг — грубое, материальное, тяжеловесное, повсюду заключенное в тесные рамки. Я не мог понять сути и назначения этих ограничений, но в них присутствовала какая-то гипнотическая сила, заставлявшая верить, что это и есть мир действительный — вот это ничтожество! И хоть в чем-то главном моя вера в мир была восстановлена, мне уже больше не удалось избавиться от ощущения, что эта «жизнь» — лишь некий фрагмент бытия, специально для меня определенный в трехмерной, словно наспех сколоченный ящик, вселенной.

Было и еще одно отчетливое воспоминание. Когда передо мной возник гранатовый сад, я попросил прощения у сиделки, думая, что причиняю ей вред. Пространство вокруг меня казалось мне сакральным, но для других это могло быть опасно. Она, конечно, же не поняла меня. Для меня здесь сам воздух был наполнен таинством, свершалось священнодействие, и я тревожился, что другие не смогут этого вынести.

Поэтому я просил прощения — я ничего не мог поделать. Тогда я понял, почему с присутствием Святого Духа связывают некий «аромат». Это было именно так — ведь самый воздух был преисполнен неизъяснимой святости, и все указывало на то, что здесь свершается *mysterium coniunctionis*.

Никогда я и предположить не мог, что со мной произойдет нечто подобное, что вообще возможно вечное блаженство. Но мои видения и мой опыт были совершенно реальны, все в них абсолютно объективно.

\* \* \*

Мы боимся и избегаем любого проникновения «вечности» в нашу обыденную жизнь, но я могу описать свой опыт лишь как блаженное ощущение собственного вневременного состояния, когда настоящее, прошлое и будущее сливаются воедино. Все, что происходит во времени, все, что длится, явилось вдруг как нечто целое. Не было больше течения времени, и вообще ничего нельзя было измерить во временных понятиях. Если бы я и сумел описать этот опыт, то лишь как *состояние* — состояние, которое можно ощутить, но вообразить невозможно. Разве можно вообразить, что я существую одновременно вчера, сегодня и завтра? Тогда обязательно появится что-то еще не начавшееся, что-то происходящее сейчас и что-то уже завершённое. И все это — вместе, все — воедино. Я же ощущал лишь некую сумму времен, радужную оболочку, в которой было сразу и ожидание начала, и удивление от того, что происходит, и удовлетворение или разочарование исходом. Я сам был неотделим от всей этой целостности и все же наблюдал это совершенно объективно.

Подобное чувство объективности мне довелось испытать еще один раз. Это произошло после смерти жены. Она приснилась мне, и этот сон был как видение. Жена стояла вдалеке и пристально на меня смотрела. Ей было лет тридцать — лучший ее возраст, на ней было платье, которое много лет назад сшила для нее моя кузина-медиум. Пожалуй, это было самое красивое платье из всех, какие она когда-либо носила. Ее лицо не выражало ни веселья, ни печали, она все знала и все понимала, не проявляя ни малейшего чувства, — будто чувства — это некая пелена, которую сняли с нее. Я знал, что это не она сама, а портрет, который она для меня приготовила и передала. Здесь было все: начало наших отношений, 53 года нашей совместной жизни, ее конец. Оказавшись перед подобной целостностью, человек становится бессловесным, потому что едва ли в состоянии постичь это.

Ощущение объективности, которое присутствовало в этом сне и в моих видениях, — следствие свершившейся индивидуации. Оно означает отстраненность от всякого рода оценок и от того, что мы называем эмоциональными привязанностями. Для человека эти привязанности значат очень много, но в них всегда заключена проекция, некое субъективное смещение угла зрения, которое необходимо устранить, чтобы достичь объективности и самодостаточности. Эмоциональные связи — это наши желания, они несут с собой принуждение и несвободу. Ожидая чего-то от других, мы тем самым ставим себя в зависимость от кого-то. Суть в том что объективное знание в большинстве своем скрыто за эмоциональным отношением. И только объективное знание открывает путь к истинному духовному единению.

После болезни у меня наступил период плодотворной работы. Множество принципиальных для меня работ я написал именно тогда. Знание, или новое видение вещей, — после того, как я пережил свое от них отделение, — потребовало иных формулировок. Не пытаясь уже доказывать свое, я весь отдался во власть свободного потока мыслей. И проблемы приходили ко мне одна за другой, облекаясь в конкретную форму.

Но после болезни я приобрел и новое качество. Его я назвал бы утвердительным отношением к бытию, безусловным «да» по отношению ко всему, что есть, без каких



бы то ни было субъективных протестов. Условия существования я принимал такими, какими видел и понимал их, себя самого я тоже принимал таким, каким мне суждено быть. В начале болезни мне казалось, что в моих отношениях с этим миром не все благополучно и что ответственность за это в некоторой степени лежит на мне. Но каждый, кто выбрал такой путь, живет, неизбежно делая ошибки. От ошибок и опасностей не застрахован никто. Можно полагаться на какой-то путь, посчитав его надежным, и этот путь окажется путем смерти. На нем не произойдет ничего. По настоящему — ничего! Надежный и проверенный путь — это путь только к смерти.

Лишь после болезни я понял, как важно увериться в существовании собственной судьбы. Наше «я» проявляется как правило в ситуациях непредвиденных, непостижимых. Это «я», способное терпеть и принять правду, в состоянии справиться с миром и судьбой. Только в этом случае наши поражения превращаются в победы. И тогда ничто — ни извне, ни изнутри — не может противостоять нам. Тогда наше «я» способно выстоять в потоке жизни, в потоке времени. Но это верно лишь при условии, что мы не намерены и не пытаемся вмешиваться в ход своей судьбы.

Еще я понял, что некоторые собственные мысли следует принимать как должное, их значение в том, что они есть. Категории истинного и ложного, конечно, присутствуют всегда, но они не всегда обязательны и не всегда применимы. Существование таких мыслей само по себе более важно, чем то, что мы об этом думаем. Но и это — то есть то, что мы думаем — не следует подавлять, как не следует подавлять любое проявление своего «я».

### Жизнь после смерти.

Все, что я могу поведать о потустороннем, о жизни после смерти, все это — воспоминания. Это мысли и образы, с которыми я жил, которые не давали мне покоя. В определенном смысле они являются основой моих работ, ведь мои работы — не что иное, как неустанные попытки ответить на вопрос: какова связь между тем, что «здесь», и тем, что «там»? Однако я никогда не позволял себе говорить о жизни после смерти *expressis verbis* (вполне отчетливо. — *лат.*), в противном случае мне пришлось бы как-то обосновать мои соображения, чего я сделать не в состоянии. И все же я попробую рассказать об этом.

Впрочем, все равно это будет всего лишь «сказка», миф. Может быть, человеку нужно прикоснуться к смерти, чтобы он обрел необходимую для этого свободу и раскованность. Независимо от того, желаю ли я какой-нибудь жизни после смерти или нет, — я прежде всего не хотел бы культивировать в себе подобные мысли. Но должен отметить, что на самом деле, безотносительно моих желаний и поступков, я все равно об этом думаю. Что здесь правда, что ложь, я не знаю, но такие мысли есть и вполне могут оформиться, если только я, следуя рассудку, не стану подавлять их. Предвзятость обедняет психическую жизнь, нанося непоправимый ущерб всем ее проявлениям, но я знаю слишком мало, чтобы суметь каким-то образом откорректировать этот ущерб. Возможно, что критическое вмешательство рассудка смогло бы многое прояснить как в этом, так и в большинстве других мифологических представлений, но не исключено, что оно же редуцировало бы их вплоть до полного исчезновения. Дело в том, что в наши дни большинство людей идентифицируют себя исключительно со своим сознанием и полагают, что они есть именно то, что о себе знают. Но всякий, кто мало-мальски знаком с психологией, скажет вам, сколь ограничено это знание. Рационализм и доктринерство — это болезни нашего времени, предполагается, что им известны ответы на все вопросы. Но нам еще предстоит от-

крыть все то, что наше нынешнее ограниченное знание пока исключает как невозможное. Наши понятия о пространстве и времени более чем приблизительны, и существует огромное поле для всякого рода отклонений и поправок. Понимая это, я не могу просто взять и отбросить странные мифы моей души и внимательно наблюдаю за всем происходящим вокруг, независимо от того, насколько это соответствует моим теоретическим предположениям.

Жаль, но мифологическая сторона человеческой природы сегодня изрядно упростилась. Человек более не порождает сюжеты. Он себя многого лишает, потому что это очень важно и полезно — говорить о вещах непостижимых. Это похоже на то, как если бы мы сидели у огня и, покуривая трубку, рассуждали о привидениях.

Что на самом деле означают мифы или истории о потусторонней жизни, какого рода реальность они отражают, — мы, безусловно, не знаем. Мы не можем сказать, имеют ли они какую-либо ценность помимо того, что представляют собой несомненную антропоморфическую проекцию извне. И нужно никогда не забывать о главном — о том, что нельзя и невозможно с уверенностью говорить о вещах, которые выше нашего понимания.

Мы не в состоянии вообразить себе другой мир, другие обстоятельства иначе, чем по образу и подобию того мира, в котором живем, который сформировал наш дух и определил основные предпосылки нашей психики. Мы существуем в жестких рамках своей внутренней структуры и всеми своими помыслами привязаны к этому нашему миру. Мифологическое сознание способно преодолеть это, но научное знание не может себе такого позволить. Для рассудка вся эта мифология — просто спекуляция; но для души она целебна, без нее наша жизнь стала бы плоской и серой. И нет никаких веских причин так себя обкрадывать.

Парапсихология считает вполне удовлетворительным доказательством потусторонней жизни некую манифестацию усопших: они заявляют о себе как призраки или через медиума, передавая живым то, о чем знать могут только они. Но даже когда это верифицируемо, остаются вопросы, идентичен ли этот призрак или голос покойнику или это некая проекция бессознательного, были ли вещи, о которых говорил голос, — ведомы мертвому или же опять таки проходили по ведомству бессознательного?

Даже если отбросить в сторону все рациональные аргументы, которые по сути запрещают нам с уверенностью говорить о подобных вещах, остаются еще люди, для которых очень важна уверенность в том, что жизнь их продолжится за пределами настоящего существования. Благодаря ей, они стараются жить более разумно и спокойно. Если человек знает, что перед ним целая вечность, нужна ли эта бессмысленная спешка?

Безусловно, так думает не каждый. Есть люди, которых сама мысль о бессмертии приводит в ужас — неужели им придется десятки тысяч лет восседать на облаке и перебирать струны арфы? Кроме того, есть люди, и их немало, с которыми жизнь обошлась так жестоко, которым так надоело собственное существование, что ужасный конец они предпочитают бесконечному кошмару. И тем не менее в большинстве случаев вопрос о бессмертии настолько важен и настолько в прямую связан с бытием, что мы должны попытаться составить об этом определенное представление. Но каким образом?

На мой взгляд, этого можно добиться с помощью тех неясных образов, которые бессознательное посылает, например, в наши сны. Обычно мы не придаем им значения, как вопросу, на который нет ответа. Подобный скептицизм понять несложно, но я попробую заинтересовать вас следующими соображениями: если существует нечто, чего мы не можем знать, мы не должны подходить к этому, как к интеллектуальной

проблеме. Например, я не знаю, почему и как возникла Вселенная, и никогда этого не узнаю. Поэтому мне нет смысла делать из этого научную или интеллектуальную проблему. Но когда у меня есть представление об этом — из сновидения или мифологической традиции, — мимо я уже не пройду. Я буду стараться на их основе создать некую концепцию, даже если она так и останется гипотезой, которую мне никогда не удастся обосновать.

У человека должна быть возможность сказать, что он сделал все, чтобы иметь какое-то представление о жизни после смерти или некий образ такой жизни, — даже если это станет признанием его бессилия. Отказаться от такой попытки — значит лишиться себя чего-то важного. Ведь в этом проявляется вековое наследие человечества, полный тайной жизни архетип, необходимая часть той целостности, которая и есть наша личность, мы сами. Границы разума слишком узки, он приемлет только известное, и то с ограничениями. И такое существование — в ограниченных рамках — выдает себя за жизнь действительную. Но наша каждодневная жизнь определяется не только сознанием, без нашего ведома в нас живет бессознательное. И чем сильнее крен в сторону критического разума, тем более убогой становится жизнь. Когда же мы осознаем свое бессознательное, свои мифы, какой богатой и разнообразной делается она. Абсолютная власть разума то же самое, что политический абсолютизм: она уничтожает личность.

Бессознательное дает нам некий шанс, что-то сообщая или на что-то намекая своими образами. Оно способно дать нам знание, неподвластное традиционной логике. Попробуйте припомнить феномены синхронизма, предчувствия или сны, которые сбылись!

Со мной это произошло во время второй мировой войны. Я возвращался домой из Боллингена, взяв в дорогу книгу. Но читать я не мог: с того момента, как поезд тронулся, передо мной возник образ утопленника. Это было воспоминание о несчастном случае, когда я служил в армии. Всю поездку я никак не мог избавиться от него. Я встревожился: «Что случилось? Не к добру это!»

В Эрленбахе я сошел с поезда и направился домой, все еще обеспокоенный этим воспоминанием. В саду играли дети моей второй дочери. Ее семья жила тогда с нами, они вернулись из Парижа в Швейцарию во время войны. Дети, похоже, были чем-то расстроены, и, когда я спросил: «Что случилось?», они рассказали, что Адриан (младший из мальчиков) упал в воду с лодочного причала. Там было довольно глубоко, а он толком не умел плавать и чуть не утонул. Его вытащил старший брат. Это случилось как раз тогда, когда я был в поезде и мое воспоминание преследовало меня. Бессознательное подало мне некий знак. Почему же в таком случае оно не может сообщать мне и о чем-либо другом?

Нечто подобное я пережил накануне смерти одной из родственниц моей жены. Во сне я увидел глубокую яму с каменными стенами, которая якобы служила постелью моей жене. Это была могила, чем-то напоминающая античные могильники. Вдруг я услышал глубокий вздох — будто отлетела чья-то душа, и из ямы возник образ моей жены. Она была в белом платье, расшитом странными черными знаками. Я мгновенно проснулся, разбудил жену и глянул — который час. Было три часа утра. Необычность сна обеспокоила меня: я сразу подумал, что он предвещает чью-то смерть. В семь часов мы узнали, что в три часа утра скончалась двоюродная сестра моей жены.

Предупреждения мы получаем довольно часто, но не умеем их распознать. Так, однажды мне приснился сон, будто я нахожусь на какой-то garden party. Я встретил там мою сестру и очень удивился — она умерла несколько лет назад. Там же присутствовал мой покойный друг. Все прочие оказались моими ныне здравствующими

знакомыми. Мою сестру, однако, сопровождала дама, которую я хорошо знал, и даже во сне понял, что она, видимо, скоро умрет. «Она уже отмечена», — подумал я. Во сне я хорошо знал, кто она и где живет, — она жила в Базеле. Но пробудившись, я уже не смог ее вспомнить, хотя все остальные фрагменты сна видел как наяву. Я перебрал всех своих базельских знакомых, надеясь, что припомню, кто же это был. Ничего не получилось!

Через несколько недель мне сообщили о смерти одной моей приятельницы. Я сразу же понял, что это была она — женщина, увиденная во сне, которую я не мог вспомнить. А ведь я отлично знал ее — она долгое время была моей пациенткой. Перебирая всех своих знакомых, я забыл о ней, хотя в первую очередь должен был подумать о ней.

Когда такое случается, нами овладевает страх перед разного рода возможностями и способностями бессознательного. В подобных ситуациях нужно быть очень осторожными, помня, что такого рода «сообщения» всегда субъективны: они могут иметь некоторое отношение к реальности, но могут и не иметь. Но я не единожды убеждался, что те построения, которые возникали у меня на основании таких «подсказок» бессознательного, в основном себя оправдали. Речь, конечно, идет не о том, чтобы составить книгу из подобного рода откровений, но я должен признать, что у меня есть свой «миф», именно из-за него я снова и снова обращаюсь к проблемам бессознательного. Миф — самая ранняя форма знания. Когда я говорю о том, что бывает после смерти, я делаю это по внутреннему побуждению и не могу идти дальше снов и мифов.

Можно, наверное, с ходу заявить, что мифы и сновидения, связанные с происходящим после смерти, не что иное как компенсаторные фантазии, заложенные в самой природе: всякая жизнь желает продолжаться вечно. У меня есть лишь одно возражение: миф.

Кроме того, есть люди, убежденные в том, что на некую часть души не распространяются законы пространства и времени. Научное подтверждение тому — известные эксперименты Дж. Б. Райна.<sup>\*</sup> Многочисленные случаи спонтанных предчувствий, внепространственных ощущений и т. п., а также те примеры, которые я приводил, — доказывают, что душа подчас функционирует по ту сторону пространства, времени и законов причинности. Это означает, что нашим представлениям о пространстве, времени, а следовательно и причинности, — явно не хватает полноты. Целостная картина мира требует как минимум еще одного измерения, в противном случае очень многое остается непонятным и необъяснимым. Вот почему рационалисты не устают повторять, что парапсихологических явлений в действительности не существует, ведь на этой зыбкой основе и держится их картина мира. Если же такого рода феномены вообще имеют место, рационалистический миропорядок явно перестает кого-либо удовлетворять: он не полон. Отсюда со всей неизбежностью вытекает другая проблема — возможность существования иной реальности. И нам приходится признать то, что наш мир, с его временем, пространством и причинностью, скрывает за собой (или под собой) иной порядок вещей, где нет «здесь» и «там», «раньше» и «позже». По моему убеждению, по меньшей мере части нашего психического существа присуща релятивность времени и пространства. Она представляется абсолютной, как только мы удаляемся от сознательных процессов.

\* \* \*

---

<sup>\*</sup> Дж. Б. Райн — американский психолог, который провел серию экспериментов по внепространственным ощущениям. — ред.

Не только мои сны — иногда и сны других — помогали мне формировать, корректировать и подтверждать мои догадки о жизни после смерти. Особую роль я отвожу сну, который приснился моей ученице, шестидесятилетней женщине, за два месяца до ее смерти. Она увидела себя на том свете — в школьном классе, где за первыми партами сидели ее покойные уже подруги. Все чего-то ожидали. Она поискала глазами учителя или лектора, но никого не обнаружила. Наконец до нее дошло, что она и есть тот самый лектор, ведь все умершие должны дать после смерти отчет о своем жизненном опыте. Мертвым это было чрезвычайно интересно, словно события и впечатления земной жизни могли здесь на что-то повлиять.

Во всяком случае, в этом сне собралась самая странная аудитория, которую только можно себе вообразить: здесь проявился самый горячий интерес к последнему психологическому исходу человеческой жизни, жизни, в которой не было ничего замечательного — по крайней мере для нас. Но если предположить, что эта «аудитория» существует вне времени, тогда «завершение», «событие» и «развитие» превращаются в некие сомнительные понятия, в какие-то невозможные, недостающие состояния, и вполне понятно жгучее любопытство, к ним обращенное.

Женщина перед тем, как увидела этот сон, испытывала страх при мысли о смерти и старалась отогнать ее. Но смерть — предмет слишком значительный, особенно для стареющего человека, когда она перестает быть, скажем так, отдаленной возможностью, когда человек оказывается стоящим прямо перед ней и вынужден дать ответ. Но для этого ему нужен некий миф о смерти, потому что «здоровый смысл» не подсказывает ничего, кроме ожидающей его черной ямы. Миф же способен предложить иные образы, — благотворные и полные смысла картины жизни в стране мертвых. Если человек в них верит хотя бы немного, он так же прав или неправ, как тот, кто не верит в них. Отвергнувший миф, уходит в ничто, а тот, кто следует архетипу, идет по дороге жизни и полон жизни даже в момент смерти. Оба, естественно, остаются в неведении, но один живет наперекор своему инстинкту, другой — в согласии с ним. Разница существенная, и преимущество последнего более чем очевидно.

Бессознательные образы сами по себе лишены какой бы то ни было формы, и, чтобы они, эти образы, сделались «знанием», необходим человек, необходим контакт с сознанием. Начиная свои исследования в области бессознательного, я выяснил, что в моих фантазиях часто возникают фигуры Саломеи и Ильи. Затем они отошли на задний план, но спустя примерно два года появились снова. Удивительно, но они совершенно не изменились, говорили и поступали так, будто за это время ничего не случилось. Это была одна из самых невероятных ситуаций, в которые я когда-либо попадал. Я как бы начал все с начала, я стал им все заново объяснять и рассказывать. Это было поразительно. Только много позже я понял суть происшедшего: все эти два года они были погружены в бессознательное — в безвременье, оставаясь там, не входя в контакт с сознанием, не ведая о том, что происходило в этом мире.

Я достаточно рано осознал, что пытаюсь, как бы поучать эти образы из бессознательного, или «души умерших», — подчас их трудно различить. Впервые я понял это в 1911 году, когда путешествовал на велосипеде по северной Италии. Мы с другом возвращались через Павию к Ароне и в долине Маджоре заночевали. Мы собирались проехать вдоль озера, а затем через Тессин в Фай-до, где рассчитывали сесть на цюрихский поезд. Но в Ароне мне приснился сон, который перечеркнул все наши планы.

Во сне я оказался на каком-то собрании, где находились души умерших. Я испытывал к ним чувства, подобные тем, какие возникли у меня гораздо позже в храме из черного камня (в моем видении 1944 года). Они беседовали между собой на латыни. Господин в завитом парике обратился ко мне с каким-то сложным вопросом, суть

которого я по пробуждении вспомнить не мог. Я понял, о чем он говорит, но не настолько хорошо владел латынью, чтобы ответить ему, — и мне стало так стыдно, что я проснулся с ощущением своего позора.

Первое, что пришло мне в голову, — это книга, над которой я тогда работал («Метаморфозы и символы либидо»). Чувство унижения, охватившее меня из-за того, что не смог ответить, заставило меня немедленно сесть на поезд и отправиться домой, чтобы засесть за книгу. Я не мог потерять здесь еще три дня. Я должен был работать и найти ответ.

Лишь гораздо позже мне стал понятен смысл сна и моя реакция на него. Господин в парике был, скорее всего, духом предков, духом мертвых, он задавал мне вопросы — а я не сумел ответить! Видимо, тогда еще не пришло время, я не был готов, но смутно ощущал, что в своей книге отвечаю на тот же вопрос. Этот вопрос поставили мои — в прямом смысле — духовные праотцы, надеясь и ожидая, что узнают от меня то, что стало известно людям после их ухода. Если вопрос и ответ уже прозвучали в вечности и всегда оставались там, тогда мои усилия не требовались — ответ можно было бы получить в любом другом столетии. Кажется, что на самом деле в природе существует беспредельное знание, а оно существует всегда — но осознается оно только в свое время. Точно также как человек, который может жить многие годы, имея самое поверхностное представление о каких-то вещах, вдруг в какой-то момент осознает их с необыкновенной ясностью.

\* \* \*

Много позже, когда я писал «Septem sermones...», мертвые снова задавали мне свои вопросы. Они явились, по их словам, «из Иерусалима, где не нашли того, что искали». Тогда я удивился, ведь принято считать, что им известно много больше, чем нам, и христианская церковь учит, что в «той» жизни мы встретим Бога. Но в моем случае души мертвых «знали» только то, что им было известно на момент их смерти и ничего кроме этого. Отсюда их стремление проникнуть в человеческую жизнь и человеческое знание. Я часто ощущаю, как они становятся у нас за спиной и ждут разрешения своих вопросов и разрешения наших судеб. Мне казалось, что для них от этого зависит все — от того, какие ответы они получают на свои вопросы, то есть они были как бы подвластны тем, кто жил после них в этом меняющемся мире. Мертвые вопрошали так, как если бы все знание или, я бы сказал, всеобъемлющее сознание не находилось в их распоряжении, но принадлежало только живым, телесным душам. Поэтому дух живой (так я думаю) имеет преимущество перед духом отлетевшим по крайней мере в одном пункте, а именно — в способности получать ясное и завершенное представление о чем бы то ни было. Для меня трехмерный мир во времени и пространстве — это система координат: то, что здесь мы различаем как ось ординат и ось абсцисс, в вечности, может представлять собой некий первоначальный образ с «рассеянным фокусом», некое рассеянное «облако сознания» вокруг архетипа. Но система координат необходима для того, чтобы уметь различать дискретные элементы содержания. Любая подобная операция выглядит невыполнимой в состоянии «рассеянного всезнания» или некоего безличного сознания, в котором отсутствует пространственно-временная определенность. Познание же, как и размножение, предполагает наличие противоположностей: здесь — там, верх — низ, до — после.

\* \* \*

Если бы после смерти было возможно существование сознательного, оно, на мой взгляд, развивалось бы в том же направлении, что и «коллективное сознание» человечества, которое всегда имеет некую верхнюю, хотя и плавающую границу. Бытие многих людей до самой их смерти находится ниже уровня их потенциальных воз-

возможностей и, что важнее, ниже уровня, на котором в тех же временных рамках находятся другие. Отсюда и потребность первых достигнуть после смерти той степени осознанного восприятия явлений, на которую не удалось подняться при жизни.

Этот вывод я сделал, изучая сны о мертвых. Однажды мне приснилось, будто я навестил друга, умершего две недели назад. При жизни он никогда не выходил за рамки общепринятых, традиционных представлений и всегда воздерживался от любой рефлексии. В моем сновидении он жил на холме, похожем на Туллингеров холм близ Базеля. Там возвышался старинный замок, стены которого образовывали кольцо вокруг площади, на которой стояли маленькая церквушка и какие-то одноэтажные постройки. Мне это напомнило площадь перед замком Рапперсвилль. Стояла осень, листья вековых деревьев уже окрасились в золотистые тона, и весь пейзаж был словно пронизан мягким солнечным светом. Мой друг сидел за столом со своей дочерью, которая изучала психологию в Цюрихе. Я знал, что они говорили о психологии. Он был так увлечен беседой, что едва поприветствовал меня легким движением руки, будто собирался сказать: «Не мешай мне!» Этот приветственный жест был и знаком прощания.

Сон таким странным образом дал мне понять, что друг мой реализует теперь истинную природу своего психического существа — то, чего не смог сделать при жизни. Потом образы этого сна напомнили мне финал второй части «Фауста» — святых отшельников, ютящихся на уступах горы, которые, по-видимому, являют собой различные взаимодополняющие и превосходящие друг друга ступени развития.

У меня был и другой опыт, связанный с развитием души после смерти. Это случилось примерно через год после смерти моей жены. Ночью я вдруг проснулся с ощущением того, что мы с женой находимся на юге Франции, в Провансе, где провели вместе целый день. Она собирала материалы о Граале. Видение показалось мне не лишенным смысла: моя жена умерла, не закончив эту работу.

В подобном субъективном объяснении для меня не было ничего нового: то, что жена не завершила свой труд, я и так знал. Но мысль о том, что жена и после смерти продолжала работать и совершенствоваться — как ни понимай это, — казалась преисполненной глубокого смысла, сновидение принесло мне долгожданное целительное успокоение.

Такого рода представления, конечно, неточны и вряд ли могут кого-либо удовлетворить. Они подобны плоской проекции, или же наоборот — четырехмерной модели трехмерного тела, где для наглядности используются определения трехмерного мира. Математика же не раздражает тот факт, что обозначаемые им отношения превосходят эмпирическое понимание. Таким же образом дисциплинированное воображение, монтируя модель непостижимого мира, использует принципы логики и базируется на эмпирических данных, то есть пересказах снов. Этот свой метод я называю методом «необходимых показаний». Он воспроизводит принцип амплификации в толковании сновидений; причем его несложно продемонстрировать на большом количестве такого рода «показаний».

Единица — первая цифра некоего единства, но она же и собственно «единство», она обозначает и «едино», и «всеедино», и «единственность», и «недвойственность», единица — это не только число, но философская идея, некий архетип, божественный атрибут, монада. Для человеческого разума подобные заключения вполне естественны, но в то же время он детерминирован и ограничен собственными представлениями о единице и ее импликациях. Иными словами, наше определение не произвольно, а продиктовано самой природой единицы, и потому оно необходимо. Теоретически аналогичную операцию можно проделать с каждым из последующих чисел, но на

практике очень легко оказаться в тупике, ведь с возрастанием количества усложняется содержание, которое в итоге уже просто невозможно исчислить и осознать.

Каждое последующее единство имеет иные свойства. Например, особенность числа «4» заключается в том, что оно позволяет решить уравнение четвертой степени, но уже уравнение пятой степени — нет. «Необходимым показанием» для числа «4», будет то, что помимо всего прочего оно венчает предыдущую последовательность чисел. Поскольку каждое очередное единство приобретает еще одно или несколько математических свойств, последующие показания все больше усложняются, и наконец они уже не поддаются формулировке.

Бесконечная последовательность натуральных чисел соответствует бесконечному разнообразию индивидуальных созданий. Это бесконечное количество состоит из индивидуумов, и уже свойства десяти первых показывают — если они вообще что-то показывают — некую абстрактную космогонию. Но свойства чисел одновременно являются качествами материи, и определенные уравнения способны прогнозировать ее поведение.

Я осмелюсь утверждать, что, кроме собственно математических выражений, существуют и другие, соотносимые с реальностью самым непостижимым образом. Взять хотя бы порождения нашей фантазии, их в силу большой частотности вполне возможно рассматривать как *consensus omnium* (общее мнение. — *лат.*), архетипические мотивы. Как существуют математические уравнения, о которых нельзя сказать, каким именно физическим реальностям они соответствуют, так существует и мифологическая реальность, о которой мы не можем сказать, с какой психической реальностью она соотносится. К примеру, уравнения, позволяющие рассчитать турбулентность разогретых газов, были известны задолго до того, как эти процессы были досконально изучены. Подобным же образом с давних пор существуют мифологемы, определявшие течение некоторых скрытых от сознания процессов, названия которым мы смогли дать лишь сегодня.

\* \* \*

Верхним пределом знания, доступного мертвым, является, на мой взгляд, тот уровень сознания, который уже был некогда достигнут. Возможно, поэтому земной жизни придается такое значение и так важно, что «уносит с собой человек» в момент смерти. Только в этой, земной и противоречивой жизни достигается высшая ступень сознания. В этом и заключается метафизическая задача человека, которая без «мифологизирования» решения не имеет. Миф — это необходимое связующее звено между бессознательным и сознательным знанием. Разумеется, бессознательному известно больше, но это особое знание, существующее в вечности, не разделенное на «здесь» и «сейчас», не переводимое на наш рациональный язык. Только при амплификации наших «показаний», как это было показано выше на примере числительных, оно становится доступно нашему пониманию, открывается под новым углом зрения. И каждое удачное толкование сна является повторением этого процесса, утверждая нас в этом знании. Отсюда очень важно, обращаясь к снам, освободиться от предвзятых, доктринерских установок. Но как только появится некая «одинаковость» толкований, нужно признать, что в наших интерпретациях есть некоторая предубежденность, и следовательно, они бесплодны.

Хотя удовлетворительных доказательств бессмертия души и продолжения жизни после смерти еще никто не представил, существуют явления, которые заставляют над этим задуматься. Я могу принять их как возможные отсылки, но не решусь, конечно, отнести их к области абсолютного знания.

Как-то ночью я лежал без сна и размышлял о внезапной смерти одного моего друга, которого похоронили накануне. Эта смерть потрясла меня. Вдруг у меня возник-



ло ощущение, что он находится здесь, в этой комнате. Мне показалось, будто он стоит в изножье моей кровати и зовет идти за ним. Это был не призрачный, а его зримый образ, созданный моим воображением. Но, если быть честным, я должен был спросить себя: имеются ли у меня какие-либо доказательства того, что это только фантазия? Допустим, что это не так и что мой друг действительно был здесь, но я решил, что он — плод моего воображения, — хорошо ли это с моей стороны? Тем не менее у меня не было никаких доказательств — ни того, что он стоял передо мной, ни того, что я его вообразил. Тогда я сказал себе: «Не доказано ни то, ни другое! Вместо того, чтобы называть это фантазией, я мог бы с тем же правом посчитать его призраком и попытаться отнестись к нему как к чему-то реальному». И только я об этом подумал, он шагнул к двери и сделал мне знак следовать за ним — как бы приглашая сыграть в некую игру. Я вовсе не собирался этого делать. В итоге пришлось повторить себе собственные аргументы еще раз. Только тогда я смог представить, что следую за ним.

Он вывел меня из дома и повел через сад, на улицу. Наконец мы пришли к его дому (он находился в сотне метров от моего). В доме он провел меня в свой кабинет, и встав на скамеечку, указал мне на вторую из пяти книг в красных переплетах, которые стояли на второй полке сверху. На этом видение оборвалось. Я не был знаком с его библиотекой и не знал, что там за книги. Разумеется, я не мог прочесть заглавие того тома, на который он указывал, — я стоял внизу, а вторая полка находилась слишком высоко.

Тем не менее это было так странно, что на следующее утро я отправился к его вдове и попросил разрешения взглянуть на библиотеку покойного. Там, как в моем видении, под книжным шкафом стояла маленькая скамеечка, но, не успев даже подойти к шкафу, я увидел пять книг в красных переплетах. Я встал на скамеечку и прочел заглавия. Это были переводы романов Золя. Второй том назывался «Завещание мертвеца». Сюжет его показался мне не заслуживающим внимания, но заглавие оказалось более чем значимым.

В другом случае поводом для размышлений послужили сны, увиденные мной перед смертью матери. Она умерла, когда я был в Тессине. Известие меня потрясло, эта смерть была для меня неожиданной. Накануне ночью мне приснился страшный сон. Я находился в дремучем, мрачном лесу; среди огромных деревьев то там, то сям виднелись сказочные гигантские валуны. Настоящий героический первобытный пейзаж! И в тот же момент послышался пронзительный свист, эхо его, казалось, отозвалось во всей вселенной. От ужаса у меня подогнулись колени. Особенно, когда из кустарника с треском выпрыгнул огромный волкодав с оскаленной пастью. При взгляде на него у меня застыла кровь. Волкодав промчался мимо, и тут меня осенило: Дикий Охотник приказал ему унести человеческую душу. Я проснулся в смертельном ужасе, а утром получил известие о смерти матери.

Редко когда сны так пугали меня, ведь в первую минуту могло показаться, что мою мать унес дьявол. На самом деле же это был Дикий Охотник, «Грюнхютль» (Зеленая Шапка): во время январских метелей он по ночам охотился со своим волкодавом. Охотником, как я понял, был Вотан, бог древних германцев, он и «унес» мою мать к ее предкам. Можно в связи с этим вспомнить о «войске Дикого Охотника», не следует забывать и о «salig Lut». Это христианские миссионеры позже превратили Вотана в дьявола, а поначалу он был богом, как Меркурий, или Гермес, именно так понимали его римляне, это был дух природы, Мерлин из легенды о Граале, «Spiritus Mercurialis», тайну которого пытались разгадать алхимики. Таким образом, сон общал, что душа моей матери была столь самостоятельна, что оказалась по ту сторону христианского мира — там, где царит единство природы и духа.

Я сразу же выехал домой. Всю ночь в поезде мне не давало покоя тяжелое чувство, но где-то в глубине души я не испытывал скорби по очень странной причине: в ушах у меня постоянно звучала танцевальная музыка, смех и крики, будто где-то праздновали свадьбу. Этот резкий контраст с тем тяжелым чувством, которое оставил сон, не давал мне целиком погрузиться в печаль. Причем всякий раз, стоило лишь мне забыться, как я вдруг обнаруживал, что вокруг меня звучит какая-то радостная мелодия. И эта череда контрастных состояний казалась мне бесконечной.

Такой парадокс можно объяснить, если предположить, что в одном случае смерть видится нам с точки зрения эго, в другом — с точки зрения души. В первом случае она выглядит катастрофой, некой жестокой и безжалостной силой, отнимающей у человека жизнь.

Смерть действительно страшно жестока, здесь не стоит себя обманывать, — она беспощадна не только физически, но и, прежде всего, в психической своей природе: человека вырывают из круга живых, и все, что остается, это ледяное молчание мертвеца. У нас нет надежды на какую бы то ни было связь с ним, все мосты разрушены. Люди, заслуживающие долгой жизни, умирают в расцвете лет, никчемные доживают до глубокой старости. Это жестокая реальность, и мы должны отдавать себе в этом отчет. Неумолимость и бессмысленность смерти может так ожесточить нас, что мы поверим в то, что не существует в мире ни милосердного бога, ни справедливости, ни добра.

Но на другой взгляд — *sub specie aeternitatis* (с точки зрения вечности. — *лат.*), смерть есть радостное событие, как некая свадьба, *misterium coniunctionis*. Душа словно обретает свою недостающую половину, достигая полноты. На греческих саркофагах изображали танцовщиц, на этрусских могилах — пир. Когда ушел из жизни набожный каббалист Раби Шимон бен Йохан, его друзья говорили: он празднует свадьбу. И по сей день во многих местах в День поминовения по обычаю устраивают на могилах своего рода «пикник». Все это свидетельствует об ощущении смерти как некоего празднества.

За несколько месяцев до смерти матери, в сентябре 1922 года, мне приснился вещий сон. В сне я увидел отца, и это потрясло меня — отец не снился мне с 1896 года. И вот он вновь объявился, будто вернулся из далекого путешествия. Он показался мне помолодевшим, избавившимся от прежней родительской авторитарности. Я провел его в библиотеку, втайне радуясь, что наконец узнаю, зачем он пришел. Вдобавок я предвкушал особое удовольствие от того, что сейчас познакомлю его с женой и детьми, покажу мой дом, расскажу, что я сделал за свою жизнь и чем стал. Еще я хотел показать ему свою книгу «Психологические типы», которая недавно была опубликована. Однако вскоре я понял, что ему нужно совсем другое — отец казался чем-то озабоченным и явно чего-то хотел от меня. Почувствовав это, я воздержался от разговоров о себе. Наконец он сказал, что, раз уж я «психолог», он хотел бы проконсультироваться со мной по проблемам семейной психологии. Я уже был готов прочитать ему длинную лекцию о сложностях брака, но в этот момент проснулся. Сразу я не сумел правильно понять и объяснить этот сон, поскольку мне даже в голову не приходило, что он может предвещать близкую смерть матери. Мне это стало понятно лишь тогда, когда она внезапно умерла в январе 1923 года.

Брак моих родителей был несчастлив, полным испытаний и горестей. И отец, и мать — оба — совершали множество ошибок, типичных в подобных ситуациях. Увидев этот сон, я мог предугадать смерть матери: отец появился после 26 лет отсутствия, желая узнать у психолога о новейших достижениях семейной психологии потому, что ему в скором времени предстояло вернуться к этой проблеме. Видимо, там, в вечности, он был лишен возможности получить новое знание и не стал лучше раз-

бираться в этих вопросах, поэтому ему пришлось обратиться за помощью к кому-то из живущих, чтобы в свете последних обстоятельств определить собственную точку зрения.

Таков был смысл сна. Безусловно, я мог узнать и гораздо больше, но меня прежде всего занимало, почему отец приснился мне перед смертью матери, смертью, которую я не смог предвидеть? Сон явно указывал мне на отца, к которому я со временем стал испытывать все более глубокую симпатию.

Бессознательное, по причине своей пространственно-временной относительности, владеет гораздо лучшими источниками информации, чем сознание — последнее лишь направляет наше смысловое восприятие, тогда как свои мифы о жизни после смерти мы умеем создавать благодаря немногим скупым намекам из наших сновидений и подобных спонтанных проявлений бессознательного. Как я уже отмечал, мифам не стоит придавать какую бы то ни было познавательную ценность, и уж совсем не следует считать их доказательствами. Тем не менее, они могут явиться основанием для мифологической амплификации, открывая перед исследователем возможности для живого творчества. Уберите этот промежуточный мифологический мир фантазий, и дух станет добычей заостренных доктринерских предрассудков. С другой стороны, уделяя слишком много внимания этим мифологическим образованиям, мы рискуем посеять сомнение и соблазн в умах слабых и внушаемых, склонных к фантастическому гипостазированию.

Один из наиболее широко распространенных мифов о потустороннем мире возник благодаря идеям и представлениям о реинкарнации.

В одной стране, чья духовная культура очень сложна и гораздо древнее, чем наша (речь, разумеется, об Индии), мысль о переселении душ является столь же естественной, как наши представления о Творце, или *Spiritus rector*. Образованным индусам известно, что мы их точку зрения не разделяем, но их это нисколько не волнует. Своеобразие восточной мудрости заключается в том, что последовательность рождений и смертей бесконечна и, подобно вечному круговращению, не имеет цели. Мы живем, достигаем какого-то знания, умираем, и все начинается сначала. Только с именем Будды связана идея славной цели — преодоления земного существования.

Мифологическая потребность западного человека обусловлена эволюционистским мировоззрением с обязательными понятиями *начала* и *цели*. Ему чужда идея пути, имеющего начало и конец, но не имеющего цели, точно так же он отвергает представление о статическом, замкнутом, вечном круговороте. Восточный человек, напротив, склонен примириться с этой идеей. Но, по-видимому, и на Востоке нет всеобщего консенсуса в представлениях об устройстве Вселенной, так же как до сих пор нет согласия по этому поводу и среди астрономов. Саму идею бессмысленной неподвижности западный человек отвергает с ходу, во всем он должен видеть какой-то смысл. Восточный человек не нуждается в подобном допущении, скорее он сам воплощает в себе этот смысл. Там, где западный человек стремится осмыслить этот мир, человек восточный находит смысл в себе самом, отрешаясь от иллюзий мирского существования.

Я думаю, что правы оба. Западный человек, похоже, в большей степени экстравертирован, восточный же, наоборот — скорее интроверт.

Первый видит смысл вне себя, проецируя его на объекты, второй ощущает его в себе самом. Но смысл существует как извне, так и внутри нас.

Идею перерождения невозможно отделить от того, что называют кармой. Здесь существо проблемы в том, есть ли у человека его собственная, индивидуальная карма? Если это так, тогда человек входит в жизнь с некоторой предопределенностью, воплощая в себе исход всех предыдущих жизней, он звено в какой-то бесконечно ме-

няющейся непрерывной череде, в каком-то персональном континууме. В противном случае, если человеку с рождения дана некая безличная карма, его новые воплощения никак не связаны между собой.

Ученики дважды спрашивали Будду: безлична ли человеческая карма? Оба раза он уходил от ответа: ведь знание не дает возможности освободиться от иллюзии бытия. Будда видел гораздо больше пользы для своих учеников в медитациях о цепи нирваны: о рождении, жизни, старости и смерти, о причинах человеческих страданий.

У меня нет ответа на этот вопрос, я не знаю, что такое моя карма — или она следствие предыдущих моих жизней, или я только наследую своим предкам, воплощая их жизни. Жил ли я уже однажды и чего достиг в той жизни, если сейчас я только пытаюсь найти какие-то решения? Не знаю. Будда оставил вопрос открытым, и мне хочется думать, что он сам не был уверен в ответе.

Я вполне могу представить, что уже жил раньше и что тогда передо мной тоже возникали вопросы, на которые я не находил ответа. Возможно, мне следовало родиться снова для того, чтобы исполнить предназначенное мне. Мне кажется, что после смерти все, что я сделал, пребудет со мной. А пока мне нужна твердая уверенность, что к концу жизни я не останусь ни с чем. Похоже, и Будда думал об этом, когда пытался уберечь учеников от бесплодных спекуляций.

Смысл моего существования — это тот вопрос, который задает мне жизнь. Или наоборот, я сам и есть этот вопрос, обращенный к миру, не ответив на него, я останусь с чужими ответами, и это уже буду не я. Я прилагаю все усилия, чтобы исполнить эту титаническую задачу. Возможно, мои предки уже думали об этом и не сумели найти ответ. Может быть, именно поэтому на меня произвел такое сильное впечатление исход «Фауста», вернее его отсутствие? Или это проблема, с которой удалось справиться Ницше — дионисийская сторона жизни, понимание которой, видимо, было утрачено христианами? Или это беспокойный Вотан-Гермес, бог моих предков, германцев и франков, поставил меня перед неразрешимым вопросом? А может, правда на стороне Рихарда Вильгельма, который в шутку предположил, что в предыдущей жизни я был каким-нибудь мятежным китайцем и со своей восточной душой в наказание очутился в Европе.

Все, что я воспринимаю как наследие предков или как личную карму, приобретенную в прошлой жизни, вполне может оказаться неким безличным архетипом. Например, секуляризация Троицы, не допускавшей женского принципа, или вопрос, который занимал еще гностиков и ответ на который так и не найден, — вечный вопрос о происхождении зла, иными словами, вопрос о несовершенстве христианского видения Бога. Все это могут быть архетипические идеи, которые сегодня носятся в воздухе и которые особым образом привлекли мое внимание.

Мне думается, что судьба вопроса, сама возможность его постановки в этом мире находится в прямой зависимости от того, был ли найден ответ на него. К примеру, мой вопрос и мой ответ на него могут быть неудовлетворительными. Следовательно, кто-то, рожденный с моей кармой, или я сам — должен явиться вновь, чтобы наконец отыскать ответ. И я могу себе представить, что мое новое рождение не состоится, потому что мир уже не будет нуждаться в этом ответе, и еще несколько сотен лет я буду спокойно ждать, пока снова не возникнет потребность в ком-нибудь заинтересованном в решении такой задачи. Но полагаю, что должно пройти какое-то время, прежде чем это случится вновь.

Проблема кармы для меня также неясна, как и проблема индивидуального перерождения или переселения душ. *Libera et vacua mente* (без предубеждения. — лат.) я обратился к индийскому учению о переселении душ, пытаюсь найти в собственном

опыте какое-либо подтверждение идеи реинкарнации. Естественно, что я весьма условно воспринимаю многочисленные свидетельства тех, кто безоговорочно верит в переселение душ. Вера сама по себе доказывает собственно феномен, но не предмет веры. Чтобы стать фактом, предмет этот должен быть обнаружен эмпирически. Еще несколько лет назад я не имел никаких убедительных или заслуживающих внимания данных, но, в последнее время мне снились сны, которые, как мне кажется, раскрывали процесс реинкарнации одного моего покойного приятеля. На мой взгляд, правильнее всего рассматривать подобные вещи как нечто среднее между не вполне очевидным, правдоподобным и эмпирически реальным. Но я никогда не слышал о похожих снах у других, поэтому у меня нет возможности сравнивать. Так как мое наблюдение, а отсюда и субъективное, а могу себе позволить лишь упомянуть о нем, в своем роде единственное, но не более того. Но должен признать, что после этих сновидений, мое отношение к проблеме реинкарнации, изменилось, хотя не считаю себя вправе высказывать определенное мнение.

\* \* \*

Допуская, что «там» жизнь продолжается, мы не можем представить себе иной формы существования, кроме психической, поскольку душа не нуждается ни в пространстве, ни во времени. И именно ею порожденные внутренние образы становятся затем материалом для мифологических спекуляций о потустороннем мире, мне видится исключительно как мир образов. Душу следует понимать как нечто, принадлежащее миру потустороннему, или «стране мертвых». А бессознательное и «страна мертвых» суть синонимы.

С психологической точки зрения «жизнь там» является логическим продолжением неких старческих размышлений, ибо все большую роль размышления о внутреннем мире, образы и видения начинают играть именно с наступлением старости. «... И старцы ваши сновиденьями вразумляемы будут...» (Деян. 2, 17). Это означает, что души старых людей не застывают и не дряхлеют, — *sero medicina paratur cum mala per longas convaluerit moras* (но лекарство явилось слишком поздно. — *лат.*). В старости люди погружены в свои воспоминания, перебирая образы прошлого, узнавая в них себя, и это своего рода приготовление к потустороннему существованию, равно как философия, по Платону, есть приготовление к смерти.

Внутренние образы позволяют мне уйти от этой постоянной обращенности в прошлое, что так затягивает большинство старых людей в плен их собственных воспоминаний. Переведенная в образы и осознанная, обращенность в прошлое становится тем, что французы называют *reculer pour mieux sauter* (разбег перед прыжком. — *фр.*). Мне хотелось бы обрести в своей рефлексии некую перспективу, которая уводила бы меня от моей жизни в мир, и лишь затем возвращала снова назад — к моим воспоминаниям.

В целом, наши представления о потусторонней жизни являются некими желанными заблуждениями и предрассудками. Как правило, в них отражается что-то светлое, хотя я вовсе не уверен, что после смерти мы вдруг окажемся на некоем любезном нашему сердцу цветущем лугу. Если бы на «том свете» все было таким притягательным, мы, пребывая в кругу блаженных духов, с самого рождения жили бы в ожидании грядущего блаженства. Но ничего подобного не происходит. Почему же существует эта непреодолимая стена между умершими и живыми? Почему по меньшей мере в половине рассказов о встречах с душами мертвых ощущается страх перед ними, почему «страна мертвых» хранит ледяное молчание, не выказывая сострадания, ни боли?

Когда я размышляю об этом, мне приходит в голову мысль, что однородность этого мира не допускает возможности существования какого-то «другого мира», начис-

то лишено противоречий. И тамошняя «природа» тоже сотворена Богом по Своему образу и подобию. Мир, в который мы попадаем после смерти, будет и великолепным, и ужасным, как бог и как природа, известная нам. И я не представляю себе мир без страдания, но все же то, что мне пришлось пережить в своих видениях 1944 года, — мое освобождение от тяжести тела и обретение смысла, — дало мне настоящее счастье, пусть там были и тьма, и непривычное отсутствие человеческого тепла. Помните черную скалу, к которой я стремился?! Это был черный суровый гранит. Что это означает? Если нет несовершенства, нет изначального дефекта в самом основании творения, зачем нужны тогда жажда творчества и стремление к совершенству? Почему в конце концов боги держат в своих руках судьбы человека и творения? Кому нужно это бесконечное продолжение цепи сансары? Ведь и Будда бросил жестокой иллюзии бытия свое «quod non» (категорическое «нет». — *лат.*), и христиане живут в ожидании конца света.

Возможно, и на «том свете» мы столкнемся с различными ограничениями, но души мертвых лишь постепенно их обнаруживают. Где-то «там» существует некая необходимость, стремящаяся всему установить границы, все заключить в определенные рамки. И эта созидательная необходимость, как я себе представляю, в конечном счете решает, какой именно душе предстоит новое воплощение. Я могу предположить, что для некоторых душ пребывание в трехмерном пространстве менее тягостно, нежели в Вечности. Может быть, это зависит от того, сколько завершенности или незавершенности принесли эти души с собой из мира живых.

Возможно и то, что всякое продолжение трехмерной жизни теряет смысл, если душа уже достигла определенной ступени познания: ей уже не к чему возвращаться, высшее знание освобождает от желания какой-то новой, очередной жизни. Такая душа оставляет трехмерный мир, обретая состояние, которое буддисты называют нирваной. Но если некая карма осталась неисполненной, душа стремится воплотиться снова, видимо, даже не сознавая, что нечто нуждается в завершении.

В моем случае это должно быть, наверное, страстное стремление к познанию, которое, похоже, послужило причиной моего появления на свет и определило мой характер. И эта неуемная тяга к постижению смысла сотворила сознание для того, чтобы знать, что есть и что будет, для того, чтобы за скупыми и разрозненными фрагментами чего-то неведомого обнаружить мифологические представления.

Нам не дано знать, есть ли в нас нечто такое, что нас переживет и останется в вечности. Единственное, что можно с некоторой долей вероятности предположить, — это то, что какая-то часть нашей души продолжает жить после физической смерти. Мы даже не знаем, осознает ли себя это нечто, продолжающее существовать. При желании составить какое-то мнение по этому вопросу, можно, вероятно, обратиться к опытам по изучению феномена психического раздвоения личности. При своем проявлении этот комплекс чаще всего персонифицируется — так, как если бы он осознал сам себя. Подобным образом, персонифицированы голоса, которые слышат душевнобольные. Феномен персонификации комплексов я уже освещал в моей докторской диссертации. Мы можем, если хотим, объяснить это протяженностью и непрерывностью сознания. В таком же плане следует рассматривать некоторые поразительные вещи, которые наблюдаются в случаях глубоких обмороков после серьезных повреждений мозга и в состоянии тяжелого коллапса. В обеих ситуациях полная потеря сознания иногда сопровождается ощущением внешнего мира как сновидения. Поскольку кора головного мозга, ответственная за сознание, в эти моменты не функционирует, объяснить подобные явления трудно. Но они, по крайней мере, являются свидетельством того, что даже в состоянии кажущейся бессознательности существует некая субъективная установка на осознание.

\* \* \*

Я долго не мог проследить связь между «человеком в вечности», архетипом самости, и человеком земным, во времени и пространстве. Эту проблему прояснили для меня два сновидения.

В первом сне (октябрь 1958 года) я из окна своего дома увидел два блестящих металлических диска, по форме напоминающих линзы. Они описали дугу над домом и умчались в направлении озера. Это были два НЛО. Затем появилось другое тело — идеально круглая, как объектив телескопа, линза. Она летела прямо на меня, но на расстоянии 400 — 500 м на мгновение замерла, после чего удалилась. И в тот же миг в воздухе возникло еще одно тело — объектив с металлическим ящиком, своего рода волшебный фонарь. Метрах в 60 — 70 он замер в воздухе, направив на меня объектив. Я проснулся в изумлении. Еще в полусне мне вспомнилось расхожее мнение, будто мы сами проецируем НЛО. Теперь же выясняется, что это они проецируют нас: К. Г. Юнг — проекция какого-то волшебного фонаря. Но кто же производит все эти манипуляции?

В другом сне (я увидел его несколько раньше) я шел по дороге; местность была холмистой. Светило солнце, и обозрение было отличное. Вскоре я оказался возле маленькой придорожной часовни. Дверь была приоткрыта, и я зашел внутрь. Странно, но на алтаре я не увидел ни образа Марии, ни распятия, а лишь искусно разложенные цветы. На полу перед алтарем лицом ко мне сидел йог в позе лотоса, погруженный в глубокую медитацию. Присмотревшись, я вдруг понял, что у него мое лицо. Я проснулся в испуге, с мыслью: «Вот оно что, выходит этот йог — тот, кто думает обо мне. Он видит сон, и этот сон — я». У меня была полнейшая уверенность, что, когда он проснется, меня не станет.

Этот сон приснился мне после болезни в 1944 году. То была притча: медитирующий йог — это моя самость. Иными словами, чтобы войти в трехмерный мир, она принимает человеческий облик, как надевают водолазный костюм. Попадая в потусторонность, она находит себя в религии — на это указывает часовня в моем сне. В земном облике она осваивает опыт трехмерного пространства и в следующих воплощениях приходит к более совершенному знанию.

Образ йога являет собой бессознательную довоплощенную целостность, а Восток, как это часто бывает в снах, — некое чуждое нашему сознанию отстраненное психическое состояние. Как и волшебный фонарь, эта медитация йога «проецирует» мою эмпирическую реальность. Мы же чаще всего рассматриваем эту причинную связь в обратном порядке — обнаруживаем в продуктах бессознательного круглые и четырехугольные символы мандалы; именно ими мы пользуемся, если хотим выразить целостность. Наше основание — эго-сознание. Наш мир — это круг света, в фокусе которого находится наше эго. Из этой точки смотрим мы на мир, таинственный и темный, никогда не зная, в нашем ли сознании возникает его теневой облик, или же он обладает собственной реальностью. Поверхностный наблюдатель готов считать его следствием работы нашего сознания, но более внимательное изучение показывает, что образы бессознательного, как правило, не созданы сознанием, они возникают спонтанно и существуют сами по себе. Мы же, однако, воспринимаем их всего лишь как побочные явления.

Цель этих снов — выявить обратную связь между сознанием и бессознательным и представить бессознательное создателем эмпирической личности. Такая связь предполагает, что, с точки зрения «другой стороны», наше бессознательное существование реально, тогда как сознательный мир — это род иллюзии, кажимости, которая с какой-то определенной целью выдает себя за реальность. Это похоже на сон, кото-

рый кажется реальностью до тех пор, пока мы не просыпаемся. Очевидно, что такое положение дел напоминает восточную философию с ее иллюзией, майя.\*

Эта бессознательная целостность, на мой взгляд, и есть *spiritus rector* (дух-руководитель. — *лат.*) всех событий — биологических и психических. Она стремится к полному осуществлению или — в случае человека — к полному осознанию. Такое осознание есть культура в широком смысле слова, и самопознание — сердце, и суть этого процесса. Восток, вне сомнения, придает самости значение сакральности, но и в христианских представлениях самопознание — путь к *cognitio Dei* (познанию Бога. — *лат.*).

\* \* \*

Для человека основной вопрос в том, имеет ли он отношение к бесконечности или нет? Это его главный критерий. Только когда мы осознаем, что существенно лишь то, что безгранично, и что оно, это безграничное, в свою очередь, существует, мы теряем интерес к ничтожным вещам. Если мы этого не знаем, мы требуем, чтобы те или иные наши качества, которые кажутся нам нашими достоинствами (например, «мой талант» или «моя красота»), весь мир признавал за таковые. Чем более человек настаивает на своих ложных достоинствах, тем менее он чувствует то, что существенно, тем менее он удовлетворен своей жизнью. Он считает что его ограничивают, тогда как ограничены его собственные помыслы, — так возникают зависть и ревность. Когда же мы понимаем и чувствуем, что уже здесь, в этой жизни, присутствует бесконечность, желания и помыслы наши меняются. В итоге расчет принимается лишь то, что существенно, что мы воплотили, а если этого нет, жизнь прошла впустую. И в наших отношениях с другими людьми важно то же самое: присутствует ли в них некая безграничность.

Но чувство безграничности может быть достигнуто лишь тогда, когда мы имеем границы вне себя. Наибольшим ограничением для человека становится его самость, проявляющаяся в ощущении: «Я есть то, а не это!» Только осознание самого себя, своих собственных границ, позволяет нам ощутить безграничность бессознательно. И тогда мы узнаем в себе одновременно и вечность, и предельность, и нечто единственное, присущее только нам, и нечто иное, присущее не нам, но другим. Зная себя как уникальное сочетание каких-то свойств, то есть осознавая в конечном счете свою ограниченность, мы обретаем способность осознать бесконечность. И только так!

В эпоху, когда человечество стремится исключительно к расширению жизненного пространства и увеличению — *à tout prix* (любой ценой. — *фр.*) — рационального знания, требовать от человека осознания своей единственности и ограниченности по меньшей мере, претенциозно. Ограниченность и единственность — синонимы, без них ощущение бесконечности (равно как и осознание ее) невозможно, остается лишь иллюзорная идентификация с ней, которая приводит к помешательству на больших числах и жажде политического могущества.

Наш век сделал акценты на «здесь» и «сейчас» и тем самым обусловил демонизацию человека и его мира. Появление диктаторов и все несчастья, которые они принесли, происходят от близорукости и всезнайства, отнявших у человека все, что находится по ту сторону сознания, фактически превратив его в жертву бессознательно. Задача же человека, напротив, заключается в том, чтобы проникнуть в бессознательное и сделать его достоянием сознания, ни в коем случае, не оставаясь в нем, не

---

\* Эту неуверенность в истинном «месте» реальности Юнг ощутил очень рано — еще когда ребенком он сидел перед камнем и предавался той умозрительной игре: кто из них — он или камень — говорил «я». Ср. также известный сон бабочки у Чжуан-Цзы. — *ред.*



отождествляя себя с ним. И то и другое было бы ошибочным. Насколько мы в состоянии сегодня понять, единственный смысл человеческого существования состоит в том, чтобы зажечь свет во тьме примитивного бытия. Пожалуй, можно предположить, что бессознательное имеет над нами такую власть, какую имеет над ним наше сознание.

### Поздние мысли.

Раз уж я решился заняться собственным жизнеописанием, то эта глава, мне думается, необходима, хотя читатели могут сказать, что в ней слишком много теории. Но эта «теория» относится к моей жизни и представляет собой форму моего существования, она мне необходима, как пища.

#### I.

В христианстве замечательно то, что в его догматике предусматриваются некоторые изменения божества, исторические метаморфозы «потустороннего». Так появляется новый сюжет о расколе на небесах, впервые упоминаемый в мифе о сотворении, и там же появляется змееподобный антагонист Создателя, чтобы ввести в искушение первого человека обещанием большего знания — *scientes bonum et malum* (знания добра и зла. — *лат.*). В другом месте является падший ангел — в некотором роде опрометчивое вторжение бессознательного в человеческий мир. Ангелы — странные существа: сами по себе они такие, какие есть, и другими быть не могут: это существа без души, имеющие в себе только то, что вложил в них Создатель. В этой ситуации падшим ангелом мог сделаться только «плохой» ангел. Здесь имеет место известный эффект «инфляции», который наблюдаем сегодня в мании величия диктаторов: ангелы обратили людей в расу гигантов, что, по Еноху, приведет к вырождению человеческого рода.

Третьей и заключительной стадией мифа явилось воплощение Бога в Человеке. Так исполнилось ветхозаветное пророчество о Богоявлении. Уже в первые века христианства идея воплощения была подкреплена тезисом «*Christus in nobis*» (Христос в нас. — *лат.*). Таким образом, бессознательная целостность проникла в психические сферы внутреннего опыта, давая человеку некое предчувствие целостной формы, что имело колоссальное значение, причем не только для человека, но и для Создателя: в глазах тех, кто избавился от тьмы, Он стал *summum bonum* (совокупностью добра. — *лат.*). Миф пережил тысячелетие, пока наконец в XI веке обнаружили первые признаки последующей трансформации сознания.

С тех пор тревога и сомнения росли, и к концу второго тысячелетия образ вселенской катастрофы предстал перед нами со всей очевидностью. Он выражается в мании величия, своего рода заносчивости сознания: «нет ничего выше человека и дел человеческих». Таким образом, трансцендентность христианского мифа была утрачена, а вместе с ней и христианское представление о целостности.

За светом следует тень, другая сторона Творца. Пик этой тенденции приходится на XX век. Ныне христианский мир воистину столкнулся со злом, с откровенной несправедливостью, тиранией, ложью, рабством и принуждением. В неприкрытой форме мы видим это в России, хотя родиной первого губительного пожара стала Германия, и это со всей неопровержимостью доказывает, свидетельствует о слабости позиций христианства в XX веке. Оказавшись лицом к лицу с этим злом, уже не

спрячешься за эвфемизмом вроде *privatio boni* (первичность добра. — *лат.*). Зло стало определяющим в этом мире, от него уже невозможно отделаться иносказаниями. Наша задача — научиться избегать его, поскольку оно уже *здесь*, рядом с нами; а возможно ли это, удастся ли нам избежать еще большего зла, сказать пока трудно.

В любом случае мы оказались перед необходимостью переориентировать свое сознание. Соприкоснувшись со злом, мы каждый раз рискуем уступить ему. Следовательно, нужно приучить себя к мысли, что нельзя уступать ничему — даже добру; пресловутое добро, перед которым мы склоняемся, утратило свой этический характер. В этом нет ничего дурного, но уступая, мы должны быть готовы ко всему, что за этим последует. Любая форма наркомании — болезнь, будь то алкоголизм, морфинизм или идеализм. Противоположности так часто вводят в соблазн!

Критерием морального действия не может более служить тот факт, что мы понимаем добро как некий категорический императив а зло как то, чего в любом случае можно избежать. Понимание реальности зла вынуждает нас признать, что добро есть всего лишь противоположный полюс зла, и, стало быть, оно относительно, что и добро, и зло — всего лишь части некоего парадоксального целого. По сути это означает, что добро и зло утрачивают свой абсолютный характер, то есть — и то, и другое всего лишь суждения.

Все человеческие суждения несовершенны, что заставляет нас всякий раз сомневаться в правильности наших суждений. Ошибаться может каждый, и это в итоге превращается в проблему этическую, в той степени, в какой мы не уверены в своих моральных оценках. Но этический выбор остается всегда, относительность «добра» и «зла» не означает, что эти категории обесценились и перестали существовать. Этические суждения наличествуют всегда и приводят к специфическим психологическим последствиям. Я не единожды подчеркивал, что любая несправедливость, которую мы совершили или помыслили, обрушится мезтью на наши души, и это произойдет независимо от отношения к нам окружающих. Конечно, смысл суждения не остается неизменным, он зависит от условий места и времени, но в основе этической оценки всегда лежит некий общепринятый и бесспорный моральный кодекс, как бы определяющий абсолютные границы между добром и злом. Как только мы начинаем понимать степень ненадежности наших оснований, этическое решение превращается в субъективный творческий акт, в чем можно убедиться лишь путем *concedente Deo* (принимая Бога. — *лат.*), — то есть спонтанным и бессознательным импульсом. Собственно этика, сам выбор между добром и злом, от этого проще не становится. Ничто не в состоянии избавить нас от мук этического выбора. И тем не менее, как это резко ни прозвучит, мы должны иметь возможность в определенных обстоятельствах уклониться от того, что известно как добро, и делать то, что считают злом, если таков наш этический выбор. Короче, мы не должны идти на поводу у противоположностей. В таких случаях немалую услугу может оказать известный в индийской философии принцип *neti-neti*, когда моральный кодекс неизбежно снимается и этический выбор предоставляется индивидууму. Сама по себе эта идея стара как мир, еще в допсихологические времена ее называли «конфликтом долга», или «конфликтом чести».

Но, как обычно, человек неспособен осознать эту возможность выбора, поэтому он все время с робостью оглядывается вокруг пытаясь найти какие-либо внешние, общепринятые законы и установления, на которые он в его неуверенности мог бы опереться. Несмотря на вполне понятные человеческие слабости, основная вина за это ложится на систему образования, которая привыкла стричь всех под одну гребенку, игнорируя личность и ее индивидуальный опыт. Таким образом идеализм превращается в своего рода догму, когда люди по должности исповедуют то, чего не знают,

чего им не достичь, склоняются перед некими нормами, которые не исполняются и никогда не будут исполнены. И такое положение всех устраивает!

Иными словами, тот, перед кем стоит сегодня этот вопрос, прежде всего нуждается в *самосознании*, то есть в осознании собственной целостности. Если он желает жить, не обманывая себя, ему следует хладнокровно оценить, до какой степени он способен на добро и каких можно ждать от него преступлений, причем рассматривать первое как реальность, а второе — как иллюзию. Возможно и то и другое, он может оказаться тем или другим — такова его натура.

Но как безнадежно мы далеки от такого уровня самосознания, несмотря на то что в большинстве своем обладаем и способностями, и возможностями. Тем не менее знать себя необходимо, только таким путем можно приблизиться к основе, ядру человеческой природы, к изначальным инстинктам. Инстинкты даны нам *a priori* и безусловно определяют наш сознательный выбор, они составляют бессознательное и его содержание, о котором невозможно вынести окончательное суждение. Мы можем лишь предполагать, но в полной мере понять его сущность и определить его разумные границы мы не в состоянии. Свое знание природы мы совершенствуем благодаря науке, которая расширяет границы сознания, ведь познание себя тоже нуждается в науке, то есть в психологии. Невозможно построить телескоп или микроскоп, только с помощью рук и доброй воли, но не имея ни малейшего представления об оптике.

Сегодня мы нуждаемся в такой психологии, которая была бы непосредственно связана с нашей жизнью. Мы теряемся перед такими вещами, как большевизм или национал-социализм, потому что ничего не знаем о человеке или, в лучшем случае, знаем кое-что — и то в искажении. Знай мы самих себя, такое никогда бы не произошло. Теперь же, встретившись со злом, мы даже не представляем, в чем его суть и что ему можно противопоставить. А если бы даже и знали, все равно оставался бы вопрос: «Как это могло произойти?» С трогательной наивностью какой-нибудь государственный деятель способен заявить, что не имеет «представления о зле». Все так; точно не имеем. Зато зло имеет представление о нас. Одни не хотят о нем слышать, другие — отождествляют себя с ним. Психологическая ситуация сегодня такова: одни считают себя христианами и воображают, будто стоит им захотеть, как они уничтожат это пресловутое зло, другие поддались ему и уже не знают добра. Власть и сила зла сегодня очевидны; в то время, как одна половина человечества, пользуясь склонностью людей к умствованиям, фабрикует доктрины, другая страдает от отсутствия мифа. Христианские народы пришли к печальному итогу: христианство закостенело и оказалось неспособным развивать свой миф на протяжении веков. Тех же, кто пытался выразить некие смутные опыты мифологических построений, не стали слушать: Гиацинте де Фьоре, Мейстер Экхарт, Якоб Бёме и многие другие в мнении большинства так и остались «мракобесами». Единственным, кто дал хоть какой-то свет, был Пий XII с его буллой. Но подавляющее большинство даже не понимает, что я имею в виду, говоря об этом. Люди не в состоянии осознать, что застывший миф умирает. Наш миф поражен немотой, в нем заключен некий изъян — вина целиком лежит на нас самих: не позволили ему развиваться, подавляя все попытки, предпринимавшиеся в этом направлении. В первоначальной версии мифа более чем достаточно исходных возможностей для развития. Вспомните, к примеру, слова Христа: «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». Зачем нам змеиная мудрость? И как это должно сочетаться с голубиной кротостью? «Будете как дети...». Кто-нибудь дал себе труд задуматься над тем, каковы дети на самом деле? Какой моралью оправдывал Господь присвоение осла, который понадобился ему для триумфального въезда в Иерусалим? Или эту детскую раздражительность, с которой он вдруг проклял смоковницу? Какая мораль следует из притчи о неверном управителе

и какой глубокий смысл заложен в апокрифическом изречении: «Человек, если ты знаешь, что ты делаешь, — ты благословен, но если не знаешь, ты проклят, ибо ты нарушил закон»?<sup>\*</sup> Что, в конце концов, стоит за признанием апостола Павла: «Где нет закона, нет и преступления»? Не будем даже говорить о маловероятных пророчествах Апокалипсиса, все равно никто им не верит.

Вопрос, поднятый в свое время гностиками, — откуда явилось зло? — остался без ответа, и осторожное предположение Оригена о возможном искуплении дьявола называли ересью. Сегодня этот вопрос поставлен снова, а мы стоим, смущенные и растерянные, не в состоянии уяснить, что никакой миф нас не спасет, хотя мы нуждаемся в нем как никогда. Мы страшимся политических потрясений; пугающие, я бы сказал дьявольские, успехи науки вселяют в нас ужас и порождают тяжелые предчувствия. Но мы не видим выхода, и только немногие понимают, что единственное наше спасение — в давно забытой человеческой душе.

\* \* \*

Развитию мифа мог бы способствовать эпизод в Писании, когда Святой Дух нисходит на апостолов, превращая их тем самым в детей Божьих, и не только их, но и других — всех, кто от них и после них был наделен этим свойством — *filiatio*, Богосыновством, и кто, таким образом, разделил бы уверенность в том, что и они уже не порождение земли, низшие животные, но, дважды рожденные, происходят от Бога. Их видимая, физическая жизнь проходит на этой земле, но у невидимого, «внутреннего человека» иное происхождение и иное будущее: в изначальных образах целостности и в Вечном Отце, согласно христианскому мифу о спасении.

Так как Творец един, то и творение Его и Сын Его должны быть едины. Учение о Божественном единстве не допускает отступлений. И все же пределы света и тьмы явились без ведома сознания. Этот исход был предсказан задолго до явления Христа — среди прочего мы можем найти это в книге Иова или в дошедшей до нас с дохристианских времен известной книге Еноха. В христианстве этот метафизический раскол углубился: сатана, который в Ветхом Завете состоял при Яхве, превращается теперь в диаметрально противоположность Божьему миру. Устранить его невозможно. И ничего удивительного, что уже в начале XI века появилось еретическое учение, будто не Бог, а дьявол сотворил этот мир. Таково было вступление во вторую половину христианского эона, при том что раньше уже возник миф о падших ангелах, от которых человек получил опасное знание наук и искусства. Что эти древние авторы сказали бы о Хиросиме?

Якоб Бёме в своих гениальных видениях разглядел парадоксальность природы богообраза, чем способствовал дальнейшему развитию мифа. Символ мандалы у Бёме раскрывает идею раскола: внутренний круг разделен там на две половины, которые расположены друг против друга.

Согласно христианскому учению, Бог един в трех Лицах, Он в каждой частице разлитого в мире Духа Святого, потому каждый причастен единому Богу, а значит, причастен и *filiatio*, Богосыновству (Евр. 6, 4). *Complexio oppositorum* (сочетание противоположностей. — *лат.*), что содержит в себе Богообраз, таким образом, предопределено каждому человеку, и не в единстве, а в конфликте, причем темная сторона образа не соответствует общепринятому представлению, что «Бог есть свет». Это реалии наших дней, хотя они едва ли осознаются официальными учителями человечества, которые, надо полагать, обязаны понимать такие вещи. Мы отдаем себе отчет в том, что достигли определенного исторического рубежа, но воображаем, будто

<sup>\*</sup> Codex Bezae, ad Lucam, 6, 4.

это связано с расщеплением атома или с космическими полетами. И, как всегда, мы никак не замечаем того, что происходит в этот момент в человеческой душе.

Поскольку богообраз с психологической точки зрения есть очевидная основа и духовное начало, глубинная дихотомия, его определяющая, осознается уже как политическая реальность: имеет место уже некая психическая компенсация. Она проявляется в форме спонтанно возникающих округлых образов, которые представляют собой синтез свойственных в душе противоположностей. Сюда я бы отнес широко распространившиеся с 1945 года слухи о НЛО — неопознанных летающих объектах. Они основаны или на видениях или на реальных фактах. Под НЛО подразумевается некий летательный аппарат, прилетевший к нам либо с другой планеты, либо вообще из четвертого измерения.

Более 20 лет назад (в 1918 году), исследуя коллективное бессознательное, я обнаружил наличие универсального символа подобного рода — символа мандалы. Чтобы утвердиться в этом, я более 10 лет собирал материалы, прежде чем в 1929 году обнаружил свои результаты. Мандала — это архетипический образ, существование которого прослеживается на протяжении тысячелетий. По сути это *целостность самости*, или целостность «внутреннего человека», а с мифологической точки зрения — возникновение в человеке божественного начала. В противоположность рисункам Бёме, современные символы стремятся к единству, то есть к некой компенсации распада и, следовательно, к его преодолению. Процесс этот протекает в коллективном бессознательном и проявляется во всем. Слухи об НЛО — одно из подобных свидетельств, один из симптомов всеобщего психического состояния.

Когда аналитическая терапия выводит на поверхность сознания так называемую «тень», следствием ее оказывается расщепление, обострение противоречий, которые, в свою очередь, стремятся к выравниванию и единству. Символы в подобных ситуациях выполняют роль посредников. Столкновение противоположностей, если отнестись к ним серьезно, может поставить нашу психику на грань слома. Это логическое *tertium non datur* (третьего не дано. — *лат.*) еще раз подтверждает, что решения нет. Если же все в порядке, оно возникает само собой, и только в этом случае оно убедительно, только в этом случае оно воспринимается как «благодать». Поскольку решение рождается в столкновении и борьбе противоположностей, оно является, как правило, нераздельным сплавом сознательных и бессознательных факторов, символ которого — две сложенные половинки монеты.\* Этот символ (результат совместных усилий сознательного и бессознательного) и создает подобие богообраза в форме мандалы — наиболее простой модели целостности. Этот образ, представляющий столкновение противоположностей и их примирение, подсказывает нам воображение. Столкновение, природа которого всегда индивидуальна, осознается обычно как частный случай универсального конфликта. Наша психическая структура повторяет структуру Вселенной и все происходящее в космосе, повторяет себя в бесконечно малом и единственном пространстве человеческой души. Отсюда богообраз — это всегда проекция внутреннего ощущения какого-то великого противостояния. Затем этот опыт получает наглядное воплощение в предметах, порождающих подобную ассоциацию, а сами предметы с тех пор сохраняют свое нуминозное значение или, точнее, отличаются большей долей нуминозности. В таком случае воображение полностью освобождается от всего конкретного и пытается уловить образ невидимого, того, что стоит по ту сторону вещей. Я имею в виду простейшие, базисные формы мандалы — круг и простейшее умозрительное разделение круга: это квадрат и, разумеется, крест.

---

\* Одно из значений символа «*tessera hospitaetatis*» (знак гостеприимства. — *лат.*) — разрубленная монета, половинки которой по античному обычаю оставались у друзей, которых ожидала разлука.

Такие опыты могут влиять на человека как благотворно, так и разрушительно. Человек не умеет их осмыслить, понять, управлять ими, как не умеет от них освободиться или уйти, и потому он ощущает себя в их власти. Догадываясь, что они не связаны с индивидуальным сознанием, он дает им имена: мана, демон или бог. Наука, в свою очередь, придумала термин «бессознательное», признавая, тем самым, что ничего не знает о нем; естественно, что она и не может ничего знать о субстанции души, поскольку именно душа является единственным источником нашего знания о чем-либо. А отсюда вытекает, что опровергнуть смысл обозначенных слов «мана», «бог» или «демон» явлений невозможно ни опровергнуть, ни доказать. Однако мы убеждены, что ощущаем нечто объективное и в то же время потустороннее, и это наше ощущение соответствует действительности.

Нам известно, что существует нечто неведомое и оно существует в нас, точно так же, как известно, что не мы творим свои сны или рождаем внезапные счастливые мысли и озарения, но что это происходит с нами без нашего участия. Таким образом, все, что происходит с нами, можно считать исходящим от бога, демона или бессознательного. И если первые два понятия обладают огромным преимуществом, заключая в себе некое эмоциональное качество нуминозности, последнее — бессознательное — банально и потому более правдоподобно. Именно это понятие содержит в себе ту эмпирическую сферу, нашу будничную реальность, которая нам так хорошо известна. «Бессознательное» — понятие слишком нейтральное и рациональное, оно ничего не говорит воображению. Введенное в научный оборот, оно является скорее инструментом для беспристрастных наблюдений, не претендуя на метафизичность, что выгодно отличает его от разного рода трансцендентных понятий, довольно спорных, уязвимых и ведущих к фанатизму.

Я, как видите, предпочитаю термин «бессознательное», хотя знаю, что могу с тем же успехом произнести «бог» или «демон», если хочу выразить нечто мифологическое. Прибегая к мифологическому способу выражения, я помню, что «мана», «демон» и «бог» — синонимы «бессознательного» и что мы знаем о них так же много, как и мало. Люди *верят*, что знают гораздо больше; и в определенном смысле эта вера, может быть, полезнее и эффективнее наукообразной терминологии.

Неоспоримое преимущество мифологических понятий заключается в том, что они в гораздо большей степени объективируют конкретику и, соответственно, осуществляют ее персонификацию, а эмоциональность делает их жизнеспособными и эффективными. Любовь и ненависть, страх и благоговение выходят на сцену, поднимая конфликт до уровня драмы, «статисты» становятся «действующими лицами». Человеку как бы бросают вызов вступить в борьбу с роковыми обстоятельствами, и только так он достигнет целостности и только тогда может «родиться бог» — то есть он явится человеку в образе человека. В этом акте перевоплощения человек, то есть его «я», внутренне замещается «богом», а «бог» внешне уподобляется человеку в соответствии со словами Иисуса: «Видевший Меня, видел Отца» (Ин. 14, 9).

Именно в этом проявляется недостаточность мифологической терминологии. Привычное христианское представление о Боге определяет Его как всемогущего, всезнающего и всеблагого Отца и Создателя. Когда этот Бог уподобляется человеку, Он унижается до бесконечно малого; трудно даже понять, почему человеческая сущность не разрушается при этом. Догматическое богословие, соответственно, наделяет Иисуса свойствами, возвышающими его над обычными людьми. Прежде всего на нем нет *macula peccati* (клеймо греха. — *лат.*), и уже поэтому он, по меньшей мере, богочеловек, или полубог. Христианский богообраз не может быть воплощен в эмпирическом человеке без противоречий, ведь совершенно ясно, что человек — на

поверхности житейской — выглядит мало приспособленным к тому, чтобы представлять бога.

Мифу в конечном счете придется прийти к монотеизму, отказавшись от деизма, официально отвергнутого, но и поныне хранящего верность некоему вечному темному антагонисту всемогущего бога. В него должны быть включены философский *complexio oppositorum* Кузанца и моральная неоднозначность Бёме. Лишь таким образом бог может сохранить целостность и единство. Ведь природа символов такова, что они способны соединять противоположности, чтобы те не противоречили друг другу, а, напротив, дополняли один одного и придавали жизни смысл, поэтому неоднозначность представлений о боге Природе и боге Творце уже не выглядит столь затруднительной. Более того, миф о неизбежном вочеловечивании бога, составляющий основу христианского учения, теперь может быть истолкован как творческая борьба противоположностей в человеке, их синтез в самости, индивидуальной целостности. Неизбежная противоречивость образа бога Творца снимается в единстве самости как *coniunctio oppositorum* алхимиков или как *unio mystica* (мистическое единение. — *лат.*). В сознании личности присутствует уже не прежняя оппозиция «бог — человек» — она преодолена, противоречия заключены в самом богообразе. И это станет смыслом «богослужения» — свет, возникающий из тьмы, Творец, осознающий свое творение, и человек, осознающий самого себя.

Это та цель или одна из тех целей, что с умыслом назначена человеку творением, заключающая в себе этот умысел. Это и есть все объясняющий миф, который многие годы я создавал для себя. Это цель, которую я могу познать, я считаю ее достойной, она удовлетворяет меня.

Благодаря своему рефлектирующему сознанию человек возвышается над животным миром, и это подтверждает, что природа в высшей степени поощряет именно развитие сознания. Сознание позволило человеку сделаться властелином природы, и, познавая бытие мира, он утверждает Творца. Мир — это некий феномен, который не существует без сознательной рефлексии. Если бы Творец сознавал самого себя, зачем ему тогда сознательное творение; к тому же сомнительно, чтобы крайне сложные и обходные пути созидания, требующие миллионов лет на развитие бесконечного числа видов и тварей, явились продуктом целенаправленных действий. Естественная история говорит нам о развитии случайном и неслучайном, направленном на уничтожение себя и других в течение необозримого времени. Буквально о том же самом свидетельствует биологическая и политическая история человечества. Но история духа — это нечто совершенно иное. Здесь нас потрясает чудо мыслящего сознания — вторая космогония. Значение его столь велико, что невозможно не предположить, что где-то среди чудовищного и очевидно бессмысленного биологического механизма присутствует какой-то элемент осмысленности. Ведь в конечном счете путь к его проявлению был обнаружен на уровне теплокровных, — обнаружен как будто случайно, — непреднамеренный и непредвиденный, но все же в каком-то «смутном порыве», в предчувствии и предощущении, — осмысленный.

Я вовсе не утверждаю, что мои размышления о сущности человека и его мифа — последнее и окончательное слово, но, на мой взгляд, это именно то, что может быть сказано в конце нашей эры — эры Рыб, а возможно, и в преддверии близящейся эры Водолея, который имеет человеческий облик. Водолей, следующий за двумя расположенными друг против друга Рыбами, — некое *coniunctio oppositorum* и, возможно, личность — самость. Он в своем роде *souverain* (государь. — *фр.*), содержимое своего кувшина он отправляет в рот *Piscis austrinus* (созвездие Рыб. — *лат.*), выполняющих роль дочернюю, бессознательную. По окончании этой более чем двухсотлетней эры наступит следующая, обозначенная символом *Capricornus* (чудища, соединяю-

щего в себе черты козы и рыбы, горы и моря, антиномии, созданной из элементов двух животных). Это странное порождение легко принять за прообраз бога Творца, который противоположен «человеку» — антропосу. Но здесь я умолкаю: соответствующего эмпирического материала, то есть известных мне образов из бессознательного других людей или исторических документов, у меня просто нет. А поскольку нет, то любые умозрительные спекуляции бессмысленны. Они уместны лишь тогда, когда мы располагаем объективными данными, подобными тем, что имеем в случае с Водолеем.

Нам не известно, как далеко может заходить процесс самоосознания и куда он приведет человека. Это новый элемент в истории творения, не имеющий аналогов, и нам не дано узнать его свойства: возможно ли, чтобы *species homo sapiens* (человеческий вид. — *лат.*) постигла судьба других видов, некогда распространенных на земле, а теперь исчезнувших? У биологии нет средств, чтобы опровергнуть такое предположение.

Потребность в мифологии удовлетворяется постольку, поскольку мы сами формируем собственное мировидение, достаточное для объяснения смысла человеческого существования во вселенной, — мировидение, истоки которого лежат во взаимодействии сознания и бессознательного. Бессмысленность невозможно совместить с полнотой жизни, это означает болезнь. Смысл многое, если не все, делает терпимым. Никакая наука не сможет заменить миф, и никакая наука мифа не сотворит, поэтому и «бог» — не миф, но *миф* изъясняет бога в человеке. Не мы измыслили миф, он обращает к нам «слово божье»; «слово божье» мы чувствуем, но нам не дано понять, что в нем — от самого бога. В нем нет ничего неизвестного нам, ничего сверхъестественного, кроме того обстоятельства внезапности, с которой оно приходит к нам и налагает на нас определенные обязательства. Оно не подчинено нашей воле, назвав это вдохновением, мы тоже мало что объясним. Мы знаем, что эта «странная мысль» — вовсе не результат нашего умствования, но явилась извне, «с другой стороны», и, если нам случалось увидеть вещий сон, разве можно приписать его своему разумению? Мы ведь часто даже не знаем, что такое этот сон — предвидение или некое отдаленное знание?

Это слово входит в нас неожиданно; мы претерпеваем его, поскольку пребываем в глубокой неопределенности: ведь если бог — некое *complexio oppositorum*, возможно все, что угодно, — в полном смысле слова, — равно возможны истина и ложь, добро и зло. Миф — это нечто двусмысленное или может быть двусмысленным, как сон или дельфийский оракул. Не стоит отвергать доводы рассудка, следует не терять надежду на то, что инстинкт придет к нам на помощь, и тогда бог будет на нашей стороне, то есть против бога, как в свое время считал Иов. Все, в чем выражена «иная воля», исходит от человека — его мысли, его слова, его представления и даже его ограниченность. И человек, как правило склонен приписывать все именно себе, особенно когда, опираясь на грубые психологические категории, он приходит к мысли, что все исходит от его намерений и от «него самого». С детской наивностью он воображает, что знает все, что можно постичь, и вообще «знает себя». Тем не менее ему даже в голову не приходит, что слабость его сознания, а отсюда и страх перед бессознательным лишают его способности отделить то, что он выдумал сам, от того, что явилось ему спонтанно, из других источников. Человек не может оценить себя объективно, еще не может рассматривать себя как некое явление, которое предстает перед ним и с которым, *for better or worse* (хорошо ли, плохо ли. — *англ.*), ему приходится себя идентифицировать. Первоначально все, что с ним происходит, — происходит помимо его воли, и лишь ценой огромных усилий ему удается завоевать и сохранить за собой область относительной свободы.



Тогда и только тогда, уже утвердившись в этом своем завоевании, он способен понять, всю глубину своей зависимости оттого, что заложено в нем изначально и над чем он не властен. Причем эти его изначально основания вовсе не остаются в прошлом, а продолжают жить с ним, являясь частью его бытия; его сознание сформировано ими в той же степени, что и окружающим физическим миром.

Все, что окружает человека вне его самого и что он сам обнаруживает в себе, он сводит воедино в идее божественного, описывая воплощение ее с помощью мифа и объясняя себе затем этот миф как «слово божье», то есть как внушение и откровение с «той стороны».

## II.

Нет лучшего средства защитить свое хрупкое и столь зыбкое ощущение индивидуальности, чем обладание некой тайной, которую желательно или необходимо сохранить. Уже на самых ранних стадиях социальной истории мы обнаруживаем страсть к тайным организациям. Там, где нет поводов скрывать действительно важные секреты, изыскиваются «тайнства», к которым допускаются лишь избранные и «посвященные». Такова история розенкрейцеров, так было и во множестве других случаев. Среди подобных псевдотайн встречаются — по иронии судьбы — настоящие тайны, о которых посвященные вовсе не догадываются. Это случается, к примеру, в обществах, которые изначально заимствовали свои тайны из алхимической традиции.

Потребность в таинственности — неотъемлемое примитивного сознания, поскольку причастность к тайне служит своего рода цементом для общественных отношений. На социальном уровне тайны с успехом компенсируют недостаточность отдельной личности, которая, всегда отделяя себя от других, в то же время вынуждена жить в постоянном поиске своей исходной бессознательной идентичности с другими. Таким образом, исполнение человеком своего предназначения, осознание своей уникальности — результат долгой, почти безнадежной воспитательной работы. Поскольку даже те немногие, кого опыт инициации — причастность к тайне — в каком-то смысле выделяет, в итоге стремятся подчиниться законам групповой идентичности, хотя в этом случае начинает действовать механизм социальной дифференциации.

Тайное общество — некое промежуточное звено на пути к индивидуации. Мне думается, что дифференциация — механизм коллективный, когда мы еще не осознали, что выделить себя из массы окружающих и самостоятельно встать на ноги — задача индивидуальная, единственная в своем роде. Всякого рода коллективная тождественность, например: членство в организациях, приверженность к «измам» и пр., уводит нас в сторону. Это — костыль для хромого, щит для трусливого, постель для ленивого, детские ясли для безответственного в равной степени убежище для несчастного и слабого. Это — тихая бухта для потерпевшего крушение; лоно семьи для сирот, земля обетованная для разочарованных странников и усталых пилигримов, пастух и надежная ограда для заблудших овец, мать, дающая жизнь и пищу. Поэтому считать это промежуточное звено западней, было бы ошибкой. Напротив, она долгое время являлась единственно возможной формой существования личности, хотя сейчас, как никогда прежде, нам угрожает именно обезличение. Могущество коллективной тождественности никто не ставит под сомнение, в наши дни, и многие вправе считать ее своей конечной целью. Поэтому любые попытки напомнить человеку о

его самоопределении, самосовершенствовании и самостоятельности выглядят дерзкими, ничем не оправданными, вызывающими и просто бессмысленными.

И все же может произойти такое, что у человека по ряду причин возникнет необходимость решиться самостоятельно пойти по пути, уводящем от привычных форм и образов, рамок и покровов, самый дух и образ этой жизни перестанет удовлетворять его. И тогда он пойдет один и сам станет своим обществом. Он сам будет являть для себя некое множество — множество мнений и тенденций, причем не всегда они будут расположены в одной плоскости. Он действительно окажется не в ладах с самим собой, пытаясь примирить свою множественность с некой общей необходимостью, столкнется с огромными трудностями. Даже если внешне он защищен промежуточными социальными формами, против внутренней множественности он бессилен, и этот внутренний разлад может заставить его смириться, свернуть с пути, сделаться таким, как окружающие.

Как и члены тайных обществ, уклонившиеся от недифференцированной коллективности, личность на своем одиноком пути нуждается в тайне, которую по разным причинам ей нельзя или она не может раскрыть. Такая тайна поддерживает личность в обособленности ее замыслов. Для многих эта обособленность становится непосильной ношей; к таким принадлежат, как правило, невротики, которые поневоле играют в прятки с другими и сами с собой и не способны принять всерьез что бы то ни было. В конце концов они приносят в жертву эту обособленность в пользу некой общей уравнительности, что безусловно приветствуется окружающими. В этом случае здравый смысл не в состоянии сопротивляться, и лишь тайна, разгласить которую невозможно — страшно или нельзя выразить словами (могут принять за «безумную» идею), — лишь она способна воспрепятствовать неизбежному и остановить деградацию.

Нередко потребность в такой тайне становится почти непреодолимой, и мы неожиданно для себя оказываемся вовлеченными в идеи и действия, в которых уже не отдаем себе отчета. Дело здесь не в капризе или гордыне, а скорее мы имеем дело с неизъяснимой *dira necessitas* (суровой необходимостью. — *лат.*), которая настигает человека с роковой неизбежностью и, вероятно, впервые в жизни ставит его перед фактом существования чего-то инородного и более могущественного, чем он сам и его «домашний мир», где он представлял себя хозяином.

Характерный пример тому — история Иакова, который отважился на борьбу с ангелом и, потерпев поражение, сумел все же предотвратить убийство. Ветхозаветному Иакову повезло: его истории верят безусловно. Современного «Иакова», вздумай он рассказать подобную историю, его слушатели встретят многозначительными улыбками. Он просто никогда не решится заговорить о подобных вещах, особенно если имеет собственный взгляд на природу этого посланца Яхве. К тому же *polensvolens* он станет обладателем тайны, обсуждать которую не принято, и тем самым окажется каким-то образом «отмеченным», *reservatio mentalis* (духовная изоляция. — *лат.*) будет преследовать его до тех пор, пока он не начнет лицемерить и притворяться. Однако всякому, кто хочет усидеть на двух стульях, стремится идти своим путем и одновременно следовать неким коллективным установлениям, грозит нервное расстройство. Современному «Иакову» не по силам осознать ту очевидную вещь, что из них двоих ангел был так или иначе сильнее, ведь нет никаких доказательств, что ангел удалился не прихрамывая.

Итак, человек, ведомый своим демоном — своим двуединством, выходит за пределы промежуточной стадии и попадает в глухую неизвестность, где нет проторенных путей и надежного прикрытия, где нет спасительных заповедей, которые приходят на помощь человеку в трудную минуту, когда у него возникнет беспощадный и

разрушительный конфликт с долгом. Обычно такие вылазки в «No Man's Land» (необитаемую землю. — *англ.*) длятся недолго, и лишь до тех пор, пока не случаются подобные конфликты, но как только атмосфера начнет сгущаться, они мягко сходят на нет. Я не смею осуждать того, кто отступает, но тому, кто ставит себе в заслугу собственную слабость и малодушие, трудно найти оправдание. Кстати, я не думаю, что мое презрение принесет ему хоть какой-то вред, и поэтому считаю себя вправе высказать его.

Тот же, кто, оказавшись в подобной ситуации, на свой страх и риск в одиночку ищет решение и берет на себя всю ответственность за него, кто перед лицом Судьи отмаливает его денно и ночно, тот обрекает себя на полную изоляцию. Иногда он сам себе и упрямый защитник, и беспощадный обвинитель, никакой суд — ни мирской, ни духовной — не способен вернуть ему спокойный сон; в его жизнь входит настоящая тайна, тайна, которую он не разделит ни с кем. Когда б он не был сыт по горло всем этим, он, возможно, не оказался бы в подобной ситуации. Очевидно, для того, чтобы впутаться в нее, необходимо повышенное чувство ответственности. Именно оно не позволяет сбросить свой груз на чужие плечи и согласиться с чужим — коллективным — решением. И суд тогда свершается не «на миру», но в мире внутреннем, и приговор выносится за закрытыми дверями.

Эта перемена наделяет личность каким-то ранее неизвестным смыслом, с этого момента она уже не известное и социально определяемое эго, а внутренне противоречивое суждение о том, в чем же собственно ее ценность — для других и для себя самой. Ничто так не действует на активность самосознания, как эти внутренние конфликты. Здесь обвинение располагает неоспоримыми фактами и защита вынуждена отыскивать неожиданные и непредвиденные аргументы. И при этом, с одной стороны, мир внутренний берет на себя значительную часть бремени мира внешнего, позволяя последнему избавиться от части своей тяжести. С другой стороны, мир внутренний обретает больший вес, уподобляясь некоему этическому трибуналу. Но главное состоит в том, что эго, когда-то четко определенное, отныне перестает быть только прокурором и теперь вынуждено защищаться. Оно становится двусмысленным и расплывчатым, оказываясь между молотом и наковальней, и эта внутренняя противоречивость несет в себе некую свехупорядоченность.

Далеко не всякий классический конфликт, — вероятно, а скорее всего, никакой — не может быть «разрешен» в самом деле, при том что спорить о нем можно до судебного дня. Однажды решение вдруг придет — подобно короткому замыканию. Практически жизнь не может существовать как бесконечно длящийся конфликт. Противоположности и вызываемые ими конфликты не исчезают даже тогда, когда становятся импульсом к действию, они постоянно угрожают единству личности, вновь и вновь опутывая жизнь сетями противоречий.

В подобных ситуациях благоразумнее, наверное, было бы не пускаться во все тяжкие, не покидать надежное укрытие и теплый кокон, оберегая себя тем самым от внутренних потрясений. Те, кого ничто не *вынуждает* оставить отцовский кров, могут чувствовать себя в полной безопасности. А те немногие, кто оказался выброшен на тот одинокий — окольный — путь, очень скоро познают все недостатки и все прелести человеческой природы.

Исходной точкой любого вида энергии является разность потенциалов, естественно поэтому, что жизнеспособность психической структуры составляет ее внутренняя *полярность*, что было известно еще Гераклиту. Как теоретически, так и практически она присуща всему живому, и противостоит этой властной силе лишь хрупкое единство эго, которое тысячелетиями удерживается, защищая и ограждая себя от внешних и внутренних столкновений. То, что это единство в принципе стало возможным,

связано, видимо, с извечным стремлением противоположностей прийти: к равновесию то же наблюдается в энергетических процессах, возникающих при столкновении тепла и холода, высокого и низкого давления и т. д.). Энергия, лежащая в основе сознательной психической деятельности, предшествует ей и посему, вне всякого сомнения, является бессознательной. По мере того как она превращается в осознанную, она проецируется на некие образы, будь то мана, боги, демоны и пр., чья нуминозность служит источником жизненной силы. Это продолжается до тех пор, пока названные формы мы не признаем за таковые. Но постепенно их очертания размываются, теряют силу, и тогда эго, то есть эмпирическая личность, в буквальном смысле овладевает этим источником энергии: с одной стороны, личность стремится использовать эту энергию, что ей даже удается или, по крайней мере, так ей кажется; с другой же — она сама оказывается в ее власти.

Сия гротескная ситуация складывается тогда, когда мы принимаем во внимание только сознание и считаем его единственной формой психического бытия. В этом случае так называемая инфляция, то есть обратная проекция неизбежна. Если же мы учитываем существование некой бессознательной души, содержимое такой проекции может быть воспринято на уровне предваряющих сознание врожденных инстинктов. Тогда они сохраняют свою объективность и автономность и инфляции не происходит. Архетипы, которые, предваряя сознание, определяют его, реально проявляются там, где они существенны — то есть как априорные структурные формы на инстинктивном уровне. Их следует воспринимать не как вещь в себе, а лишь как доступную для восприятия форму вещи. Разумеется, не только архетипы определяют специфическую природу восприятия, они лишь коллективный его компонент. Но как нечто инстинктивное, они соответствуют динамической природе инстинкта, а следовательно, располагают особой энергией, которая вызывает или подчиняет себе определенные импульсы или модели поведения; иными словами при некоторых обстоятельствах они обладают властью (нуминозум!). Таким образом, понятие о них как о своего рода *daimonia* (некая сила, «демон». — *греч.*) вполне соответствует их природе.

Тот кто думает, что подобные формулировки могут что-либо изменить в *природе* вещей, слишком верит в силу слов. Реальные вещи не меняются от того, что мы даем им разные имена, это имеет значение только для нас самих. Если кто-то воспринимает «бога» как «абсолютное ничто», это вовсе не отменяет существования высшего организующего принципа; мы распоряжаемся собой так, как и прежде, изменение имен не в состоянии что-либо отменить в действительности, но оно способствует формированию у нас некой отрицательной установки. Наименование же чего-либо ранее неизвестного, напротив, является положительной интенцией. Таким образом, рассуждая о «боге» как об «архетипе», мы ничего не говорим о его реальной природе, но допускаем, что «бог» — это нечто в нашей психической структуре, что было прежде сознания, и, поэтому Его никоим образом невозможно считать порожденным сознанием. Тем самым мы не уменьшаем вероятности Его существования, но приближаемся к возможности Его познать. Последнее обстоятельство крайне важно, поскольку вещь, если она не постигается опытом, легко отнести к разряду несуществующих. Такую возможность, конечно, не могли упустить так называемые верующие, которые видят в моей попытке воссоздать изначальную бессознательную психическую структуру только атеизм или, на худой конец, гностицизм, и никогда — психическую реальность, то есть бессознательное. Если бессознательное в принципе существует, оно должно включать в себя предшествующую эволюцию нашей сознательной души. В конце концов представление о том, что человек во всем своем блеске был создан на шестой день творения — сразу, без каких-либо предварительных стадий, — такое представление слишком примитивно и архаично, чтобы удовлетво-

рять нас сегодня. Но во всем, что имеет отношение к душе, мы продолжаем упорно ему следовать; нам удобнее считать, что душа не имеет предпосылок, что это *tabula rasa* (чистая доска. — *лат.*), что она всякий раз вновь появляется при рождении и что она лишь то, чем сама себя представляет.

И в филогенезе, и в онтогенезе сознание вторично — и эту очевидность пора наконец признать. Также, как тело имеет свою анатомическую предысторию, исчисляемую миллионами лет, так и психическая система, как всякая часть человеческого организма, является результатом такой эволюции, повсюду обнаруживая следы более ранних стадий своего развития. Как сознание начинало свою эволюцию с бессознательного животного состояния, так проходит этот процесс дифференциации каждый ребенок. Предсознательное состояние психики ребенка — это все, что угодно, только не *tabula rasa*; его психическая структура уже включает осознаваемые индивидуальные проформы и все специфические человеческие инстинкты, а кроме того, она обнаруживает априорные основания высших функций.

На этих сложных основаниях эго развивается, опираясь на них в течение всей жизни. Если же они перестают функционировать, следует холостой ход, а затем смерть. Их реальность слишком многое определяет в нашей жизни. В сравнении с ними даже внешний мир вторичен — зачем он нужен, если отсутствует эндогенный инстинкт, отвечающий за восприятие? Всем, наконец, известно, что никакая сознательная воля не может вытеснить инстинкт самосохранения. Этот инстинкт рождается в виде некоей принудительной силы или воли, или приказа, и если — как это в той или иной степени происходило с незапамятных времен — мы присваиваем ему имя какого-то демона, мы, по крайней мере, точно отражаем психологическую ситуацию. Когда мы с помощью понятия архетипа пытаемся чуть точнее определить момент, когда этот демон завладел нами, мы ничего не отменяем, а лишь становимся ближе к источнику жизненной энергии.

И это совершенно естественно, что я как *психиатр* (то есть «врачеватель душ») пришел к подобной мысли, ведь главное для меня — каким образом я смогу помочь своим пациентам вернуться к исходным здоровым основаниям. Я давно осознал, что для этого необходимы самые разные знания. В конце концов и медицина пришла к тому же. Ее прогресс обусловлен не трюками и чудесами исцеления, не упрощением метода, наоборот — она стала невероятно сложной, и не в последнюю очередь за счет знаний, почерпнутых в других областях. Словом, я не пытаюсь доказывать что бы то ни было в отношении других дисциплин, я просто хочу использовать их опыт в своей собственной области. Конечно следует пояснить суть такого рода обращения и его возможных последствий. Безусловно, в такой ситуации, на стыке различных дисциплин, когда знания одной науки используются в практике другой, мы открываем для себя массу неожиданных вещей. Возьмем хотя бы рентгеновское излучение, что бы произошло, если бы это открытие оставалось лишь в сфере деятельности физиков и не использовалось бы в медицине? К тому же если врачей волнуют возможные опасные последствия радиационной терапии, то физиков занимают другие проблемы, связанные с радиацией, и медицинская сторона дела может и не представлять для них интереса. Было бы по меньшей мере смешно предположить, что врач вторгается в чужие владения, обнаруживая губительные или целебные свойства проникающего излучения.

Когда я как психотерапевт обращаюсь к сведениям исторического и теологического характера, я представляю их совершенно в ином свете, и мои цели, и мои выводы — иного порядка.

Итак, тот факт, что полярность лежит в основе психической энергии, означает, что проблема противоположенности как таковая — в самом широком смысле, со

всеми сопутствующими ей религиозными и философскими аспектами — становится темой психологического порядка. При таком подходе вопросы религии и философии теряют самостоятельный характер, собственно теологический или собственно философский. И это неизбежно, поскольку теперь они становятся предметом психологии, то есть выступают не как религиозная или философская истины, а проверяются на ценность и значимость для психологии. В свете того что они претендуют на собственное независимое существование эмпирически, а значит, и в научном смысле, они представляют собой прежде всего *психические феномены*. На мой взгляд, это бесспорно. Они, естественно, нуждаются в определенных основаниях, что вовсе не противоречит психологическому подходу, который, со своей стороны не считает подобные притязания совершенно несправедливыми, а, напротив, принимает их во внимание. Психология не квалифицирует суждения как «исключительно религиозные» или «исключительно философские», хотя от теологов довольно часто можно услышать о чем-то «исключительно психологическом».

\* \* \*

Все свидетельства — любые, вызванные нашим воображением, — подсказаны нам психикой. Последняя выступает как некий динамический процесс, основой которого служит полярность, напряжение между двумя полюсами. «Не следует умножать число универсалий!» А поскольку энергетическая теория в качестве универсальной принята в естественных науках, мы попробуем ограничиться ею и в психологии. Ничего другого, похожего на иное объяснение, просто нет, более того, полярная природа психики и ее содержание находит подтверждение и в психологическом опыте.

Если энергетическая концепция психики верна, то противоречащие ей предположения, как, например, представление о некоей метафизической реальности, должны казаться, мягко выражаясь, парадоксальными.

Психика не может выйти из себя так же, как не может постулировать какие бы то ни было абсолютные истины, поскольку именно в ее полярности заложена их относительность. Когда психика провозглашает абсолютную истину, например, «Абсолют есть движение» или «Абсолют есть нечто единичное», она неизбежно попадает на одном из своих противоречий. Ведь с равным успехом можно утверждать: «Абсолют — это покой», или: «Абсолют суть все». Как только психика выбирает одну сторону, она разрушается и теряет способность к познанию. Вследствие невозможности рефлексии она превращается в некую последовательность состояний, каждое из которых стремится занять главенствующее место, так как других не учитывает (или пока не учитывает).

Все сказанное выше, конечно, не отменяет оценочной шкалы, а лишь подтверждает ту очевидную вещь, что границы размыты, что «все течет», наконец. За тезисом следует антитезис, а синтез возникает уже как нечто третье, ранее непредусмотренное — то есть психика лишней раз подчеркивает свою полярную природу, на самом деле ни в чем не выходя за свои границы.

В попытке определить границы психического я ни в коем случае не пытаюсь ограничить все *одной лишь* психикой. Но если имеются в виду восприятие или познание, выйти за ее пределы нам не удастся. Наука, безусловно, признает существование некоего непсихического, трансцендентного объекта, но трудности в постижении реальной природы этого объекта для нее тоже не тайна, особенно если соответствующие органы чувств или не в состоянии реагировать на это, или вообще отсутствуют, а необходимый тип мышления не выработан. В случаях когда ни наши органы чувств, ни соответствующие искусственные вспомогательные инструменты доказать наличие реального объекта не могут, возникает та чудовищная трудность, суть ко-

торой заключается в искушении объявить реальный объект несуществующим вовсе. Подобные, более чем скоропалительные выводы меня никогда не удовлетворяли, потому что я никогда не утверждал, что мы способны постичь все формы бытия. Поэтому я осмеливаюсь заявить, что феномен архетипических структур, каковые представляют собой психические явления (и только), — опирается на *психоидную* основу, то есть на в какой-то мере психическую, но, вероятно, совсем иную форму бытия. За недостатком эмпирических данных я не обладаю ни знанием, ни пониманием этих форм, называемых обычно «духовными», с наукой это никак не соотносится, но я в это *верю*. И здесь я вынужден признать свое невежество. Но я реально испытывал воздействие архетипов, для меня они *действительны* даже тогда, когда я не знаю их реальной природы. Это я отношу не только к архетипам, но к природе души в целом. Что бы она сама о себе ни заявляла, за свои пределы ей никогда не выйти. Постигание само по себе факт психический, и в этом смысле мы жестко ограничены исключительно психическим миром. Тем не менее есть все основания предполагать, что за этой завесой существует некий непознанный, но действительный объект, по крайней мере в случаях с психическими явлениями, где нельзя ничего утверждать. Суждения о возможности или невозможности правомерны лишь в специальных областях, вне их это лишь произвольные допущения.

И хотя брать некие положения с потолка, то есть без достаточных на то оснований, не принято, тем не менее существуют утверждения, которые все же должны приниматься без учета объективных причин. Это касается, например, оснований психодинамики, обыкновенно выражаемых субъективно и рассматриваемых в каждом случае отдельно. Ошибка здесь коренится в невозможности определить, исходит ли утверждение от конкретного субъекта, руководствующегося исключительно личными мотивами, или же оно носит общий характер и возникает как некий совокупный динамический паттерн. В последнем случае его следует рассматривать не как нечто субъективное, а как нечто психологически объективное, поскольку огромное количество индивидуумов по своему внутреннему побуждению пришли к такому же выводу или осознали необходимость определенного мировоззрения. Поскольку архетип является не пассивной формой, а реальной силой, видом энергии, его можно рассматривать как *causa efficiens* (действующую причину. — *лат.*) подобных утверждений и считать субъектом таковых. Короче, такие утверждения исходят не от конкретного человека, а от архетипа. Если же их не принимают во внимание, то, как учит нас житейский опыт и как подтверждает медицинская практика, это приводит к серьезным нарушениям психики. В индивидуальных случаях мы имеем дело с невротическими симптомами, у людей же, не склонных к неврозам, возникают коллективные мании.

В основе архетипических утверждений лежат инстинктивные предпосылки, не имеющие никакого отношения к разуму — их невозможно ни доказать, ни опровергнуть с помощью здравого смысла. Они всегда представляли собой некую часть миропорядка — *representations collectives* (коллективные представления. — *фр.*), по определению Леви-Брюля. Безусловно, эго и его воля играют огромную роль, но то, чего хочет эго, непостижимым образом перечеркивает автономность и нуминозность архетипических процессов. Область их практического бытия — сфера религии, причем в той степени, в какой религию в принципе можно рассматривать с точки зрения психологии.

## III.

В этом смысле можно считать очевидным, что помимо пространства рефлексии имеется другая, не менее, а может и более, широкая область, из которой разум вряд ли способен что-либо извлечь, — это пространство эроса. Античный эрос — в прямом смысле бог, его божественная природа выходит за пределы человеческого разума, поэтому его невозможно ни понять, ни представить. Конечно, можно было бы, как пытались многие до меня, рискнуть и приблизиться к этому демону, чья власть безгранична — от горных вершин до мрачной тьмы ада, — но тщетно я старался бы найти язык, который был бы в состоянии адекватно выразить неисчислимы странности любви. Эрос есть космогония, он — творец сознания. Иногда мне кажется, что условие апостола Павла «если... любви не имею» (1 Кор. 13, 1 — 3) — первое условие познания и собственно сакральности. В любом случае это условие является одним из толкований тезиса «Бог есть любовь», утверждающего божество как *complexio oppositorum*.

Моя медицинская практика, как и личная жизнь, не раздавали мне возможность столкнуться с загадками любви, которые я никогда не мог разрешить. Подобно Иову, «руку мою полагаю на уста мои» (Иов. 39, 34). Здесь скрыто самое великое и самое малое, самое далекое и самое близкое, самое высокое и самое низменное. И одно не живет без другого. Нам не под силу выразить этот парадокс. Что бы мы ни сказали, мы никогда не скажем всего. А рассуждать о частностях — значит сказать либо слишком много, либо слишком мало, поскольку смысл обретает лишь единое целое. Любовь «все покрывает, всему верит... все переносит» (1 Кор. 13, 7). Здесь все сказано. Воистину, все мы или жертвы, или средство великой всеобъемлющей космической «любви». Я беру это слово в кавычки, потому что речь идет не о страстях, предпочтении, желании или благосклонности и тому подобных вещах, а о том, что выше индивидуального, — о некоей целостности, единой и неделимой. Сам будучи только частью, человек не способен постичь целое и не располагает собой. Он может смириться, он может бунтовать, но всякий раз оказывается в плену этой силы. Он от нее и зависит, и на нее же опирается. Любовь — это его свет и его тьма, конца которой нет и не будет. «Любовь никогда не перестает» (1 Кор. 13, 8) — говорит ли человек «языками ангельскими» или языком науки, изучая жизнь от простейшей клетки до основ мироздания. Все его попытки дать название любви, если даже перебрать все известные ее имена, окажутся тщетными — бесконечным самообманом. И, если у него есть хоть капля мудрости, ему придется смириться, обозначив *ignotum per ignotius* (неизвестное через более неизвестное. — *лат.*) — то есть назвав любовь именем бога. Тем самым он осознает свое смирение и свое несовершенство, свою зависимость, но одновременно и свою свободу выбирать между истиной и ложью.

## Прошлое и настоящее.

Когда я слышу о том, что много знаю, или когда меня называют мудрецом, принять это на свой счет не могу. Представьте, что кто-то пытается черпать шляпой воду из потока. Ну и что? Я ведь не поток, я просто стою рядом, но ничего не делаю. Другие стоят здесь же, и большинство из них знает, что должны делать. Я же не делаю ничего. Я никогда не считал себя тем, кто способен позаботиться о семенах и колосьях. Я стою и удивляюсь тому, на что способна природа.

Есть замечательная притча о том, как к ребе пришел ученик и спросил его: «В старину были люди, которые видели Бога в лицо. Почему же теперь их нет?» На это



ребенку ответил: «Потому что нынче никто не сможет наклониться так низко». Нужно лишь слегка наклониться для того, чтобы зачерпнуть воду из потока.

Меня от других отличает то, что я не признаю «перегородок» — они для меня прозрачны. В этом моя особенность. Для других зачастую это не перегородки, а мощные стены, они ничего за ними не видят и, естественно, полагают, будто там и нет ничего. Я же, пусть в некоторой степени, ощущаю то, что скрыто от глаз, и это вселяет в меня внутреннюю уверенность. Те, кто ничего не видит, ее лишены, они не различают причин и следствий, а если что-то видят, то не доверяют себе. Я не могу объяснить, как случилось, что я принял этот поток жизни. Возможно, это было бессознательное. А может быть, мои ранние сновидения. Они с самого начала определили мой путь.

Знание о том, что скрыто, что происходит за «перегородкой», очень рано начало оказывать влияние на формирование моего отношения к миру. В целом это отношение и сегодня приблизительно такое, каким было в детстве. Ребенком я чувствовал себя одиноким, и я одинок до сих пор, поскольку *знаю* и должен объяснять и напоминать людям то, о чем они не знают и в большинстве случаев не хотят знать. Одиночество заключается вовсе не в том, что никого нет рядом, суть его в невозможности донести до других то, что тебе представляется важным, или отсутствию единомышленников. Мое одиночество началось с опыта моих ранних сновидений и достигло своей высшей точки, когда я стал работать с бессознательным. Знающий больше других всегда остается одиноким. Тем не менее одиночество вовсе не исключает общения, ибо никто так не нуждается в общении, как одинокий человек, причем общение приносит плоды именно там, где каждый помнит о своей индивидуальности, не идентифицируя себя с другими.

Очень важно иметь тайну или предчувствие чего-то неизведанного; это придает жизни некое безличное, нуминозное свойство. Кто не испытал ничего подобного, многое потерял. Человек должен осознавать, что живет в мире, полном тайн, что всегда остаются вещи, которые не поддаются объяснению, что его еще ждут неожиданности. Неожиданное, как и невероятное, всегда присутствует в этом мире. Жизнь без них была бы неполной, скудной. Мне с самого начала мир представлялся бесконечным и непостижимым.

У меня было много проблем с моими идеями. Во мне сидел некий демон, что в конечном итоге определило все: он переборол меня, и если иногда я бывал безжалостным, то лишь потому, что находился в его власти. Я никогда не умел остановиться на достигнутом, я рвался вперед, чтобы поспеть за своими видениями. И поскольку никто вокруг не мог видеть то, что видел я, меня считали глупцом, который вечно куда-то спешил.

Я многим причинил боль. Едва я замечал, что меня не понимают, я уходил — мне нужно было идти вперед. Я был нетерпелив со всеми, кроме моих пациентов. Я следовал внутреннему закону, налагающему на меня определенные обязанности и не оставляющему мне выбора. Впрочем, я не всегда ему подчинялся. Но возможно ли прожить без противоречий?

Некоторые люди были очень близки мне, по крайней мере до тех пор, пока существовала какая-то связь между ними и моим внутренним миром; но бывало, что я вдруг отстранялся, потому что не оставалось ничего, что бы нас связывало. До меня с трудом доходило, что люди продолжают оставаться рядом, хотя им уже нечего было сказать мне. Ко многим я относился с живейшим участием, но лишь тогда, когда они являлись мне в волшебном свете психологии, когда же луч прожектора уходил в сторону, на прежнем месте уже ничего не оставалось. Я мог восхищаться многими людьми, но стоило только проникнуть в их суть, волшебство исчезало. Да, я нажил

немало врагов. Но ведь любой творческий человек себе не принадлежит. Он не свободен. Он — пленник, влекомый своим демоном.

*...И с позором  
Насилье вырывает наше сердце,  
Ибо каждый небожитель жаждет жертвы.  
Если об этом забыл ты,  
Не жди добра.\**

Несвобода всегда тяготила меня. Нередко я чувствовал себя так, будто нахожусь на поле битвы. Я не могу — да, я не могу остановиться! Вот пал мой друг, но я должен идти вперед, — «и с позором насилье вырывает наше сердце». Я остался бы с тобой, я люблю тебя, но я не могу остаться! Есть в этом нечто разрывающее сердце. И я сам — жертва, потому что я *не могу* остаться. Но демон все устраивает, и благословенная непоследовательность определяет то очевидное противоречие, согласно которому я, будучи «неверен», остаюсь верным в последнем, конечном смысле.

Наверное, я мог бы сказать о себе, что нуждаюсь в людях больше, чем другие и в то же время менее других. Там, где на сцене появляется мой демон, раздвоенность вынуждает меня быть и слишком близко, и слишком далеко. Только тогда, когда он молчит, я пребываю в счастливой умеренности.

Демон творчества преследовал меня неумолимо и безжалостно. Когда я занимался чем-то заурядным, это длилось обычно очень недолго (правда, не всегда и не везде). Думаю, что отчасти этим объясняется моя крайняя консервативность. Я набиваю трубку табаком из табакерки моего деда и до сих пор храню его альпеншток из рога серны — он привез его из Понтрезины, одним из первых посетив этот открывшийся тогда курорт.

Я доволен тем, как прошла моя жизнь. Она была щедрой и дала мне многое. Можно ли ожидать большего? Со мной случалось, как правило, не то, чего я ожидал и на что рассчитывал. Многие сложились бы иначе, если бы сам я был иным. Но случилось то, что должно было случиться, потому что я — это я. Многие из задуманного осуществилось, хотя не всегда это было к лучшему. Но все, что происходило, происходило самым естественным образом, как того хотела судьба. Я сожалею о многих совершенных из-за упрямства глупостях, но без него я не достиг бы своей цели. Потому мне и жаль, и не жаль. Я обманывался в людях и обманывался в самом себе. Люди помогли мне узнать удивительные вещи, сам же я достиг большего, чем ожидал. Я не пришел к какому бы то ни было, окончательному выводу — не могу до конца объяснить ни человеческую жизнь, ни самого человека. Чем я делался старше, тем меньше понимал, тем меньше знал самого себя.

Я удивлен, я разочарован и я доволен собой. Я несчастен, подавлен и я с надеждой смотрю в будущее. Я — все это вместе, и мне не под силу сложить это воедино. Я не способен объяснить конечную пользу или бесполезность; мне не дано понять, в чем моя ценность и в чем ценность моей жизни. Я ни в чем не уверен. У меня нет определенных убеждений в отношении чего бы то ни было, нет и абсолютной уверенности. Я знаю только, что я родился и что существую, что меня несет этот поток. Я не могу знать, почему это так. И все же, несмотря на всю неуверенность, я чувствую некую прочность и последовательность в своем самостоянии и в своем бытии.

Мир, в который мы пришли, не только грубый и жестокий, но и божественно прекрасный. Что берет верх — смысл или бессмысленность — зависит от темперамента. Если бессмысленность, то жизнь чем дальше, тем больше начинает постепенно те-

---

\* Гёльдерлин. Патмос.

рять всякое значение. Но мне кажется, это не так. Возможно, как всегда бывает с метафизическими вопросами, правда и там, и там: в жизни есть и то и другое — и смысл и бессмысленность, жизнь имеет смысл, и жизнь смысла не имеет. Я хочу надеяться, что смысл выиграет эту битву.

Как сказал Лао-Цзы: «Все освещено кругом, только я один погружен во мрак», — именно это я чувствую сейчас, на вершине своих лет. Лао-Цзы — пример человека высочайшего прозрения, он познал цену всему и в конце жизни вернулся к самому себе — к вечной непознаваемой сущности. Архетип старого, все повидавшего человека вечен. Он возникает на любой ступени развития интеллекта, и черты его всегда неизменны — и у старого крестьянина, и у великого философа Лао-Цзы. Это старость и это предел. Но окружающий меня мир все так же переполняет меня: растения и животные, облака и день с ночью, и самая вечность, заключенная в человеке. Чем больше во мне неуверенности, тем острее я ощущаю родство со всем, что есть вокруг. Теперь мне кажется, что отчуждение, которое так долго разделяло меня с миром, обратилось в меня самого, в мой внутренний мир, и я вдруг открыл, что никогда не знал самого себя.